
LE MESSENGER

ВЕСТНИК

русского христианского
движения



Париж – Нью-Йорк – Москва

Ответственный редактор
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВА (Париж)

Секретарь редакции
НАТАЛЬЯ ЛИКВИНЦЕВА (Москва)

Редакционная коллегия:
Д. СТРУВЕ, Т. ВИКТОРОВА,
прот. НИКОЛАЙ ОЗОЛИН (Франция),
О. РАЕВСКАЯ-ХЬЮЗ (США),
В. АЛЕКСАНДРОВ (Венгрия),
прот. ВЛАДИМИР ЗЕЛИНСКИЙ (Италия),
ЖОРЖ НИВА (Швейцария)
Е. БАРАБАНОВ, Ю. КУБЛАНОВСКИЙ,
Н. ЛИКВИНЦЕВА, Б. ЛЮБИМОВ, Е. МАЙДАНОВИЧ,
В. НИКИТИН, О. СЕДАКОВА (Россия),
К. СИГОВ (Украина)

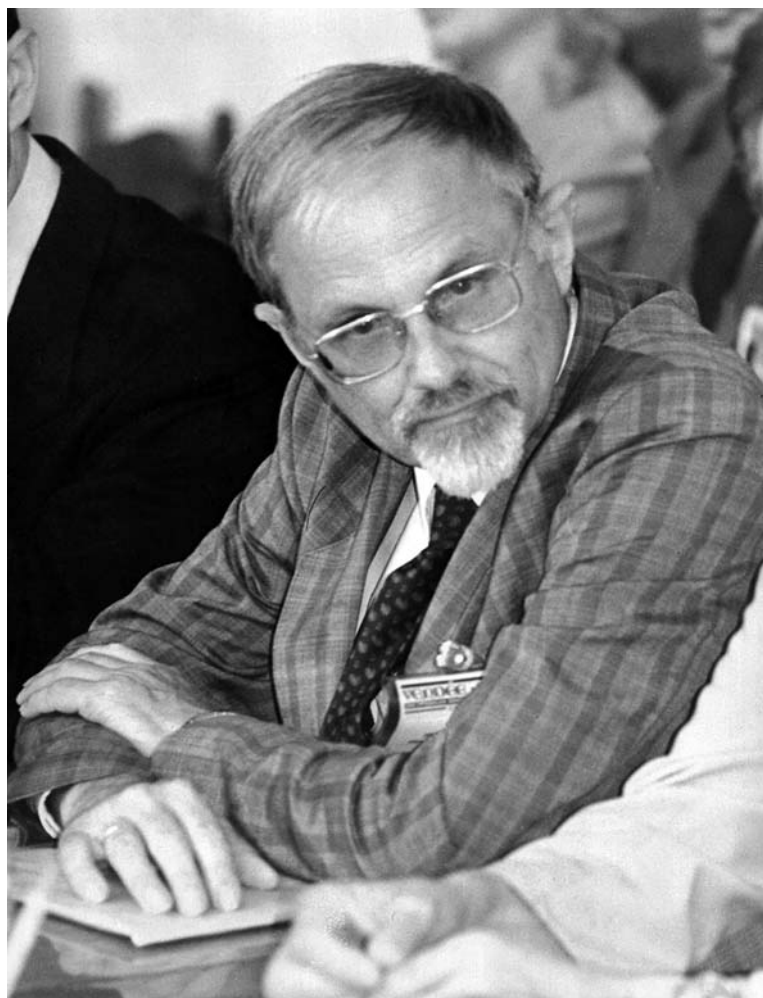
От редакции

В уходящем 2016 году отмечалось 70-летие со дня кончины митрополита Евлогия (Георгиевского, 1868–1946), одного из многих выдающихся церковных деятелей начала XX века, свидетельствующих о русском религиозном возрождении того времени, но вовлеченных затем в великую политическую смуту, последствия которой не исчерпаны и по сей день. В силу обстоятельств патриарх Тихон поручает тогда еще архиепископу, а вскоре митрополиту Евлогию необъятную паству православных русских людей, оказавшихся за пределами России. Митрополит Евлогий ограничит свое правление приходами Западной Европы, отстаивая свою независимость от Заграничного Синода, образовавшегося в Сремских Карловцах, а вместе с ней — и независимость Церкви от политических и идеологических соображений. В этом — его непреходящее значение как церковного деятеля XX столетия. Свобода Церкви, защиту которой он возводит в основной принцип своей деятельности, — шире одной лишь внешней свободы от посягательств политики и государства. Она не сводится ни к демократическим идеалам, ни к защите прав, ни к устроению Церкви на соборных, а не клерикальных или авторитарных началах, хотя и предполагает все это. Она есть сама природа церковного свидетельства, смысл евангельского благовестия о победе над миром: «не бойтесь, ибо Я победил мир» (Ин. 16, 33).

2016 год ознаменован для *Вестника* уходом из жизни его многолетнего ответственного редактора и по сути создателя журнала в его современном виде — Никиты Алексеевича Струве. 205-й номер, изданный после его кончины, стал последним выпуском, подготовленным при его непосредственном участии. 206-й посвящается его памяти. Можно сказать, что «Вестник РХД», а также и тесно связанный с ним «Православный Вестник» (*Messenger Orthodoxe*) на французском языке — дело жизни Никиты Алексеевича. В них воплотился тот же дух «оцерковления жизни», который лег в основу деятельности митрополита Евлогия, — открытость миру и свобода от мирских соображений целесообразности, приверженность к русской культуре, но не в национальной-

этнофилетической запертости, а в ее универсальном, вселенском измерении, и вместе с ней, — живой интерес к западному христианству, сочетание на страницах одного журнала богословия, философии, литературы, архивных материалов эмиграции и современных вопросов общественности.

Значение созданного дела не ограничивается жизненными рамками его создателя. *Вестник РХД* продолжает жить, и будущее покажет, сумеет ли он сохранить и развить таланты, вложенные в него его создателями.



*Н.А. Струве. Тамбов, начало 1990-х гг.
Фото О. Осипова*



*Никита Алексеевич Струве во время
паломничества на о. Айону (Шотландия).
1952 г. Из семейного архива Струве*



*М.А. Ельчанинова и Н.А. Струве. Венчание на Сергиевском подворье.
16 сентября 1955 г. На заднем плане – венчавший молодоженов
о. Василий Зеньковский. Из семейного архива Струве*



*Прот. Александр Шмеман, Екатерина Фердинандовна Светлова
(мать Наталии Дмитриевны Солженицыной), Н.А. Струве.
Из семейного архива Струве*



*Н.А. Струве и академик Д.С. Лихачев.
Из архива УМСА-Press*



*Встреча во французском посольстве в Москве. 1995 г.
Пьер Морель, М.А. Ельчанинова-Струве, Н.А. Струве,
А.И. Солженицын, Н.Д. Солженицына.
Из архива YMCA-Press*



ПАМЯТИ НИКИТЫ АЛЕКСЕЕВИЧА СТРУВЕ



Слова памяти



НАТАЛИЯ СОЛЖЕНИЦЫНА

Слово после отпевания Никиты Алексеевича Струве*

Во все годы изгнания (да и потом) не было у нас с Александром Исаевичем более близкого друга, чем Никита Струве.

Те четыре последних месяца 1973 года, от момента, когда КГБ схватило рукопись, «Архипелага» и до его громовой публикации, приготовленной — в строгой тайне и в страшном напряжении — издателем Никитой Струве и типографом Леонидом Лифарем, — на кону была голова Солженицына. Появление «Архипелага» опередило карательные решения властей, и они ограничились высылкой автора. Так что качества

* Слово было произнесено 13 мая 2016 года на отпевании Н.А. Струве в Свято-Александро-Невском кафедральном соборе на ул. Дарю в Париже.

Никиты как боевого друга были нам уже известны, а теперь, в изгнании, предстояло узнать его в «мирной» жизни.

Наше заочное знакомство началось 50 лет назад, когда просочился на родину тонкий ручеек книг из русского зарубежья, их читали жадно, особенно издаваемый Никитой «Вестник», сразу воспринятый как духовный мост между разорванными частями России. Потом, весной 1971 года, возникла переписка, а встреча произошла на третий день после высылки Александра Исаевича, в феврале 1974-го, он тогда записал: «С Никитой встретились сразу очень тепло: такой сразу близкий, понятный, чего бы ни коснулись, — хотя он всю жизнь эмигрант, а я всю жизнь советский».

О горечи эмигрантской жизни Никита нас предупреждал: «Быть эмигрантом — труднейшее из искусств», «отсутствие среды гложет», «очевидно, родина — это не только земля, не только история, а прежде всего “чувство локтя”».

Но изгнание — это и «небывалая свобода». И сам Никита Алексеевич, будучи, как он говорил, «эмигрантом от рождения», — был в то же время гражданином мира. Он был благороден, бескорыстен и щедр. Обладал остротой взгляда, большим и глубоким умом, был интеллектуально свободен, притягивал и самой манерой общения — лишенной всякого пафоса, ироничной, но скрыто-нежной.

Не так часто бывает, что близость в совместной работе сопровождается и личной, человеческой близостью. Взаимопонимание у нас было всегда и во всем, хотя это и не значит во всем согласие — было немало споров, но со вниманием к позиции и аргументам друг друга, и споры эти никогда не вели к отдалению, но лишь к еще большему взаимному уважению и любви.

Жизнь без Никиты будет труднее, холоднее и горше.

Сам же он прожил на редкость цельную жизнь.

И ушел на Светлой неделе, когда Небо распахнуто.

Всей душой верю, знаю, что Господь даст ему во блаженном усении вечный покой.

Памяти Никиты Струве

Для нас, заокеанских друзей, известие о кончине Никиты Струве было полной неожиданностью. Как было верно сказано: «Казалось, он всегда будет рядом». Заслуги его перед Церковью, Россией и русской культурой колоссальны. Ученый (Мандельштам), директор YMCA-Press, издатель («Архипелаг ГУЛаг»), свыше пятидесяти лет редактор «Вестника Русского христианского движения», один из основателей Дома русского зарубежья. Уже ранняя его книга о христианах в СССР (*Les Chrétiens en USSR*, (1963)) не прошла незамеченной.

Никита Струве был другом всей моей взрослой жизни. Встретились мы в 1960 году на съезде РСХД во Франции, жизнь прожили на разных континентах. Обобщая, можно сказать, что конкретно связывал нас в первую очередь «Вестник». Встречались мы редко, чаще всего на славистических конференциях. Самыми продолжительными, давшими возможность общения были последние наши с Робертом встречи с Никитой — в Киеве в 2002 году на Успенских чтениях и в Москве на открытии Дома русского зарубежья в 2005-м. Эти встречи были радостным подтверждением общности наших взглядов и полного взаимопонимания. В характере и личности Никиты счастливо сочетались непоколебимая твердость убеждений с удивительной легкостью общения.

Но, помимо редких встреч, всегда был и оставался до конца дней «Вестник». Здесь осуществлялся Никита как исключительно талантливый редактор. Имея доступ к ценнейшим архивам, он, однако, не превратил журнал в нечто «антикварное», но творчески сочетал историю с современностью. Из номера в номер шла переключка — то, что сохранила и создала эмиграция, было не просто «передано» России, но и отвечало на происходящее в наше время. «Вестник» не ограничивался только русскими церковными вопросами, а был открыт христианству и миру. Последний пример — публикация послания Папы Франциска католическим епископам в

* Текст написан 14 мая 2016 г.

203-м номере журнала. Добавим, что в последнем электронном письме Никита сетовал, что «Вестник» недостаточно широко распространяется в России.

Но самым ценным в его трудах, без сомнения, было издательское дело. Издательство YMCA-Press сохранило для будущего русский двадцатый век: богословие, религиозная философия, самиздат, Солженицын... То, что сделано издательством YMCA-Press, останется на века.

«Казалось, он всегда будет рядом», добавим — как маяк, который, если не виден, то слышен даже в тумане.

Памяти Никиты Алексеевича Струве

Я был знаком с Никитой Алексеевичем давно, но подлинная встреча произошла во время моей посольской миссии — с июня 1992-го по сентябрь 1996-го. Это были насыщенные годы, и его вклад в них был очень весомым.

В течение этого периода потрясений, но и сильного воодушевления, Россия быстро открылась внешнему миру. Хотя «перестройка» подготовила состояние умов и необходимую почву, многое из немыслимого ранее становилось возможным. Это относится, в частности, к издательской и переводческой деятельности, а также к распространению литературы, которая носит в России благородный характер и остается чтением многих, однако, независимо от режима, почти всегда находится под жестким контролем свыше.

При полной поддержке из Парижа и получив специальное финансирование, французское посольство объявило программу переводов французской художественной и специализированной литературы (в частности, в области гуманитарных наук), которая не могла быть опубликована ранее, условно говоря, от Пруста до Раймона Арона и Броделя. Это открыло за короткий срок для наших русских партнеров новые возможности в момент реальной нужды: заработка для переводчиков из университетской и писательской среды, жизнь которых резко покачнулась; возможность выстоять для новых издательских домов, десятки которых появились в течение нескольких месяцев; обогащение библиотечных фондов, которые переживали в этот момент резкий отход обычной публики, привлеченной новинками всякого рода, от детективных романов до пособий типа «how to», не говоря об отныне свободных телевизионных каналах.

Мы создали с Никитой Алексеевичем своего рода *союз* — это слово приходит мне в голову, чтоб определить ту оригинальную форму, которая оказалась очень плодотворной. Поскольку от-

* Посол Франции в России в 1992–1996 гг. Текст написан 30 сентября 2016 г.

ныне стала возможной непосредственная встреча с русским читателем, который остается для меня неотъемлемой фигурой истории страны, в том же смысле что «места памяти», о которых так много говорят, — мы могли делать это вместе. Он — со своей сокровищницей эмигрантских произведений, практически неизвестных, во всяком случае недоступных в России, плодом живой и мужественной деятельности его издательства YMCA-Press и журнала «Вестник РХД». Мы — с культурной миссией, поддерживающей переводческую деятельность по ознакомлению русского читателя со все возрастающим числом французских произведений, отсутствовавших в русских каталогах и отныне распространяемых благодаря программе «Пушкин».

Так мы регулярно путешествовали по всей России, часто устраивая с разными партнерами «день» или «неделю» Франции, включающие выступление Никиты Алексеевича о неизвестной истории интеллектуального очага русской эмиграции во Франции, которое сопровождалось двойной презентацией книг YMCA-Press и программы «Пушкин». Часто мы дарили эти коллекции местным общественным библиотекам, и я вспоминаю о живейшем удовлетворении библиотекарей, которые были рады разом обогатить свои фонды и тем самым вновь привлечь интерес властей, местной прессы и читателей. Публика могла покупать эти произведения, напечатанные на русском языке в Париже: это позволяло сохранять денежное равновесие YMCA-Press. Таким образом, мы побывали осенью 1992 года в Нижнем Новгороде, бывшем Горьком, «закрытом» городе, в который был сослан Сахаров, а ныне открывшемся благодаря энергии талантливого молодого губернатора Бориса Немцова. В Екатеринбурге наша выставка в муниципальной библиотеке была устроена губернатором Росселем, важной фигурой этого времени, который признался мне, что пришел в эту библиотеку впервые! То же происходило в десятках других городов, больших и малых. Где только мы не побывали! Вспоминаю о Твери и Дмитрове. Когда я был слишком занят, культурный советник посольства или директор московского Alliance Française принимали эстафету.

Мы все были воодушевлены этой деятельностью, но осознали, что самое ценное исходит от Никиты Алексеевича. Я тогда говорил, что благодаря этим поездкам и встречам с ним в Россию возвращалось что-то неведомое ей, и я помню

очарованные взгляды и живейшее внимание слушателей, которые после окружали его плотным кольцом.

В марте 1993 года предоставился исключительный случай воздать должное всем участникам этого приключения. Во время визита в Москву президента французской республики Франсуа Миттерана я предложил Парижу собрать в большом зале посольства в старинном особняке Игумнова на Большой Якиманке около сорока представителей русских издательств (с устоявшимися традициями или созданных недавно) и столько же переводчиков. Предложение было принято. Каждый из них тем самым мог представить свои труды главе нашей страны. Впоследствии мы создали две литературные премии, чтобы ежегодно отмечать самые значительные произведения, — премию Мориса Ваксмахера, по имени выдающегося российского переводчика, для лучшего перевода с французского на русский; и премию Леруа-Больё (Leroü-Beaulieu), по имени автора объемистой книги о России конца XIX столетия, для самого яркого исследования о Франции на русском языке. Президентом жюри был Морис Дрюон, а Никита Алексеевич, конечно же, стал одним из его членов.

Одно из упомянутых издательств, «Русский путь», сыграло важнейшую роль. Созданное Виктором Александровичем Москвиным, оно был тотчас вовлечено в программу «Пушкин», и, главное, стало посредником ИМКА-Пресс в России. Совместная увлеченность поэзией способствовала подготовке первого в России издания произведений Сен-Жона Перса*, нобелевского лауреата 1960 года. Единственный существующий до этого перевод «Анабасиса» был выполнен Георгием Адамовичем и Георгием Ивановым и издан в Париже в 1926 году, два года спустя после его появления, с предисловием Valéry Larbaud. Вновь мы почувствовали себя восстанавливающими связи.

Последующий этап был еще более волнующим, связанным с публикацией книги переводов Филиппа Жакоте**, моего соседа в Дроме*** и друга с юных лет; поэта, которым Никита

* *Сен-Жон Перс*. Избранное. М.: Русский путь, 1996.

** *Филипп Жакоте*. В свете зимы (под ред. Н.А.Струве, пер. В. Швыряева, А. Давыдова). Предисловие Пьера Мореля. М.: Русский путь, 1996.

*** Предальпийский регион на юге Франции.

Алексеевич издавна восхищался. Связующим звеном между ними была общая очарованность Мандельштамом, творчество которого вдохновило Жакоте выучить русский язык настолько, чтобы читать его и переводить с языка оригинала. Уже в 1975 году Жакоте записывает: «давно уже ни один поэт не передавал мне так, как он, чувство поэзии». Мы много работали вместе с Никитой Алексеевичем, перечитывая и порой уточняя переводы В. Швыряева. Появление книги увенчалось приездом в Москву Филиппа и Анны-Марии Жакоте в мае 1996 года. Мы организовали несколько поэтических вечеров и теплый прием в его честь в посольстве. Поэт, в свою очередь, вскоре переработал отдельные тексты, посвященные русским писателям, объединив их в прекрасную книгу «Навеянное словом *Россия*»*, где он делится всем тем, чем является для него «это безмерное пространство на востоке его сердца».

Третьим значительным моментом этих совместных лет была встреча с Александром Исаевичем Солженицыным. Поводом стало открытие в 1995 году Дома русского зарубежья, расположившегося в особняке, подаренном московской администрацией. Александр Солженицын, именем которого ныне назван этот Дом, передал туда архивы, полученные в ответ на его призыв ко всем, оставившим Россию после революции, посылать ему воспоминания, свидетельства и архивы для написания цикла «Красное Колесо». Эти документы стали первым фондом Дома русского зарубежья. Присутствие Александра Исаевича и его супруги Наталии Дмитриевны, незадолго до этого вернувшихся в Россию, но осознанно оставшихся на периферии всякой официальной и литературной жизни, казалось, смутило всех присутствующих. Однако благодаря естественности, свойственной Никите Алексеевичу и Марии Александровне, которую они сохраняли и по отношению к их дорогим друзьям, создалась непринужденная атмосфера, которая передалась окружающим. Я вспоминаю, в частности, неожиданное признание Наталии Дмитриевны, произнесенное в стенах только что открывшегося зала, в котором разместились эти сотни документов: «Десятки лет я несла на моих пле-

* *Philippe Jaccottet. A partir du mot Russie, Fata Morgana, 2002. Пепе-издано в: Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2014. Книга посвящена Пьеру и Ольге Морель. — Прим. ред.*

чах моральный груз всех этих архивов, в страхе, что случится пожар, кража или какая другая беда. Я наконец могу сбросить этот груз. Какое невероятное облегчение!»

Многokrатно я обращался к Никите Алексеевичу с просьбой вновь повстречаться с этим великим человеком. Его дружеское посредничество творило чудеса, и однажды он мне сказал, что неформальный обед наших трех семей в посольстве устроил бы всех. Это произошло несколько дней спустя: мы приняли их с моей супругой Ольгой в посольстве, начав с краткой экскурсии и рассказа о необычной истории этого особняка ярославского купца, роскошно и тщательно выстроенного в 1893 году в эклектическом стиле, с преобладанием псевдорусского. Александр Исаевич с живейшим интересом следовал за нами из одной комнаты в другую, обнаруживая там и здесь следы прекрасно выполненной работы, вплоть до фирменного знака тульских братьев Баташевых, выгравированного на каждом медном крюке двери!

Естественность наших друзей Струве вновь быстро развеяла нашу осторожность и нерешительность, и завязался оживленный и свободный разговор. Три черты поразили меня: я оказался не только перед суровым непреклонным писателем-пророком, но и перед универсальным гением, открытым диалогу с другими мирами, и одновременно — подлинным гуманистом, мучимым тяготами переносимых страданий и внимательным к людям. Наконец, самым неожиданным открытием было чувство юмора, вплоть до того, что мы все неоднократно искренне смеялись, и этого я ожидал от этой встречи менее всего. И вновь, достаточно было встретиться с ясным и лукавым взглядом Никиты Алексеевича, чтоб понять, как эти маленькие чудеса становились возможными.

Таковы были ценнейшие мгновения, которыми я обязан дорогому Никите Алексеевичу, человеку подлинной веры, честному в своих обязательствах, близкому и щедрому другу. С непоколебимым убеждением он выполнил блестящую миссию подлинного исторического значения, без всякого шума, с теплой простотой, которую мы чувствовали во всей полноте во время наших встреч в их доме, простом и красивом, украшенном лишь несколькими иконами Марии Александровны. Однажды мы ужинали у них летним вечером в саду на склоне холма, и это незабываемо, как тот скромный



*Пьер Морель, А.И. Солженицын.
Встреча во французском посольстве в Москве, 1995 г.*



*Пьер Морель, А.И. Солженицын, Н.А. Струве.
Встреча во французском посольстве в Москве, 1995 г.*

и натруженный покой, который царил вокруг их очага и был отражением целой жизни.

Перевод с французского Татьяны Викторовой

Из воспоминаний о Никите Струве*

Я вспоминаю Никиту Струве, в мои студенческие годы — ассистента Пьера Паскаля. Он был лишь на четыре года старше меня, насмешлив, обаятелен и не слишком церемонился с университетским этикетом. Стоит ли этому удивляться — ведь он был ассистентом профессора Сорбонны, в котором не было никакой «сорбонщины»!

Между старым французским большевиком и внуком члена кадетской партии взаимопонимание казалось полным, хотя и парадоксальным. Но Паскаль-католик, друг архиепископа парижского Фельтена, вернувшись из Советской России, по-своему образумился.

В своей прекрасной книге «70 лет русской эмиграции» Никита Струве вскользь подчеркивает роль своего деда в качестве министра иностранных дел правительства Врангеля. Он организовал последовательное отступление в Крым под натиском большевиков. Это не было булгаковским «Бегом». Россия не эмигрировала, она меняла место на карте. Она стройно отступала, готовясь к возвращению... Внук действительно вернулся, но только в 1991-м. У книги — точные временные рамки: «1919–1989». Она указывает начало и конец. Заметим, что этих границ нет у Солженицына в «Красном Колесе», с его отступлениями в прошлое и главами-набросками, погружающими читателя в будущее.

Падение коммунизма, конец эмиграции. Никита впервые едет в Россию, — его страну в том смысле, что его семья, культура, язык и православие родились в России за границей. При этом у него не было ни капли русской крови в генетическом смысле слова.

Эта книга о заграничной России подобна ему самому: точная, лишенная высокопарности. С предисловия он противопоставляет героический эмигрантский народ Марины

* Слово, произнесенное на вечере памяти Н.А. Струве 30 сентября 2016 г. в парижском издательском доме YMCA-Press.

Цветаевой — русско-парижской деревушке Отёй*, с разрозненными туземцами, паршивыми, опустившимися и мелочными, какими они предстают в рассказах Тэффи.

«В нашей памяти эмигрантская жизнь не была доведена ни до безысходного героизма, ни до необратимого падения. Правда то, что эти детские воспоминания относятся ко временам, близким Второй мировой войне, когда материальная жизнь эмигрантов стабилизировалась и мировые перевороты сбросили на второй план их личные горести и заботы».

Никита Струве емко выражает главное: отчаяние стало школой терпения. Русская и эмигрантская специфика теряется в последующих поколениях, и уже в его собственном, выросшем во французских школах и университетах.

Позволю себе небольшое отступление о своих собственных встречах молодого провинциала-клермонца с русской эмиграцией. Первая — с Георгием Никитиным в Клермон-Ферране, на верхнем этаже средневекового клермонского дома, сооруженного из черных вулканических камней. Никитин был переплетчиком книг. Он бежал не с Врангелем, но при разгроме денikinской армии. В Стамбуле стал грузчиком на корабле, который следовал в Марсель. Его багаж состоял из пары штанов и рваной майки. Незаконченное образование, неполное православие. Он учил меня русским словам по толстовским рассказам для детей, с сильнейшим украинским акцентом, тщательно выговаривая все окончания. Я с благодарностью писал о нем, ибо он погрузил меня в свободную стихию русского народного синтаксиса рассказа «Филипок» и выражений типа «на воре и шапка горит» из «Азбуки» Л.Н. Толстого. Это определило мою дальнейшую жизнь: я почувствовал вкус к русскому языку. Поскольку русской церкви не было, Никитин ходил в местный католический приход и раз в год ездил в Париж, где исповедовался в церкви Сен-Жюльен-ле-Повр у униатского епископа.

Позднее я познакомился с семейством Лосских (Магдалиной и ее детьми и, главное, Марией**) — со средой, близкой Струве. В Парижском институте восточных язы-

* Auteuil — предместье Парижа, в котором в 30-е годы жили многие русские эмигранты.

** См. некролог «Памяти Марии Владимировны Лосской-Семон» в конце номера — *Прим. ред.*

ков я подружился с Дмитрием Шаховским, еще не зная, что он князь. Затем я познакомился с разными писателями — Владимиром Вейдле, человеком утонченной культуры (пишущим, как мне кажется, лучше по-французски, чем по-русски); Борисом Зайцевым, патриархом русской литературы; Георгием Адамовичем, назначавшим мне свидания в кафе на Елисейских полях... Наконец, я тесно подружился с Владимиром Волковым и навещал его в Америке. Волков в романе «Стража теней»^{*} забавно описал полурусское–полу-французское детство, годы, проведенные на школьной скамье, свои первые недоумения: русские отправляются в душ по вечерам, чтоб чистыми лечь спать; француз же с этого начинает свой день...

Для Никиты Струве прививка к новой культуре не противоречила преданности корням. Так это было и для Волкова, хотя и в других условиях. Волков, французский писатель, был «мушкетером» по духу, но русским и православным по какому-то внутреннему устремлению. Но Волкову было трудно писать по-русски. Два быка в упряжке его творчества передвигались неодинаковыми шагами: один достойно тянул творчество француза-стилиста; второй волочился рядом, *à la Russe*, но не тянул всей упряжки.

Никита Струве, благодаря французскому образованию и выбору русского отделения в Сорбонне, в равной степени владел обоими языками. Можно привести немало примеров, когда он переводил сам себя. Однако нельзя сказать, что он одинаково выражался на обоих языках. Его перевод диссертации о Мандельштаме, его передовицы в *Вестнике*, быть может, не так легки, как на французском.

Он был учеником и ассистентом Пьера Паскаля, главный труд которого посвящен «началу раскола»^{**} и писателю протопопу Аввакуму. Перевод на французский *Жития протопопы Аввакума* — шедевр офранцуживания древнерусского текста, отяжеленного архаизмами и окрыленного лингвистическими находками, столь дорогими впоследствии для футуристов

^{*} Wladimir Volkoff. *La Garde des ombres*, Éditions de Fallois / L'Âge d'Homme, 2001.

^{**} Pascal Pierre. *Avvakum et les débuts du raskol, la crise religieuse au XVII^e siècle en Russie*, Centre d'Études Russes, Istina, Paris, 1939. Русское издание: *Паскаль Пьер. Протопоп Аввакум и начало раскола*. М., 2010.

и диссидентов, как Синявский. Что Паскаль предлагал нам изучать? Басни Крылова и дремучий этнографический роман Мельникова-Печерского «В лесах». Никита открывал его для себя вместе с нами. И мы все были очарованы. Слово «непереводимо» отсутствовало в словаре Паскаля. Мы переводили и поэтические, и архаические места «Лесов». Паскаль учил, что все может быть передано на классическом или романтическом французском. Таковым же было кредо друга Паскаля (и Альбера Камю) философа Бриса Парена, директора одной серии в издательстве Галлимар и личного друга Antoine Gallimard. Ученица Паскаля Сильвия Люно (Sylvie Luneau) целиком перевела роман «В лесах» для этого издательства. Нынешняя мода, и даже скорее общепринятое мнение — обратный подход: оригинал должен проступать через перевод, как через кальку. Для Пьера Паскаля и его школы, к которой принадлежал Никита, следовало, напротив, превратить его во французский, выбирая язык Рабле, Порт Рояля* или же Шатобриана.

Среди любимых французских авторов Никиты — Анри де Монтерлан, цитируемый отцом Александром Шмеманом в его *Дневниках*, автор *Напрасного служения***. «Кто сказал вам, что человеку суждено что-то сделать на этой земле?» Вызов самому существованию, в очень французской манере, — осязаемый у Никиты и свойственный окружению Паскаля. Нужно было передать на французском, à la française, зная, что французский стиль может быть лишь «тенью дыма»...

Итак, семья Струве не эмигрировала, а скорее сменила место, перенесла с собой не только прошлую Россию, но и будущую. В этой двойственной России, соединяющей прошлое и будущее, вырос Никита, со своим двойным гражданством и со своей раздвоенной русскостью.

Он остался для своих читателей, друзей, учеников носителем этой двойной французской и русской идентичности, с иронией — и с литургическим великолепием; с вызовом, порой сарказмом — и с русской духовной поэзией. Возможно, поэтому он поехал в посткоммунистическую Россию, как если

* Port-Royal des Champs — французский цистерцианский женский монастырь, ставший в XVII веке центром духовного возрождения, который посещал, в частности, Блез Паскаль.

** Henry de Montherlant, *Service inutile* (1935), сборник эссе.

бы он возвращался в нее после длительного перерыва. Это позволило ему стать одним из редких западных спутников Александра Солженицына. Не только потому, что он сумел со своей супругой показать Александру Исаевичу и Наталии Дмитриевне такой Париж, такой Эльзас и такие предместья Луары, какие они сами бы не открыли для себя, но и потому, что эти поездки — например, их совместное посещение крошечной усадьбы Леонардо да Винчи в Clos Lucé — изменили мнение писателя о Франции. Скромный дом гения, приглашенного во Францию королем Франциском Первым, впечатлил его больше, чем величественные замки и огромные соборы.

В жизни Никиты Струве, профессора Струве, Никиты Алексеевича — много этапов. О первом из них, детских годах, он рассказывает сам в 203-м номере Вестника. Этот текст похож на него самого: сдержан, скромен, слегка ироничен.

Мы видим юношу Струве рядом со своим дедом, с писателем Буниным, гостившим у них, с философом Франком... Никита не слишком уверен в себе, колеблется, слушает... И это внимание пленяет окружающих его великих старших. Добавим к вырисовывающемуся портрету, что его личная встреча с поэзией начинается с поэзии французской, и прежде всего с Шарля Пегги (а не с Бодлера, как для всех русских Серебряного века, равно как для героев Жюль Ромэна в *Людах доброй воли*). В *Дневниках* отца Александра Шмемана слышны их голоса: оба говорят о Париже и о французской литературе. Оба, кажется, любят Жуандо, что несколько настораживает*...

Далее приходит увлечение русской поэзией, Мандельштам задолго до Блока. Так рождается «Мандельштам» Никиты Струве, ставший диссертацией, книгой, читая которую, Шмеман записывает: «подлинно человек этот — свет во тьме»**. Этот Мандельштам начинается с *Воронежских тетрадей*, с ча-

* Marcel Henri Jouhandeau (1886–1979) — французский католический писатель правого направления, автор психологических романов на автобиографической почве, в некоторых проступает тема конфликта между приверженностью к католической вере и гомосексуализмом.

** Прот. Александр Шмеман. *Дневники*, 1973–1983. М.: Русский путь, 2005. С. 627. Запись от 8 апреля 1982 г.

плинской, почти неуловимой иронии позднего Мандельштама, с проступающего христианства — достаточно внимательно присмотреться — подобно тому, как был едва различим Христос на миланской фреске Леонардо до ее чрезмерной реставрации в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие. Позднее эта встреча с Мандельштамом продолжится в переписке с его вдовой Надеждой и в издании ее воспоминаний*.

Анна Ахматова: личная встреча после встречи с ее поэзией. Во время коллоквиума в Нантере в 1989 году Никита дал нам прослушать запись усталого, но по-прежнему царственного голоса величественной Сивиллы *Поэмы без Героя*. Никита описал эту их беседу в июне 1965 года, деликатно подчеркнув противоречивость высказываний поэтессы, с одной стороны, горько сетующей, что Запад поспешно объявил, «что я восемнадцать лет молчала»**, с другой стороны, говорящей о немыслимости поэзии во время террора***. Н. Струве тонко, с большой симпатией замечает в этой связи, что в жизни каждого большого поэта случается молчание.

Следующим большим событием стала встреча с Солженицыным, которая, однако, не поглотила его целиком. Солженицын публикует свои произведения в издательстве YMCA-Press, посылает свои тексты в *Вестник* и полемизирует с авторами журнала, публикуемыми Н. Струве. Он прибывает на Запад, в Цюрих и затем в Вермонт, после долгого желания увидеть и почувствовать русскую эмиграцию. Эмиграция представляется ему тем путем, который с духовной точки зрения ничем не уступает триумфальному советскому. Однако вскоре у автора *Архипелага* складывается впечатление, что он приехал слишком поздно. Новогодний вечер, проведенный со Струве и Шмеманами в русском ресторане «Доминик», оставляет его в недоумении. «Старый русский официант — наверное, бывший офицер — одевший в полночь для смеха публики дурацкий колпак, едва не кукарекая — разве это русская эмиграция?»

* *Надежда Мандельштам*. Воспоминания. Париж: YMCA-Press, 1982.

** *Струве Н.А.* Восемь часов с Анной Ахматовой. В: Православие и культура М.: Русский путь, 2000. С. 382.

*** Аллюзия на строки из *Поэмы без героя*: «Пытки, ссылки и казни. Петь я / в этом ужасе не могу».

Следующий этап — падение коммунизма, «возвращение» в прежде не виданную Россию, передвижные выставки имковских книг по всему российскому континенту. Этим поездкам во многом способствовал посол Франции Пьер Морель. Я в разных местах встречал посетителей этих выставок, каждый из которых был полон благодарности. Для Никиты это было большим счастьем, почти прославлением в полюбившей его стране.

Однако Никита Алексеевич не принял ни идолопоклонничества эмиграции, ни преувеличенного почитания новой России, освобожденной от коммунизма, которая видела в нем возвращенца Великой заграничной России и кормчего Имки.

Несмотря на то что споры в *Вестнике* с сердили Солженицына, дружба и взаимное уважение покрывали все. В терпимой и скромной манере кормчего небольшого судна, возможно, было нечто новое для Александра Солженицына: французский вкус к сдержанным словесным поединкам. Огромная коллекция номеров журнала, появившаяся под эгидой Никиты Струве, впечатляет. Богословие (на мой взгляд, порой слишком обильно представленное), заново открытые поэты, философы, художники, заброшенные на советских путях России XX столетия; *disputatio* о будущем России; перевод на русский язык Пегги и других французских поэтов... Все это представляет долгий путь, осмысленный и направленный. В своей последней передовице Никита Струве протестует против присвоения Россией православного Собора и русского кладбища в Ницце. Какой он придает этому смысл? Спор ведется не о могилах, камнях и даже иконах, но о том, чтобы противостоять уничтожению прошлого. Русская эмиграция существовала. Она поддерживала, спасала, думала, писала, философствовала, ссорилась. В ней были святые, как мать Мария, дочь Серебряного века, спутница беспечной, до 1914 года, русской богемы; поэт, философ, монахиня в миру, окончившая жизнь в нацистском лагере со своими сиротами. То есть вошедшая высшей жертвой в историю Франции, Запада.

Ничто не может изменить эту глубинную причастность русской эмиграции к истории принявшей ее страны, Франции. Принятая и плохо принятая; нищая — но вскоре всей Франции было суждено разделить это несчастье; превосходно интегрировавшаяся — и превосходно обособлен-

ная; малочисленная — и духовно значимая. (Журнал *Esprit* без Бердяева, французская живопись 30-х годов без Анненкова, мультфильмы без Алексева, французский роман без Гари и Ажара*? Можно ли это себе это представить?)

Никита Струве — один из ее ярких примеров в университетской среде и за ее пределами. Удивительны мандельштамовские строки, которые он упоминает в своей последней передовице:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны.

В своей книге о Мандельштаме он сравнивает портрет Сталина, данный поэтом, с карикатурой Гойи. Это гойевское измерение, появившееся и в этом последнем тексте, удивляет и беспокоит.

Никита Алексеевич умер в тревоге за свои обе страны, за нас.

*Перевод с французского и примечания
Татьяны Викторовой*

* Gary и Ajag — псевдонимы Романа Кацева (1914–1980), французского писателя русско-еврейского происхождения. Игра псевдонимами позволила писателю вновь привлечь внимание критики к своему творчеству и дважды получить гонимую премию.

Н.А. Струве — издатель С.А. Клычкова

(из воспоминаний о Н.А. Струве)**

Н.А. Струве издал в 1983 и в 1985 гг. в Париже два романа и сборник стихотворений Сергея Антоновича Клычкова, писателя, расстрелянного в 1937 г. и до сих пор не переиздававшегося (за исключением нескольких стихотворений), несмотря на его реабилитацию в 1956 г. Как случилось, что Н.А. Струве первым осуществил литературную реабилитацию забытого мастера фантастического реализма и сказа, — жанра, оказавшегося трагическим вследствие Первой мировой войны, пережитой Клычковым, и крестного похода «князя мира» против религии и крестьянства?

Знакомству с творчеством С.А. Клычкова, в 70-е годы все еще изъятого из общедоступного каталога библиотек, но выдаваемого «без шифра», я обязан московскому реставратору икон Николаю Кишилову в конце 60-х гг. Я посвятил ему свою диссертацию, «Клычков и его время. Проблемы крестьянской литературы», написанную под благодушным руководством Жана Бонамура. В связи с ней я перевел на французский язык избранные главы всех трех романов С.А. Клычкова — «Сахарный немец», «Чертухинский балакирь», «Князь мира», написанных в 1925–1928 гг. (они все переизданы в одном томе в 2016 г. в издательстве «Водолей»). Благодаря поддержке Жоржа Нива, моего учителя в годы обучения в Тулузском университете, книга, снабженная биографическим очерком, вышла в 1981 г. в швейцарском издательстве *L'Âge d'homme* под названием *Le Livre de la vie et de la mort* (*Книга Живота и Смерти*), выбранном самим Клычковым для задуманного им «девятикнижия».

* Профессор *emeritus* университета Кана в Нормандии, автор многочисленных работ по русской литературе XIX–XX вв., в частности, только что вышедшей книги «Запад, увиденный из России: антология русской мысли, от Карамзина до Путина» (*Institut d'Etudes Slaves*, 2016).

** Из выступления на вечере, посвященном памяти Н.А. Струве в YMCA-Press 30 сентября 2016 г.

Книга переиздана в 2002 г. Вслед за этим я уже мог предложить Н.А. Струве переиздание первого романа С.А. Клычкова. Так, благодаря Клычкову, произошло наше знакомство. Мне кажется, что в этом писателе Никиту Алексеевича привлек его исконно русский, не стилизованный язык, и, несомненно, его открытое сопротивление «попоедству» и «дрессировке» со стороны «Пролетарской» Ассоциации писателей. За это «упрямый россиянин» (как не без восхищения назвал С. Клычкова М. Горький) заплатил жизнью.

В 1983 г. «Сахарный немец» вышел в YMCA-Press в виде репринта (факсимиле) под обложкой работы Дануты Некрасовой-Геллер. В начале 1984 г. Никита Алексеевич переслал мне ксерокопию страницы из письма А.И. Солженицына (от 12 декабря 1983 г.), целиком посвященной обсуждению «Сахарного немца»:

«Я, наконец, все кончил. Сначала шло очень захватно (фронтовые главы). Как я Вам уже говорил — поражает буйная неумная образность и полная свобода коренного языка. Все путешествие Зайчика* в тыл сперва ничего, но потом становится занудным, затянуто (от Чагодуя до Петрограда), разваливается общая целостность вещи. И внутри — брала досада на Клычкова, что он испортил вещь. А потом, фронт — опять очень хорошо, и смыкается с началом. И если б он укоротил середину в три раза — была бы здорово построенная вещь. Солдатское вот такое отношение к войне — вполне понимаю, и на этом у меня построена и установка Воротынцева** на мир.

— Сперва покалывало, а потом стало уже неприятно систематическое противобожие автора, ереси (“надо, чтобы Бог верил в людей”), этот дьякон затруханный, и все что о духовенстве — вполне в духе пошлых карикатур 20-х гг. Затем и прямые демонические нотки, и что за черный таракан в главном храме Иерусалима? Конечно, тут есть много (даже и невольного) подыгрывания под

* Зайчик — полуавтобиографический герой «Сахарного немца», зауряд-прапорщик, затем командир роты крестьян-солдат на Двине.

** Персонаж романа Солженицына «Август Четырнадцатого». — *Прим. ред.*

эпоху, “чтобы пропустили”, “чтобы похвалили”. (Аспект, который надо иметь в виду даже рассматривая “Мастера и Маргариту” — “проходимость” вещи). Но нет, дело хуже:

12.12.83

Дорогой Никита Алексеевич!

Надралось к Вам несколько пунктов.

- 1) Клычков. Я, наконец, всё кончил. Сначала это было тяжело (грамматические главы). Как я Вам уже говорил — парадоксальная неумелая одаренность и полнейшая слепота карьерного роста. Все профессиональные Записки в том смысле ничего, но самым самым замечательным, замечательным (от Садовы до Петербурга) разваливается отчаянная целостность вещи. И впрочем — этот дощел на Клычкова, что он испорчен вещь. А потом, потом — опять очень хорошо, и смыкается с началом. И если бы он унаследовал от меня в три раза — был бы здорово посоразмерен вещь. Собственно это самые последние к Вам — вполне памятные, — и на этом у меня посоразмерна и установка. Вспомните же на мир — сначала некачественно, а потом стала уже непереносима систематическая привадиловская абстракция. Едва („интересно, что вещь в ней“), это абстрактно-жесточкий, и всё это о духовности — стало в духе наших карикатур 20-х. Затем и прелесть — чужиеские мажоры, и что за геополитическая картина в главном — хитрый Червоточина? Конечно, что есть много (даже и невольного) подвизания над эпохой, „мажоры французские“, „мажоры пахотные“ (вспомните, как много имело в виду даже рассматривая Масона и Маргариту — „проходимость“ вещи). Но нет, дело хуже: абстрактно-идеологическая глупость зарифмованная и демантирована. И это мажорно на негодные мысли о состоянии креветочных чужих революционных эпох. (И откуда такой формы демантирования — создания абстракции?) Впрочем и на армисте же нет у него абстрактных друзей, и даже чужиеськие в жизни 20-х годов. В этих отношениях — пока не слышно, думаю о Клычкова в — не. Разумеется. Зато одаренность казалась „эпохой“ разума, и все-таки как воздух, энциклопедичность и сложность. В общем — негодное садиться у Вас соседство, и особенно — благодаря очень толковым примечаниям Никё — абстрактно у меня толковая памятная впасть до самой осени Бегина и многих еще авторов? Представьте, ему при случае от меня — мажорно и радость, что есть друзья — так чужиеськие и чужие в русском искусстве. И.д. бы Вы по Клычкова эпоху (или влиять влиять) — тоже бы сарказм — что-нибудь такое?

Письмо А.И. Солженицына к Н.А. Струве от 12 декабря 1983 г.

автор и действительно глубинно заражен атеизмом и демонизмом. И это наводит на печальные мысли о состоянии крестьянских умов революционной эпохи. (И откуда такая волна демонизма у стольких авторов?) Впрочем, и на армию же нет у него объемного взгляда, и тоже укладывается в агитку 20-х годов. В этих отношениях — пока не читаешь, думаешь о Клычкове выше. Разочарование. Зато образность какая! Язык! Разлитая, естественная как воздух, стихотворность и сказочность! В общем — культурное событие у вас состоялось, и особенно благодаря очень толковым приложениям Никё — откуда у него толковое понимание вплоть до статей Осипа Бескина* и многих еще оттенков. Передавайте ему при случае от меня благодарность и радость, что есть французы, так углубленно идущие в русскую литературу.

М.б. бы Вы по Ключеву, по Орешину** (или вместе двоим) — тоже бы соорудили что-нибудь этакое?»***.

В своем письме ко мне (на французском языке) Никита Алексеевич прокомментировал суждения А. Солженицына:

«Я полностью разделяю его литературное суждение, но я не уверен, что он правильно понял религию Клычкова. Это была бы прекрасная тема для статьи в «Вестнике». Как Вы думаете****?»

Одобрительный отзыв А. Солженицына вероятно и подтолкнул Никиту Алексеевича продолжить литературную реабилитацию С.А. Клычкова:

«Один «Избранный Клычков» в моей новой поэтической серии был бы совсем уместным — сотня стихотворений, или меньше, 70–80 было бы достаточно.

* Осип Бескин (1892–1969) — советский литературный критик, главный доносчик на Клычкова, «барда кулацкой литературы».

** Петр Орешин, несмотря на отречения от своих друзей (С. Есенина, С. Клычкова и др.) в поэме «Моя библиотека» (1928), был расстрелян в 1938 г.

*** Расшифровка письма Натальи Мурсевой. — *Прим. ред.*

**** На эту тему см.: М. Никё. Теодицея у Н. Ключева и С. Клычкова // XXI век на пути к Ключеву (сост. Е.И. Маркова), Петрозаводск, 2006, с. 81–86.

Несмотря на относительный успех — или неуспех — “Сахарного немца”, я издал бы еще один роман Клычкова с Вашими комментариями и примечаниями. Надо, наверное, объявить об этом довольно быстро, ибо я слышал, что у нас появились последователи в Соединенных Штатах, и что какой-то издатель собирается выпустить что-то из Клычкова. Какой роман имеете ли Вы в виду?»

Им стал последний клычковский роман «Князь мира», еще более демонический, чем предыдущие. Никита Алексеевич издал его в 1985 г., в том же оформлении работы Дануты Некрасовой-Геллер. Одновременно вышел и поэтический сборник, состоящий из 92 стихотворений с предисловием молодого советского литературоведа, подписанным из предосторожности лишь инициалами*. В том же 1985 г. я защитил свою докторскую диссертацию, в жюри которой вошел Никита Алексеевич, наряду с Жаном Бонамуром, Мишелем Окутюрье, Жаном-Луи Бакесом и Франсуаз Фламан.

Вот его краткий отзыв:

«Профессор Струве целиком присоединяется к хвалебным суждениям своих коллег, но дабы не перегружать кандидата похвалами, он предпочитает выразить некоторые критические замечания, которые относятся не столько к диссертации, сколько к ее возможной публикации» [идут замечания о плане].

«Остается один основной вопрос: является ли Клычков хорошим поэтом? Чего ему не хватает, чтобы быть равным Есенину или Клюеву? Если качества романиста, хорошо выявленные автором [диссертации], — неоспоримы, то философия, которая лежит в основе романов, кажется немножко сумбурной [fumeuse]».

В мае 1989 г. Никита Алексеевич пригласил меня на международную конференцию об Анне Ахматовой, которую он организовал в университете Нантер Х. Он предложил мне выступить с докладом об А. Ахматовой и С. Клычкове, которые знали и ценили друг друга, так же как Мандельштам с

* Речь идет об Александре Ивановиче Михайлове (1937–2009), научном сотруднике ИРЛИ.

Клычковым. Наконец, в начале 90-х годов Никита Алексеевич выразил желание съездить в родную деревню С. Клычкова Дубровка под Талдомом, в 110 км к северу от Москвы. Он подарил Дому-музею Клычкова (открытому в 1992 г., однако с 2007 г. закрытому «на ремонт» на неопределенный срок) книги YMCA-Press, в том числе Клычкова.

Мое сотрудничество с Никитой Алексеевичем продолжилось в связи с изданием сборников стихотворений Н. Клюева в 1997 г. и С. Есенина в 1999 г. в изящной серии «Избранная поэзия», украшенной белой обложкой с виньеткой. Для всех этих изданий и переизданий у меня была полная свобода прилагать комментарии, предисловия или послесловия. Таким образом, благодаря Никите Алексеевичу была подготовлена необходимая почва для литературной реабилитации С. Клычкова и на его родине. В 2000 г. в московском издательстве «Эллис Лак» вышел двухтомик его сочинений*.

Впоследствии мы время от времени встречались в его книжном магазине. Он отличался острым, иногда едким критическим умом. Он практически отказался от чтения художественной литературы, из чувства пресыщения. Он привлекал большой умственной свободой и глубокой мудростью — черты, которые я находил в его передовицах в «Вестнике». Со временем он незаметно перешел на ты — благо, возраст сглаживает разницу в годах. Он всегда отвечал на мои рождественские и новогодние поздравления своим прямым почерком, отточенным, как его ум.

Последнее сотрудничество — совсем недавнее, связанное с изданием эссе о. Сергия Булгакова «Иуда Искарот Апостол-Предатель», впервые опубликованного в журнале «Путь» в 1931 г. Еще в 2008 г. я перевел этот богословский труд, в котором о. С. Булгаков старается преодолеть упрощенный взгляд на Иуду как на корыстного предателя. Я предполагал, что вслед за публикацией пресловутого «Евангелия от Иуды» он легко найдет издателя. Но не тут-то было. Тогда я предложил Никите Алексеевичу приложить в виде предисловия статью, которую он написал в 2006 г. для журнала *Revue des études slaves*, посвященную Иуде в русской литературе

* С.А. Клычков. Собрание сочинений: в двух томах (составление, подготовка текста, комментарии М. Никё, Н.М. Солнцевой, С.И. Субботина). М.: Эллис Лак, 2000, 544 и 656 с.

и искусстве, и продолжить поиски издателя вместо меня. Он обратился в издательство *Cerf*, к François-Xavier de Guibert, и в конце концов книга была напечатана при посредничестве Marko Despot в издательстве *Syrtes* в 2015 г.

В лице Никиты Алексеевича я потерял верного друга, мужественный и независимый голос которого изобличал всякие проявления мракобесия, где бы они ни возникали, для которого экуменизм не был ересью и который не боялся черпать для «Вестника» в духовной и литературной сокровищнице католического Запада. Никита Алексеевич сумел сохранить, обогатить и вернуть в Россию ее собственное достояние. Его роль посредника между Западом и Россией, в его понимании — не сущностно противоположных, но взаимодополняющих, наперекор официозной идеологии, — является бесценной.

Вечная ему память!

Памяти Никиты Алексеевича Струве*

Дорогой, любимый Никита Алексеевич, не могу о Вас говорить в третьем лице.

Как обычно, хочется обращаться к Вам. Спасибо Вам за всё, что Вы сделали для нас. Из Вашего «Вестника», еще подпольного здесь в советские времена, мы узнавали русское христианство XX века. В «Вестнике», в изданиях «YMCA-Press» мы слышали лучшие голоса эпохи (и не одной). По Вашей колонке редактора мы сверялись, как по камертону. Вы без малейшей дидактики строили душу своего читателя: его религиозное, историческое, гражданское самочувствие.

И конечно, который раз благодарю Вас за то, что Вы стали моим первым издателем (книга «Врата, окна, арки» вышла в 1986 году в YMCA-Press). И за то, что пригласили меня участвовать в Вашем труде (введя в редакционный совет «Вестника»). И за то, что Вы сказали прекраснейшее слово при вручении мне Премии Александра Солженицына (между прочим, строя свою речь во втором лице, в отличие от всех других, бестрепетно говоривших «она»).

Но больше всех этих вещей я хочу Вас поблагодарить за то, что жизнь в Вашем присутствии становилась яснее, веселее, светлее – точнее, Ваше присутствие в жизни такой ее делало. Каждого из нас, в конце концов, можно оценить очень просто: что сделалось с миром после его жизни, что сделала с миром его жизнь. Ваша жизнь сделала мир милее. И особенно наш советский, а потом и постсоветский мир. Очень печально, невозможно печально прощаться. В насхальные дни эту печаль окружает свет. Почему-то с редкой уверенностью думаю, что мы не навсегда расстались. И что Ваша душа в том мире, который она любила больше всего, в

* Текст был опубликован интернет-порталом «Православие и мир» 8 мая 2016 г. См.: <http://www.pravmir.ru/pamyati-nikityi-alekseevicha-struve/>.

*мире Христовом. Царствие Вам небесное и вечная память,
и светлая память на земле.*

А в третьем лице напишу отдельно.

Ваша

ОС.

Почти случайно приходящие на ум эпизоды из наших встреч с Никитой Алексеевичем. Я вижу их, как в кино. Никита Алексеевич обладает особой силой зрительного присутствия. Его жесты, движения, смену выражений на лице часто помнишь больше, чем слова. Все это легкое, быстрое, юное. И вместе с его фигурой со странной отчетливостью встает место, где все это происходит: он одухотворял все эти места и как бы навсегда присоединил их к себе.

1990 год. Я первый раз в Париже, по формальному приглашению YMCA-Press. Четыре года назад там вышла моя книжка. Струве я до этого не видела, и увидеть не надеялась, и он принадлежал для меня тому пространству, которое Ходасевич назвал «русской легендой», то есть миру несколько потустороннему. Струве приглашает меня пообедать — в рыбный ресторан (сегодня пятница, комментирует он). В рыбном ресторане подают антре: нераскрытые устрицы. Я их никогда прежде не видела и открывать не умею.

— Вы второй человек, которого я учу открывать устрицы! — говорит Никита Алексеевич. — Первым был Аверинцев.

Дальше мы говорим об Аверинцеве, довольные тем, что оба его обожаем.

Стоит помнить, что русский человек советского воспитания был полной новостью для Струве (как и для других эмигрантов). Не своим меню, в которое устрицы не входили. Все было по-другому. Старый православный священник поколения Струве как-то признался мне, что не может понять людей из советской-постсоветской России на исповеди. Воспринимали этого «нового человека» в эмигрантском кругу по-разному, многие с резким неприятием. Никита Алексеевич (как и владыка Антоний Сурожский) — без малейшего снобизма. Сочувствие, готовность помочь, желание понять

непонятное, готовность услышать что-то новое для себя или узнать то родное, что можно не заметить под грубой и неуклюжей оболочкой. Струве стал настоящим другом многих приехавших во Францию и приезжающих, а позже — и многих людей в России, столичной и провинциальной.

Я перескакиваю на несколько лет, но вспомню, как Никита Алексеевич начал ездить по провинциальной России, даря местным библиотекам издания YMCA-Press. Он сиял. Очная встреча с читателем, для которого он работал всю жизнь — и который был для него за железным занавесом.

— Это для меня как вторая молодость, — говорил он. — Сколько же в России прекрасного, сколько возможностей!

То, что я мгновенно, в том рыбном ресторане, в нем полюбила, можно назвать святой непринужденностью. Ничего вынужденного, выдуманного, применяющегося к чему бы то ни было. И ничего замолчанного, что так отягощает общение, потому присутствует в нем сильнее, чем говоримое. Человек без подполья.

Другой эпизод — Москва, Фонд Солженицына, еще в старом здании, еще не названный аббревиатурой БФРЗ, которая приводила Никиту Алексеевича в ужас.

— БФРЗ! Кому захочется входить в БФРЗ? У! — и ёжился, как от противного напитка.

Итак, в Фонде, но еще не в БФРЗ, — чествование Никиты Алексеевича. Наверное, 70-летие и, значит, 1992 год. Время самое «против прошлого», назовем его так. Н.А. Струве поздравляют самые важные чиновники, эти же чиновники восхваляют великого политического мыслителя Петра Бернгардовича Струве. Никита Алексеевич любознательно наблюдает происходящее. Благодарят его и читатели. Я решаюсь поблагодарить Струве от тех, кого он издал (кроме меня, вероятно, таковых там не было). После торжественной части Никита Алексеевич подходит ко мне с глубочайшим раскаянием на лице.

— Вы меня благодарили, а ведь я сначала ничего не понял в Ваших сочинениях и был против публикации. Это Наталия

Дмитриевна настояла. Простите меня! Простите! Только потом дошло...

И подвел меня к прекрасно одетой даме, которую я приняла за гостью из Парижа:

— Наталия Дмитриевна Солженицына.

Так мы встретились первый раз.

И еще несколько лет при встрече Никита Алексеевич повторял свои извинения.

Теперь Вильнюс. Мы приехали дарить Вильнюсской библиотеке коллекцию книг от Фонда Солженицына. Часть этого собрания разложена на длинном столе. Мы с Никитой Алексеевичем сидим за этим столом. Тут я замечаю, что прямо передо мной лежат сочинения Нилуса. Окруженные тако-го же рода православной словесностью.

— Посмотрите, Никита Алексеевич! Что делать?

Струве быстрым взглядом окидывает экспозицию и сбрасывает Нилуса и иже с ним под стол.

Вечером мы сидим у литовского художника, которого в детстве экспатриировали в Сибирь. Слушаем его страшные



О.А. Седакова и Н.А. Струве

истории. Никита Алексеевич в свой черед рассказывает, как во время немецкой оккупации его гимназический друг пришел с желтой звездой.

— И я думал: что мне такое нацепить, чтобы не было стыдно перед ним? Красную звезду что ли?

И прекрасно рассказывает о Бунине. Сколько людей из «русской легенды» он видел в доме мальчиком.

В саду он звонит Марии Александровне в Париж. Когда он говорит с ней, у него лицо даже еще не жениха: мальчик ранней весны влюбленности. Признаюсь, я никогда не видела таких отношений. Я читала у Франциска Ассизского, что только грубиян перестает видеть в своей жене невесту (у Франциска это была, конечно, параболла об отношении человека с верой). Читала, но видела впервые.

Мы много раз встречались на разных собраниях Свято-Филаретовского православно-христианского института, в попечительском совете которого состояли. Никита Алексеевич полюбил братское движение, основанное о. Георгием Кочетковым, и с радостью участвовал в братских конференциях, встречах и т.д. У него было много друзей в церкви, среди священства и мирян. Но гонимых «кочетковцев» он отличал.

— Я понял, — сказал он, — что только здесь я вижу продолжение того духа, который был в нашем Русском Христианском Студенческом Движении.

— Разница есть, конечно. Мы были... как-то свободнее... Но ведь это люди, пережившие советскую эпоху...

Однажды на конференции, сделав свои доклады, мы сидели, любуясь открытыми, проясненными лицами братьев и сестер, их живыми вопросами, всей этой атмосферой молодого христианства.

— Ох, — сказал мне Никита Алексеевич, — мы уже старые люди. Исторически старые. Вы не согласны, Ольга Александровна? Мы уже знаем, к чему идет все, что живо и чисто начинается. Как оно формализуется, костенеет... Францисканство — еще при жизни Франциска... Дай им Бог продержаться.

У меня получается какой-то слишком легкий портрет. Никита Алексеевич был человеком великого служения, пре-

данности и мужества. Он неожиданным образом объяснил мне однажды причину своей бескомпромиссности, рассказывая об одном парижском конфликте.

— Я был готов пойти на попятную, отстраниться. Но я вспомнил: ведь я читатель русских поэтов. Мне так нельзя.

Что он имел при этом в виду под русской поэзией, можно понять из его книги о Мандельштаме. Вероятно, у него было два самых дорогих поэта — Мандельштам и Шарль Пеге.

И последняя наша встреча в Париже. После моего выступления в Сорбонне покойная Фатима Салказанова пригласила поужинать. Мы шли по каким-то улочкам и закоулкам в ресторан, который она выбрала, было темно — и вдруг на встречу нам по пустому переулку идут две странных, почти бесплотных фигуры, почти не касаясь земли. Но идут целенаправленно. Это Никита Алексеевич и Мария Александровна (признаюсь заодно, что М.А.Ельчанинова — мой любимый, и — простите! — единственно любимый современный иконописец: ее образы дышат и молятся, и зовут молиться; о других качествах икон скажут искусствоведы). Подхожу, здороваюсь и спрашиваю:

— Куда Вы идете в такой поздний час?

— На Ваше выступление, — отвечает Никита Алексеевич. Оказывается, у них в извещении была ошибка во времени. Мы вместе пошли в ресторан и весело беседовали.

— Как хорошо в старости! — сказала Мария Александровна. — Наконец-то ничего не нужно и беспокоиться не о чем.

СВЕТЛАНА НОСОВА *

Мне очень больно, что не стало Никиты Алексеевича. Я чувствую себя осиротевшей. Он умел поддержать, укрепить во мне веру в насущность поэзии. Этой веры мало, ее почти нет.

Он особенно хорошо умел слушать стихи, как-то внутренне напрягался, изнутри светлел. Я помню, в один из моих приездов в Париж он пригласил меня к себе домой, и я читала ему *Torcello*:

Там, где Ты живешь — переплеск вод,
Смыть постылые, склизкие тени свай,
И брокат с подолов у дождей — в брод
Волочить с лагуны фантом, край.

У мозаик Торчелло оглох, смолк,
Деревянной фистулы визг, зной,
И пространства прохладного ждет шелк,
Возгораемый сланец груди, слой!

В эти тени вельвета, хвалы, мглы,
Шерстяной ли каймы, синевы ли?
Пробивается пламя на зов, всплыв,
Омывая вечностью Твой Лик.

С потаенной стены полоснет взгляд
Звукотени, ветров, полуслов — Ты,
Но засыпан дом, запечатан сад,
Баптистерий ждет дождевой воды**.

* Поэтесса. Родилась в 1962 г. в Новосибирске, закончила медицинский институт в Москве. В 1991 г. переехала в Германию, где работает врачом. Ее стихи неоднократно печатались в «Вестнике РХД». В 2012 г. в издательстве YMCA-Press вышел сборник ее стихов *Medicina Animae*, в который вошли стихотворения, написанные в течение 25 лет.

** Стихотворение целиком опубликовано № 201 «Вестника РХД». Остров Торчелло в Венецианской лагуне — одно из любимых мест Н.А. Струве. — *Прим. ред.*

И он вот так слушал. Уже тогда у меня было чувство хрупкости, что это, может быть, в последний раз, но Бог дал еще раз увидеться, провести поэтический вечер, за что я очень благодарна. Но это была уже последняя встреча.



*Н.А. Струве и С. Носова
на вечере в доме YMCA-Press
в Париже. Март 2013 г.*

Михаил Соллогуб*

Воспоминания о Никите Алексеевиче Струве

Он был старше меня на десять лет и всегда впечатлял меня своим остроумием и своими суждениями.

Это был разносторонний и сложный человек. Он проделал огромную работу на поприще издания «Вестника РХД» (ставшего под его руководством самым крупным русскоязычным журналом за границей), а также в области книгоиздательства. В сотрудничестве с коммерческим директором ИМКИ И.В. Морозовым им были изданы А.И. Солженицын, о. Алексей Мечев, Юрий Домбровский, Михаил Булгаков...

Он был ярким сторонником франкоязычного православия и во многом поддержал инициативу Сергея Морозова установить ежемесячные службы в храме Движения на французском языке. Его вклад в этом направлении неоценим, особенно — в издании журнала «Messager Orthodoxe».

В 1967 г. он участвовал в знаменитом собрании «Синдесмоса», призвавшего к единству Церкви и осудившего противоканоническое положение православной Церкви на Западе. Впоследствии, будучи избранным членом Совета Архиепископии, он всегда проводил линию Движения — активного участия мирян в жизни Церкви и преданности Христу и Его Истине.

[...] Помню, как мы встретились в Греции. Я был тогда послан Советом РСХД в качестве представителя РСХД

* Профессор экономики университета Париж-1, Пантеон-Сорбонна. В 1960–1970-е гг. — член бюро РСХД, с 1978 г. секретарь РСХД (совместно с К.А. Ельчаниновым и А.А. Викторовым), затем председатель и вице-председатель РСХД — Движения православной молодежи (АСЕР-МЮ). Вице-президент Всемирной федерации православной молодежи «Синдесмос» (1968–1980 гг.). Активный член Православного братства в Западной Европе. С 2004 г. секретарь епархиального совета Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе Константинопольского Патриархата. Внук писателя Б.К. Зайцева.

на съезд YMCA в Фессалоники. Там были Никита и Саша (ныне — Кастильон). Никита побуждал меня к беседам с Павлом Андерсоном о моем деде, писателе Борисе Зайцеве, которого печатали в YMCA-Press. Я очень смутился, и ничего из этой попытки не вышло...

Мы общались больше письменно и полемизировали (см. его статью в «Messenger Orthodoxe» (№ 29–30) о нашем молодежном журнале «Jeunesse Orthodoxe»). Мне пришлось выйти из состава редколлегии «Messenger Orthodoxe» в связи с полемикой относительно Православного братства.

Важным вкладом в жизнь эмиграции были организованные им в 1962–1965 гг. богословские курсы. Они проводились для студентов и работающих людей по вечерам, начиная с 6 часов, в помещении «Центра православных студентов имени Достоевского» над книжным магазином. Лекции читались на французском языке видными богословами всех национальностей и юрисдикций, читали Оливье Клеман, сам Никита,



*Никита Струве, Антуан Нивьер, Михаил Соллогуб.
Москва, Дом русского зарубежья. Ноябрь 2012 г.*

отец Алексей Князев, еп. Алексей (ван дер Менсбрюгге), Николай Анатольевич Куломзин и многие другие. Это начинание сыграло огромную роль для многих молодых людей, в том числе для нас с Сергеем Морозовым и Сергеем Ребиндером.

После распада СССР Никита предпринял гениальную инициативу передачи местным библиотекам в России собраний книг YMCA-Press. Это стало реальным способом восстановления утраченной связи эмиграции с современной Россией, которую Никита страстно любил.

В воссоздании этой связи, особенно в церковной сфере — в возвращении к принципам Московского Собора 1917–1918 гг., — он видел смысл служения Движения, членом которого он оставался до конца, призывая в России и на Западе к верности Истине и вере отцов.

Протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон
Протоиерей Владимир Зелинский*

Жизнь в верности

Мы встретились в нашем брешианском доме, о. Михаил Аксенов-Меерсон и я, пишущий эти строки, вскоре после известия о кончине Никиты Алексеевича Струве. Каждый из нас знал покойного более 40 лет, о. Михаил с начала 1973 года, когда, покинув СССР, он прожил год в Париже, начав сотрудничать с «Вестником», я же — заочно в Москве с середины 70-х, когда между Струве и мной завязалась переписка, протекавшая, как тогда говорили, «с оказией». Познакомиться лично нам довелось осенью 1988-го, во время первой моей поездки на Запад, в Аббатстве Пралья, недалеко от Венеции, где тогда проходила одна из многочисленных конференций, посвященных тысячелетию Крещения Руси. С тех пор отношения наши, деловые, дружеские, хотя и не очень близкие, не прерывались. И потому, принимая у себя о. Михаила, живущего в Вашингтоне, я предложил ему сделать совместное наше приношение покойному Никите Алексеевичу, ибо опыт общения с ним был у нас общим, совпадающим в восприятии. О. Михаил за несколько минут продиктовал свой текст, затем на его основе я написал что-то свое. Название, им предложенное, утвердилось сразу.

Он прожил всю свою жизнь в верности тому выбору, или скорее заданию, которое воспринял с рождения. А родился он в среде той русской эмиграции, которая, как говорили, «унесла Россию с собой», т.е. не отряхнула прах ее, не смешалась с новой страной обитания, но сохранила в ней свою душу и миссию. И никто, наверное, не сделал для ее сохранности больше, чем Никита Алексеевич Струве. Он воспринял это задание, когда культурный напор русской эмиграции если не иссяк, то заметно ослабел по сравнению с неповто-

* Протоиерей Михаил Аксенов-Меерсон — настоятель церкви Христа Спасителя в Нью-Йорк-Сити (США), автор ряда книг и статей.

римым цветением российских талантов, оказавшихся и проявивших себя во Франции в 20-30-х годах. Но в 50-х годах это было уже скорее культурное гетто; оно по-прежнему идентифицировало себя с православием, но и не в меньшей мере с непримиримым, ставшим уже привычным противостоянием стране, в то время бурно строившей коммунизм, запустившей спутники, стоявшей крепко и грозно, казалось, на долгие века. И все же неизменной установкой этой первой волны эмиграции было чаемое возвращение в Россию. В ту пору это был почти миф, который, как всякий миф, мог существовать вне всякого контакта с реальностью, он висел как облако, незаметно тая в повседневном существовании, где надо было жить уже не в изгнании, а дома, работать, растить детей, занимаясь делами, к «наследию отцов», чаще всего, отношения не имеющими. Трудно было тогда представить, что в студенте, учившемся в то время на русском отделении в Сорбонне, миф о возвращении однажды перестанет быть мифом, а станет реальностью, как и не мечталось тогда — сначала во Франции, а затем и в России.

Собственно, верность России, унесенной и сохранившейся в уголках души, в книгах, молитвенниках, семейных преданиях, погонах, котомках разбитых белых армий, которые становились уже легендой, вырастала у него из верности православию, свидетелем которого он был всю свою жизнь. Никита Струве родился в тот год, когда Русская Православная Церковь в эмиграции разделилась на три пути, за каждым из которых стоял свой человеческий, часто очень нелегкий выбор: московский, вольно или невольно нераздельный с советским режимом «во имя Церкви страдающей», что бы он ни творил и как бы ни лгал; карловацкий, представляющий некую вечную, обетованную «Россию, которую мы потеряли» но к которой должны непременно вернуться вместе с Домом Романовых и «русской идеологией»; и вселенский, или «евлогийанский», исходящий из того, что появление православных русских на Западе было явлением промыслительным, что истинное православие — не одинокий островок спасающихся, повернувшихся «обличительной» спиной к остальному миру, что послание его, по крайней мере в интенции, собирает в себе все ниточки (красоты, мысли, культуры), которые протягиваются ко Христу. Никита Струве не только безогово-

рочно избрал этот последний путь, но и стал одним из самых верных и стойких его работников. Он был воплощением русского европейца не столько в том гениально-мечтательном его образе, созданном Достоевским, сколько в его вполне конкретной, жизненной укорененности в русской Церкви, неотделимой при этом от того, что на Западе есть от духа Христова.

А лучшее, что есть на Западе, — это принятие неистребимой ценности человека, наконец отпущенного на свободу. Можно сколько угодно приводить примеров от противного, ибо Запад, разумеется, лишь один из обликов падшего преходящего мира. Но свобода, насколько она вообще в этом мире возможна, не приравнивает человека к той роли, которую налагает на него система, отсекая от себя как врага — насилием или проклятием — всякого, кто в эту роль не вписывается. Открытие западной цивилизации как определенной ступени истории, на которой она далеко не каждый день способна удержаться, это утверждение свободы и права человека — по крайней мере, в принципе, — быть самим собой, не теряя верности Христу и Евангелию.

Никита Струве не раз критиковал Запад, иногда жестко (при бомбардировке Сербии, например), ибо христианину и положено быть в оппозиции к падшему миру, не забывая при этом, что само право на критику было растворено в воздухе, которым он дышал. Его выбор свободы духа, неотъемлемой от православия, был частью его наследства, не только культурного, но и семейного; внук Петра Бернгардовича Струве, русского консервативного либерала, он оставался таковым всю свою жизнь. За эту верность он получил на родине своего деда небезопасный титул «ярого антисоветчика», как было написано в одной из пропагандистских брошюр, закрывший ему путь в Россию до самого падения режима.

В России Никита Струве известен прежде всего как бесменный редактор «Вестника Русского студенческого христианского движения». «Вестник», родившийся в 1925 году, до конца шестидесятых годов оставался тоненькой тетрадкой, имевшей славное прошлое (при сотрудничестве Бердяева, о. С. Булгакова, о. С. Четверикова, Федотова и др.) и неопределенное будущее. Но в руках редактора он стал органом «Молодой России» как за ее пределами, так и внутри нее. Она

была молодой независимо от возраста авторов и читателей «Вестника». На рубеже 70-го года Никита Струве открыл, можно сказать, распахнул двери своего журнала самиздату, прежде всего религиозному, но и правозащитному, ибо защита человеческой личности, оказавшейся под сапогом государства, была для него религиозным призванием. Первые наши статьи появились именно в «Вестнике», сначала под псевдонимами, затем под собственными именами, и для нас обоих это был жизненный выбор пути, с которого мы уже не могли и не хотели свернуть. Кажется, при жизни Никиты Алексеевича мы так и не догадались выразить ему нашу благодарность за эту открытую дверь. Делаем это теперь, с запозданием, увы.

«Вестник», по сути, стал русским православным «Колоколом», созывавшим и собиравшим людей в общее духовное и культурное пространство, в котором правда веры и красоты не отделяла себя от правды «ужасов жизни» (Шестов), преследований, посадок, унижений, заполнявших собой в те годы последнюю часть Вестника. Первые же его страницы были посвящены богословию, боговидению, богообщению. И так сложилось — вполне органично, что обращение к небу завершалось горькими делами земли. А между этими двумя пространствами — долина, отведенная культуре. Никита Струве создал особый жанр толстого журнала, уникальный по-своему, в котором, не смешиваясь, сосуществовали три пласта человеческого существования: один целиком посвященный религиозной жизни, другой творческий и, наконец, протестующий, клеймящий, когда зло вопиет к небесам. И эти три сливающихся струи создавали единый поток свидетельства; раз войдя в него, запоминаешь его навсегда. Размышления о молитве, проповеди, главы о Евхаристии о. Александра Шмемана, статьи об Ахматовой или Мандельштаме, Солженицын с его «Красным Колесом», Пеги, Бродский, Кублановский, свидетельства о катакомбной Церкви в СССР, письма из лагеря, хроника гонений, в том числе и инославных... — таково лицо «Вестника», менявшееся от номера к номеру и остававшееся неизменным.

Каждой своей публикацией Никита Струве стремился показать, что православие — это верность свободе, что в нем свободней и легче дышится, чем где бы то ни было, и потому его журнал был открыт иным исповеданиям. Он не был тем,

кого называют «экуменистом», в этом часто проявлялось его расхождение с авторами по ту сторону «занавеса», сказывалась разница опытов, в одном случае человека, выросшего в ту пору (еще) в католической стране, и теми, кто родился под диктатурой атеизма, но он был всегда открыт ко всякому образу или проблеску, в котором «изображался» Христос. Его журнал всегда наполнял весенний воздух, соединенный с православным Преданием, лишенным духа узкой, агрессивной конфессиональности. И рядом, параллельно существовал (существует и сегодня) другой «Вестник», французский, *Le Messager orthodoxe*, который, разумеется, тоже требовал немалых усилий, времени, энтузиазма, жертв. Это было двойное миссионерское служение: России, которой проповедовалось «мыслящее православие», соединенное с культурой, и Франции, к которой было обращено свидетельство о православии в России.

Однако оба эти журнала был только младшими братьями другого дела, которому Никита Струве посвятил жизнь. Главным было, насколько можно судить извне, его издательство, без которого, могу засвидетельствовать (В.З.), многое в России 70–80 годов, а возможно, и сегодняшней, было бы иным. Тогда, в конце 60-х, началось то, что называют «возрождением», но будем осторожны с этим словом, уместнее было бы назвать его началом возвращения в Церковь молодых богосискателей. Даже и не всегда очень уж молодых. Впрочем, сами они никогда и не уходили из нее, ушли когда-то их деды, а если говорить о еврейской молодежи, а многие тогда принимали крещение, то и дедов их там никогда и не было. А что могли читать «алчущие правды» читатели 70-х годов? Евангелие, при всей его малодоступности, иногда можно было найти через знакомых знакомых, да и то лишь в больших городах, а то, что называлось «религиозной литературой», давно осело в библиотеках уходящего поколения, которое хорошо помнило, чем могла грозить книга, кому-то «данная почитать». И вот от одного Возрождения Серебряного века, прославленного, но большей частью ушедшего в эмиграцию или погибшего, протянулась рука к другому, малому, еще только что-то обещающему, и этой благословляющей рукой был Никита Струве с его «Вестником» и издательством YMCA-Press.

Где, как, какими каналами пересекали границу книги Бердяева, Шестова, Булгакова, Франка, Зеньковского, Флоров-

ского, очень хотели знать компетентные органы, но проникало их, думаю, совсем немного, зато были они очень подвижны. Те, к кому они попадали, не могли, ну просто права морально-го не имели не одалживать их тем, у кого их быть не могло. Все это подпадало под Уголовный кодекс, но книги имеют свою судьбу, а судьба тех парижских книг была в том, чтобы жить именно в России и будить там жизнь. Так и шло это подпольное служение, пока наконец не стало вполне легальным и свободным на родине, вылившимся в московское издательство «Русский путь», ныне уже независимое от парижского.

Ну и наконец, как не вспомнить об издании солженицынского «Архипелага», потрясшего мир западный ничуть не менее, чем советский. Никто не подумал тогда, что не только для автора, но и для издателя такое деяние могло окончиться чем угодно. В 70-е годы, о чем мы забыли уже, это было реальным риском.

В Церкви Никита Алексеевич шел по пути о. Сергия Булгакова: свобода исследования, частое причащение, защита независимости Русского Экзархата. В 90-е годы, в период его максимального сближения с официальной Россией и Русской Церковью, когда с многочисленными выставками, встречами, выступлениями и щедрым дарением книг он объездил десятки городов в России, оставаясь при этом неуклонным сторонником церковной идентичности Архиерископии Русских православных церквей, единственной на сегодняшний день (если не считать Американской Автокефалии) наследницы почти забытого Московского Собора 17–18 годов. Он поддерживал и автокефалию Американской Церкви, и Преображенское Братство в Москве, и новых гонимых уже в несоветской России... Отстаивание этой независимости, иногда очень полемическое, окрасило его последние годы; оно касалось не только споров с Московским Патриархатом, уверенным, что все называемое «русским и православным» должно быть включено в его структуры, но и внутренней ситуации в самом Экзархате, требовавшей защиты внутрицерковной свободы. И во всем этом Никита Струве оставался верен себе, своему мужеству, своему выбору, своему, часто одинокому, стоянию и, не забудем, своей горячо любимой семье.

Был он верен и своей церкви в ее скромном приходском обликии. Никита Струве был много лет прихожанином, а

одно время и старостой маленькой «движенской» церкви, т.е. церкви РХСД, на ул. Оливье-де-Сер, где, кроме того, он был и чтецом, а затем собора Александра Невского на ул. Дарю. Возглавлял он также и созданный им русский культурный центр в Монжероне, под Парижем, в старом запущенном поместье, подаренном русской общине, где устраивались православные съезды и конференции. В июле 1984 года Никита Алексеевич в сорокалетнюю годовщину кончины о. Сергия Булгакова, которого он чтит неукоснительно, собрал здесь большой многодневный международный симпозиум. Но прежде всего Монжерон служил еще и приютом для бездомных русских иммигрантов, которым некуда было податься. Хотя с них вносили минимальную плату, за которую они такого жилья нигде бы не могли найти, большинство из них и этого не платили.

С терпеливым, несколько ироническим добродушием Никита принимал все это, как и многообразие русско-французской, да и европейско-американской православных общин, ровно и достойно разговаривая, слегка грассируя, с новыми иммигрантами из Советского Союза, с французской бюрократией, с денежными тузами, к которым обращался часто, увы, вхолостую или получая символические подачки, за материальной поддержкой для своей благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности, которая, разумеется, никаких доходов лично ему не приносила.

Свою семью Никита Алексеевич содержал не деланием палаток, а преподаванием русской литературы в университете, и как у него на все это хватало сил, времени и организованности! Охватывая взглядом его долголетнюю жизнь и деятельность, из которой нам известны лишь немногие ее фрагменты, нельзя не поразиться, сколько может сделать один человек, как многое может устоять на его плечах, если он сам всю жизнь опирается на Господа.

Священник Франсуа Брюн*

Памяти Никиты Струве

Мое свидетельство о Никите Струве будет совсем скромным. Я ведь знал его только извне. И он мало рассказывал мне о себе. Иногда он проговаривался, что у него какие-то проблемы с центром в Монжероне, где он давал приют русским беженцам, сумевшим ускользнуть от советского режима. Или же это были проблемы, связанные с попытками сохранить издательство YMCA-Press и магазин. Я знал лишь, что он часто ездил в Россию, исколесил ее вдоль и поперек, вплоть до Владивостока, организовывал там читальни, дарил библиотекам книги, в том числе и те, что были изданы по-русски здесь, в Париже, его же силами. Он словно был наделен двойной миссией: служил Богу, распространяя православие и во Франции, и в России. Так он перевел на русский язык произведения Шарля Пегги, которым искренне восхищался, и я разделяю это восхищение, хотя и не могу оценить его перевод. Всею своею жизнью он служил Богу. Но почти не говорил об этом, был удивительно скромен. И эта скромность говорила сама за себя. Больше всего о том, как много ему удалось сделать, я узнал на вечере в честь его 85-летия, не от него, а от других людей, выступавших там**.

Я не очень хорошо помню подробности нашей первой встречи с Никитой Струве. Я написал богословскую книгу, в которой показал, как богословие, продолжающее традицию греческих отцов, перекликается с опытом западных мистиков. Я искал издателя, и отец Пласид Дезей посоветовал мне обратиться к Никите Струве. Тот сразу согласился, и книга вышла в YMCA в 1983 г., что и стало началом нашей долголетней друж-

* Отец Франсуа Брюн — католический священник, автор многочисленных богословских трудов, три из которых переведены на русский язык: «Чтобы человек стал Богом» (пер. С.А. Гриба, СПб.: Алетейя, 2014); «Расслышать умерших» (перевод Н.В. Ликвинцевой, СПб.: Алетейя, 2015), «Христос и карма» (перевод Н.В. Ликвинцевой, готовится к выходу в издательстве «Алетейя» в 2017 г.).

** Вечер «Двойной юбилей», 15 февраля 2015 г. в помещении магазина русской книги YMCA-Press. См. об этой встрече материалы в № 205 «Вестника».

бы. Никита и его жена Мария нередко приглашали меня к себе домой в Вилльбон. На вокзале в Палэзо я сходил с поезда и дальше шел пешком до их дома. Когда же возраст стал брать свое, Никита стал встречать меня на вокзале на машине. Для меня воспоминания об этих вечерах очень живы и дороги, я чувствовал себя у них совершенно свободно. С 1975 г. я уже не занимал никаких официальных должностей в Католической церкви. Я зарабатывал как мог себе на жизнь, и он был единственным собеседником, с которым можно было свободно обсуждать богословие и жизнь наших церквей. Никита никогда не намекал мне на переход в православие. Он принимал меня таким, каков я есть, и сполна дарил свою дружбу, и эта дружба очень сильно поддерживала меня. Примерно тогда же я как-то поехал послушать отца Пласида в Монжерон. И Никита с Марией заехали за мной и отвезли меня на машине в Бюсси, где у них была дача. Там все было очень просто. Мы обедали на улице, рядом с домом. Кто-то из их друзей что-то жарил на гриле. Затем они показали мне русский монастырь, две церкви с фресками и иконами. В той же деревушке жил и отец Борис Бобринский, декан Свято-Сергиевского института в Париже. Там жило много русских, в той деревушке, так как многим хотелось, выйдя на пенсию, поселиться рядом с монастырем. Мне запомнилось это удивительное впечатление — вся деревня русская. То же впечатление осталось у меня и от маленькой парижской церквушки в пятнадцатом округе, неподалеку от моего дома*. Она находится во дворе. Ее окружают типично французские жилые дома, но сила присутствия, исходящая от этой церквушки, столь сильна, что как только вы проходите ворота и входите во двор, у вас сразу возникает впечатление, что вы уже в России. И я знаю, что возникает оно не только у меня.

Да, к сожалению, с годами мы с Никитой виделись все реже. Я так же стар, как и он, болею, устаю. Езжу обычно на такси, так как не могу уже подниматься по ступенькам в метро. Но я убежден, что там, где он сейчас, он останется для меня все тем же чудным другом, и что уже недалек тот день, когда и меня постигнет эта великая радость — воссоединиться с ним в Господе.

Перевод с французского Натальи Ликвинцевой

* Речь идет о православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы и преп. Серафима Саровского (91, rue Lecourbe).

Священник ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ*

«Вестник» — это Никита Алексеевич Струве

Впервые я услышал именно о «Вестнике», а не о Никите Алексеевиче. Никита Алексеевич, естественно, от «Вестника» не отделим. В каком-то смысле «Вестник» — это Никита Алексеевич Струве, а Никита Алексеевич Струве — это «Вестник». И это самое главное, все остальное при сем, около этого и для этого. То, что он столько лет мог быть самим собою, делая одно дело, никуда не убегая, никого и ничего не предавая, делая это умно, тонко, на уровне творческого процесса, — вот это и есть Никита Алексеевич.

Я узнал о нем через «Вестники», которые стал получать у Николая Евграфовича Пестова из Мечёвского круга еще в середине 70-х годов. Николай Евграфович раздавал «Вестники» для чтения друзьям и от кого-то получал их, несмотря на то что в те годы это было очень опасно. С тех пор, я считаю, мы с Никитой Алексеевичем эти сорок лет как бы существовали уже бок о бок, рядом, в одном пространстве. Я всегда зачитывался «Вестником». Я читал все, от корки до корки, и не мог не читать. Даже объявления мне были интересны, потому что в них отражалась жизнь другая, чем у нас, в Советском Союзе, в Москве. Там были другие имена, там были другие адреса, там просвечивала именно другая жизнь. Конечно, тогда Никита Алексеевич обо мне еще ничего не знал, во всяком случае, до 1978–79 года, до получения им моей так называемой «герасимовской»** статьи «Вхождение в Церковь и исповедование Церкви в церкви».

* Профессор-священник, кандидат богословия, основатель и ректор Свято-Филаретовского православного христианского института в Москве, основатель и духовный попечитель Преображенского содружества малых православных братств. Текст написан 23 августа 2016 г.

** Статья вышла в «Вестнике» № I, II–1979 (128) под псевдонимом *Николай Герасимов*.

Как это получилось? Мне тогда крайне необходимо было написать что-то для реально приходящих в церковь людей и об исповедовании ими Церкви. Статью я писал не для «Вестника», а для живых людей, тех, кто в то время пришел в церковь всерьез. Кроме моего дружеского круга, у меня еще был такой круг, который сложился в последние год-два жизни отца Тавриона (Батозского). В него входил и нынешний владыка Пантелеимон (Шатов), и нынешний отец Дмитрий Смирнов, и еще один священник — отец Валерий (он был первым руководителем их кружка), и их друзья. Все они приняли сан после смерти отца Тавриона, в каком-то смысле по его завещанию. Отец Таврион умер в августе 1978 года, а в 1979 году Аркадий Шатов стал священником и пошел на далекий подмосковный приход, и мы ему там помогали. Он дал мне карт-бланш, и мы начали вести оглашение для взрослых крещаемых. Тогда мне впервые пришлось столкнуться с почти массовым, потоковым (в масштабах тех времен, конечно) оглашением, которое осуществлялось у нас уже не в маленьких группах по пять-десять человек, а в группах значительно больших. Тогда мне и пришлось создать новую систему оглашения. Вот для этих людей я и писал в конце 1978 года свою статью. Помню, отец Виталий Боровой очень положительно к ней отнесся и дал совет описать, в чем заключается коренное единство и различие общины и прихода, что было ценным дополнением.

Сперва о «Вестнике» я не думал, но когда статья была написана, вдруг всем стало ясно, что ее надо как-то напечатать. А где печатать? В Советском Союзе это было невозможно. Можно было только распространять в самиздате. Она в самиздат и попала. Но так как «Вестник» с самиздатом имел самые тесные отношения, то вскоре статья была переправлена туда через одного доброго человека. Он знал каналы и смог передать статью в редакцию «Вестника». Я с ним не говорил — как именно, знаю только одно, что он нигде никак не предал, смог все сделать хорошо, качественно и очень тихо, что было принципиально важно для того времени, в той нашей стране.

К моему удивлению, моя статья была вскоре опубликована в полном объеме. Я удивился и тому, какой псевдоним мне придумал Никита Алексеевич. Я был очень этому рад, потому

что этот псевдоним никак не ассоциировался с нашими кругами и со мной. Статья была большая, и я был удивлен, что она вышла сразу в одном номере, как позже и следующая моя статья («богдановская»^{*}), которая продолжала тематику «герасимовской».

Никита Алексеевич и его друзья, видимо, были большими мастерами-конспираторами, которые хорошо понимали советскую систему. Живя во Франции, никогда не будучи в СССР, Никита Алексеевич все чувствовал, как говорится, кожей и, насколько я знаю, никогда здесь не ошибался.

Познакомились мы лично уже после «перестройки», где-то в 90-м или 91-м году, когда Никита Алексеевич начал привозить в нашу страну книги издательства YMCA-Press и дарить их библиотекам. На одной из таких презентаций в Москве мы и встретились. Это был первый приезд Никиты Алексеевича, но я не мог с ним не познакомиться, не мог не сказать ему слов благодарности, потому что прекрасно понимал, что значит вся его деятельность, вся такая работа. «Вестник» был фактически единственным крупным православным изданием русского зарубежья. Но «Вестник», конечно, не мог иметь широкого хождения, он влиял только на элитарные круги церковной интеллигенции, которые были, конечно, очень и очень узки, и поэтому, к сожалению, большого влияния на Русскую православную церковь этот журнал не оказал. Хотя все у нас уже были под впечатлением и от о. Александра Шмемана, и от о. Иоанна Майендорфа, от всех тех книг, которые издавало, прежде всего, издательство YMCA-Press. Все старались достать их.

Потом я узнал книги самого Никиты Алексеевича. Был замечательный сборник передовиц «Вестника» «Православие и культура». Это прекрасная книга. По ней видно, что Никита Алексеевич — мастер малых форм, коротких текстов, быстрых, острых оценок, творческих, напряженных, замечательных экспромтов. В этом был тот творческий дух лучших представителей русского религиозно-философского возрождения, который хотя уже и не мог создавать фундаментальные произведения, но мог все еще жить. Я лично считаю, что сам «Вестник» — это тоже фундаментальная форма. Если его

^{*} Богданов С. Т. Священство православных и баптистов. Вестник РХД. 1983. № 3–4 (140). С. 29–60.

собрать в полном объеме, то это будет целая энциклопедия. Чего только в нем не успели издать! Все успели сделать, всего успели коснуться. Конечно, в «Вестнике» есть вещи и спорные, конечно, есть и авторы разные (это было принципиальной позицией редакции — давать разные точки зрения), — и за что слава Богу, и это прекрасно, и мы можем только благодарить за это Господа Бога и Никиту Алексеевича.

Вначале Никита Алексеевич был для меня фигурой виртуальной и легендарной. Потом мы уже начали с ним, не боюсь этого слова, дружить. У нас были дружеские отношения в любом случае, а я думаю, что даже более чем дружеские. Мы не случайно оказались вместе, мы много-много лет были сотрудниками в том деле, которое делал и он, и мы, — все наше Преображенское братство и весь наш Свято-Филаретовский институт, — в деле возрождения нашей церкви, нашей страны и нашей культуры.

Говоря о Никите Алексеевиче Струве, нельзя не сказать отдельно о культуре. Здесь, конечно, огромную роль сыграл академик Сергей Сергеевич Аверинцев. Ему Никита Алексеевич доверял полностью. И когда Сергей Сергеевич уже с 90-го года стал поддерживать наш Институт, и наше Братство, и наш журнал «Православная община», даже реально вошел в его редакцию, а позже стал членом Попечительского совета Свято-Филаретовского института, — это неизбежно сказалось и на наших с Никитой Алексеевичем отношениях. Конечно, Никита Алексеевич всегда был рядом с Солженицыным и Аверинцевым. Об этом сейчас, к сожалению, мало говорят. О его близкой дружбе с о. Александром Шмеманом и с Александром Исаевичем всем известно, а вот о его отношениях с Сергеем Сергеевичем, к сожалению, известно мало. Это очень жаль, ведь это были как бы равновеликие, конгениальные фигуры, и ясно, что такой чуткий и мудрый человек, как Никита Алексеевич, не мог пройти мимо них. Конечно же, эту связь нам нельзя здесь забыть. Она явно имела свое провиденциальное значение.

Потом и многие другие люди, которые были близко и хорошо знакомы Никите Алексеевичу, тоже оказались в орбите наших близких отношений. Взять ли отца Зинона (Теодора), позже — Ольгу Седакову, значительно позже — Владимира Бибикина. Все такие люди оказались связаны между собой

неизбежно, отчасти «Вестником», хоть и не только им. Но без «Вестника» это было бы почти невозможно. А он всех нас связывал с Никитой Алексеевичем.

С ним мы обычно встречались один раз в год на наших конференциях в Москве и еще нередко где-нибудь в Европе, например, во Франции на съездах Западноевропейского православного братства. Когда в 1991 году я защищал в Париже свою магистерскую (кандидатскую) диссертацию, мы, конечно, тоже не упустили шанс встретиться в его гостеприимном доме под Парижем.

Кроме конференций, Никита Алексеевич, так же как и архиепископ Михаил (Мудьюгин) и Сергей Сергеевич Аверинцев, со временем стал регулярно участвовать в наших братских соборах. Он даже как-то сказал на одном из них, что в Преображенском братстве тот же дух, что и в РСХД. Я не помню точно, когда это было сказано, но скорее всего, где-то в середине или второй половине 90-х годов. Он действительно искал в России отклик, искал, не сохранилось ли в ней чего-то качественного, чего-то живого, чего-то перспективного. Ему это было интересно, ибо он всегда был человеком живой жизни, а не абстрактных схем и теорий. Думаю, что поэтому он и хотел познакомиться и войти в среду нашего Преображенского Братства, ставшего в это время уже Содружеством малых православных братств.

Особенно важным для нас было его постоянное активное участие именно на наших братских Преображенских соборах, как и на тех конференциях, которые мы каждый год проводили в Свято-Филаретовском институте. Он сколько мог, практически до конца, ездил на эти конференции, даже после смерти С.С. Аверинцева. А где-то во второй половине 90-х годов он вошел в число членов Попечительского совета нашего Института.

Конечно, Никита Алексеевич — это всегда Никита Алексеевич, и поэтому он, с одной стороны, очень поддерживал нас, вплоть до размолвки с патриархом Алексием II, а с другой — часто излагал нам какие-то свои идеи, если стоял на каких-то особых идейных и духовных позициях, отличных от братских. Например, для него всегда очень важен был культурный процесс в церкви и обществе. Он очень ценил наследие Г.П. Федотова и отца Сергия Булгакова, а у нас они

хотя и были, безусловно, очень почитаемыми и читаемыми, все-таки не стояли на первом месте. Для меня, например, на первом месте стоял Николай Александрович Бердяев. А как известно, есть некоторое напряжение между Бердяевым и Булгаковым или Федотовым. Оно, может быть, небольшое, с нашей точки зрения непринципиальное. Но однажды мы с Никитой Алексеевичем на эту тему даже поспорили. Это было на съезде Западноевропейского православного братства где-то в Бельгии, на берегу моря. Нам пришлось очень даже долго спорить. Я, естественно, с восторгом, с внутренним согласием и сочувствием, не просто механически и догматически, повторил формулу Н.А. Бердяева, что культура есть «срединное царство», а Никита Алексеевич, опираясь на Федотова, возразил. Он говорил, что она не есть срединное царство, а вещь спасительная, то, что спасет. Тогда я сказал, что Федотов не Бердяев, на что он не преминул ответить, что и Бердяев не Федотов. Эти споры были неизбежны, потому что хотя Никита Алексеевич прекрасно знал все направления русской мысли, у него были какие-то свои пристрастия, какие-то свои любимые духовные пути и ходы. И тут мы не всегда совпадали. Мы не всегда совпадали даже в оценке А.И. Солженицына. Я, допустим, не очень поддерживал его идею о том, что А.И. Солженицын — пророк. Я его считаю великим русским человеком и великим писателем, может быть, гениальным писателем, но все-таки не пророком. А Никита Алексеевич всерьез считал его пророком, причем это было для него принципиально, так же как для него принципиальной была ведущая роль во всем наследии русской эмиграции о. Сергия Булгакова, а в каком-то смысле, наверное, и Федотова. Мы говорили о Федотове очень коротко, да я и не настолько хорошо знаю Федотова. Мне какие-то его вещи очень нравятся, но я его не выделяю из всей замечательной плеяды великих деятелей русского религиозно-философского возрождения в период первой волны эмиграции.

Никита Алексеевич, оставаясь самим собой, конечно, не мог не критиковать и наше Братство или наш Институт. Ну, хотя бы просто потому, что по своему характеру он должен был критиковать обязательно все и всех. В этом проявлялся его острый ум, самостоятельность и бесстрашие в любом спорном вопросе. Это не было голым критиканством, что

очень важно. Это было именно критическим отношением к жизни во всех ее проявлениях, во всех принципиальных вопросах. И мы были этому рады, потому что он все-таки критиковал как друг, а не как враг. Врагов у нас много и было, и есть, а друзей такого уровня очень мало.

Его критика обычно была небезосновательной, и это было нормально. Во-первых, потому что Братство у нас, как и Институт, довольно большие, и разные люди все делали по-разному. Когда они, скажем, договаривались с Никитой Алексеевичем о каком-то выступлении и при этом иногда давали ему слишком жесткие условия, это ему крайне не нравилось. Он привык к полной внутренней свободе, а ему говорили: «Вы скажете доклад на такую-то тему», может быть, не очень-то с ним советуясь. Зная Никиту Алексеевича и вообще понимая, с кем мы имеем дело, этого делать было нельзя. А были люди, которые поступали просто как чиновники. Он, конечно, всегда остро реагировал на это, говоря: «Вот меня заставили говорить на такую-то тему», но, правда, потом читал свой доклад с удовольствием. Никита Алексеевич здесь в своей реакции, видимо, немного перегибал. Но при этом ничего для нас принципиального он не критиковал, никаких богословских или экклезиологических моментов нашей веры и жизни.

Парижанам вообще не всегда бывало понятно наше Братство. Парижане очень ценят свою свободу, но свободу иногда понимают слишком индивидуально. И поэтому им очень трудно бывает себе представить, что Братство *может* существовать в свободе духа и принципов жизни, оставаясь именно братством, оставаясь близким дружественным кругом. Не случайно даже в русской эмиграции, как мы теперь хорошо знаем, когда-то остро обсуждался вопрос о том, что должно быть положено в основание РСХД — кружки или братства. Тогда выбрали не братства, а кружки, и это совершенно не случайно. Я тогда этого не знал, не знал, что у парижан уже было внутреннее отталкивание от братства как такового, и от самого слова, и от самой этой формы устройства и организации жизни в церкви.

Увы, для такой реакции на братство были свои причины: и политиканство церкви, и желание со стороны церковной иерархии воспринимать эту церковную форму исключитель-

но как подчиненную себе. Все как сейчас, только в более мягких формах. Я очень многое понял, когда узнал историю споров о братствах в РСХД. Я помню, в них еще очень активно участвовал брат отца Дмитрия Клепинина, а также В.В. Зеньковский, сам вступивший в Троицкое братство*. И даже потом, после войны, движенцы боялись братств. Поэтому страхи, наработанные десятилетиями, унаследованные ими от отцов, перенесли, конечно, и в наше время. Тем более, что они не могли сходу доверять ничему «советскому» в принципе. И у Никиты Алексеевича, полагаю, тут было какое-то внутреннее отталкивание, и он не мог вполне адекватно представить себе, как живет наше Братство.

Конечно, Никита Алексеевич лично засвидетельствовал и православный дух нашего Братства, и его перспективу. Он признавал, что наш Свято-Филаретовский институт по духу — наследник Богословского института св. Сергия в Париже, как и наше Преображенское братство — наследник РСХД. И для нас это было очень почетно. Хотя мы понимаем, что такие высказывания не надо переоценивать, тем не менее, это для нас не просто лестно, это для нас большая задача, требующая соответствия уровню духовного подвига, который совершили и Богословский институт св. Сергия в Париже, и РСХД в среде русской эмиграции, как и вообще во всей русской культуре и во всей русской истории.

Как известно, русская история и русская культура были насильственно прерваны и разорены в 1917 году, сто лет назад. И то, что удалось до сих пор сохранить, в огромной степени связано с историей первой русской эмиграции, к которой неотъемлемо принадлежал и Никита Алексеевич. Мы знаем, что нельзя восстановить нормальную жизнь в нашей стране, в нашем народе и нашей церкви, если эмигрантская традиция не будет нами воспринята. Но для этого нужны большие труды, ибо разрушено всё и разрушены все. Нет здорового места на нашей земле, в нашей культуре и в наших людях. Новыми поколениями людей эта традиция может быть воспринята прямо или косвенно. Прямо — например, через чтение

* В.В. Зеньковский писал в 1927 г.: «Может быть, я утопист, но моя новая «утопия» покоится на создании небольших братств и на их объединении в некую общину» (Вестник РХД. 1984. № 3 (142). С. 285).

«Вестника». Его надо больше читать! За все годы (благо, он теперь выложен в Интернете)! Это выдающийся журнал по духу, по смыслу и по своему культурному уровню, а также по своей поразительной русскости и в то же время по своему мировому и общеевропейскому уровню. Конечно, не сразу он стал таким, но все на земле развивается. Как же его можно воспринять? Восприняв все наше великое наследие, т.е. то, ради чего жил и трудился Никита Струве.

Священник Иоанн Привалов*

С большим трудом я сел за стол, чтобы написать несколько слов о Никите Алексеевиче... Мне очень трудно говорить и писать о нем по двум причинам. Первая причина заключается в том, что Никита Алексеевич — самый живой и самый таинственный человек в моей жизни. Самый скромный и самый неуловимый. Один острослов из Архангельска так и сказал о нем: «В профессоре Струве есть что-то студенческое, подвижное, стремительное, ангельское. Наиболее полно суть этого человека выразило бы название журнала, им редактируемого, — “Вестник Русского Студенческого Христианского Движения”».

Есть люди настолько цельные и монолитные, что почти каждая их фотография дает впечатление об их жизни, судьбе, личности. Никита Алексеевич — полная противоположность. Из множества фотографий, которые мне довелось увидеть за последние 25 лет, я безжалостно отмечаю все и оставляю только две. Одна из них 1990 года. На ней удачно передается вечная молодость профессора Струве. Другая фотография 1998 года приоткрывает его миссию — быть вестником иного мира. По-моему, сфотографировать Никиту Алексеевича было так же легко, как, например, сфотографировать ангела. Игра жизни, радости, веселья, смысла переливалась в каждом его слове, жесте, поступке, никогда не повторяясь. Помню, как в пятидневной поездке по Архангельскому северу его непрерывно атаковали двумя вопросами: что он думает о ситуации в стране и кто он такой, откуда к нам приехал и кого представляет? На мое удивление, Никита Алексеевич отвечал на одни и те же вопросы легко, весело, содержательно, открывая новые смыслы и факты, очаровывая слушателей богатством русского языка.

Можно было бы сказать, что в Никите Алексеевиче живет большая и красивая тайна, но приходится добавить, что эта тайна непрерывно движется, играет, исчезает и снова являет себя. Правда, мощностъ этой тайны мне приоткрылась

* Священник Архангельской епархии, с 1993 по 2013 г. настоятель Свято-Сретенского храма в селе Заостровье Архангельской области, член Преображенского братства с 1993 г.

лишь однажды. Это случилось 28 сентября 1998 года. Что тогда случилось? Говоря языком митрополита Сурожского Антония, произошла Встреча в Господе. Я не имею в виду знакомство с профессором Струве, так как о самом Никите Алексеевиче я знал с 1989 года, читал и перечитывал его книгу «Православие и культура». С легкой дрожью смотрел его первые выступления по советскому телевидению в сентябре 1990 года. Если учесть, что в моем повороте от марксизма к христианству большую роль сыграли сборник «Вехи», книги Солженицына и Бердяева, то приблизительный масштаб Никиты Алексеевича — его родословная, жизненный путь и труды были мне понятны заранее.

В Архангельск Никита Алексеевич прилетел 25 сентября 1998 года, поселился в нашей семье. Два дня мы прожили в постоянном общении — вместе были на службах, встречах с братством, общались и лично. В воздухе была атмосфера праздника, радости, счастья, но все это и близко не стоит с тем, что случилось со мной 28 сентября 1998 года. Так что же случилось тогда?

Я долго искал слова, но так и не нашел. Иногда я говорю самому себе: это был ядерный взрыв Любви. Разумеется, Христовой любви, Вечной любви.

В тот день заканчивалась неофициальная часть поездки и начиналась официальная. Стали появляться журналисты, представители областной администрации, пошли телефонные звонки. Чтобы дать интервью Архангельскому телевидению, мы поднялись на колокольню Заостровского храма. Был редкий солнечный день — золотая осень, высокое небо, хрустальный воздух. Нас было четверо — Никита Алексеевич, корреспондент, оператор и я. В 16-минутном интервью наш гость полностью преобразился. Перед нами был не профессор Парижского университета, а Посланник русской эмиграции. Он приехал не рассказывать о жизни русского зарубежья, он привез русское зарубежье в себе. В тот момент устами Никиты Алексеевича говорила многомиллионная Россия, которой мы не знали. Я слышал голоса Петра Струве и Николая Бердяева, отца Сергея Булгакова и матери Марии, Ивана Бунина и Алексея Ремизова, генерала Миллера, офицеров и воинов Белой армии. В изящной речи Никиты Алексеевича было место взрывчатой энергии Александра Солженицына и

величавой поступи Анны Ахматовой. Приоткрывалась потаенная жизнь Солженицынских невидимок, подвижнической деятельности «УМСА-Press», свободолюбивых съездов РСХД. В воздухе появилось присутствие отца Александра Шмемана и митрополита Евлогия. Мне вспомнились строчки Александра Солженицына из «Архипелага ГУЛАг»: «Отток значительной части духовных сил, происшедший в гражданскую войну, увел от нас большую важную ветвь русской культуры. И каждый, кто истинно любит ее, будет стремиться к воссоединению обеих ветвей — митрополии и зарубежья. Лишь тогда она достигнет полноты, лишь тогда обнаружит способность к неущербному развитию. Я мечтаю дожить до того дня».

В тот момент у меня было ясное ощущение огромного события: русское зарубежье приносит целительную силу измученной России. В частности, Архангельску. Это совершается здесь, на моих глазах, через визит профессора Струве.

Что поражало больше всего? При легкой, изящной подаче материала — необыкновенная плотность содержания. За 16 минут я пережил ядерный взрыв Любви. Все наследие русской эмиграции в преображенном виде стояло перед нами и говорило с нами простым языком. В голосе Никиты Алексеевича был хор миллионов, но многие голоса легко узнавались. Поражала интенсивность проживаемых минут и ощущение присутствия тех, от имени кого говорил наш гость. Не мертвецы, не тени из прошлого, а вечные друзья, наставники, собеседники, молитвенники пришли к нам и предложили свое участие в нашей горемычной судьбе.

Ощущение иного мира, иного царства снова вспыхнуло в тот же день на открытии выставки книг «УМСА-Press» в Областной библиотеке, а потом и на следующий день, 29 сентября, на вечерней лекции «Литературная жизнь русского зарубежья».

Как сейчас помню холодный зал Областной библиотеки, слушатели кутаются в теплые одежды. В огромные окна светит заходящее солнце. Никита Алексеевич говорит чарующим русским языком. Внутри меня раздвоение — ощущение сказки, которая вот-вот закончится, ведь завтра в семь утра самолет увезет нашего гостя навсегда. Мне не хочется завершения сказки, но время неумолимо. Мне не хочется окончания лекции, но понимаю, что Никита Алексеевич уже исчер-

пал свой час. В ужасе смотрю на часы и ничего не понимаю. Оказывается, прошло только двадцать минут. Радуюсь, отдаюсь лекции, через некоторое время снова тревога («теперь точно конец!»), смотрю на часы. Недоумеваю. От начала лекции прошло только 35 минут. Нырять в лекцию и растворяться в ней до конца. После лекции Виктор Александрович Москвин говорит: «Никита Алексеевич, Вы были в ударе!» — Струве отвечает: «Хорошая аудитория, и волны взаимопонимания ходили туда и обратно!» Меня же поражает необычное течение времени. Времени вечного, необыкновенного.

После отъезда профессора Струве я был ошеломлен, ошарашен, озадачен, потрясен. Чем больше проходило времени, тем яснее становился масштаб пережитого события. Через 18 лет можно сказать, что не Парижский профессор посетил наш приход в те дни и даже не русская эмиграция в его лице, а Сам Господь вошел в наши сердца. Ведь мысли, темы, идеи русского зарубежья пропитали и сформировали наше братство задолго до визита Никиты Алексеевича. Никита Алексеевич внес огонь Христова присутствия. В этом свете вспыхнуло, загорелось, засияло одно-единственное желание сердца — пойти за Христом до конца. После этой Встречи не хотелось никакой иной жизни, кроме жизни со Христом и во Христе, во всей ее полноте...

Чтобы рассказать о Никите Алексеевиче, о его влиянии на мою жизнь, нужно быть большим художником. Иначе не стоит и браться. Я не художник, но у меня есть надежда. Художником может стать Бог. Никита Алексеевич раскрылся для меня как посланник, апостол Христов. Мне бы хотелось, чтобы Бог довел до совершенства мою жизнь, к которой однажды прикоснулся этот удивительный человек — вестник Русского студенческого христианского движения.

Беседа о Н.А. Струве в рамках радиопередачи «Град Петров»

(15 июня 2016, Санкт-Петербург)

Ведущая передачи **Марина Михайлова**.

Марина Михайлова: В нашей передаче, посвященной памяти Н.А. Струве, принимают участие: **Дмитрий Сергеевич Гасак**, первый проректор Свято-Филаретовского православно-христианского института и председатель Преображенского братства; **Татьяна Владимировна Викторова**, преподаватель Страсбургского университета, филолог, секретарь редакции «Вестника РХД»; и **Юлия Валентиновна Балакшина**, преподаватель РГПУ им. Герцена и председатель Свято-Петровского малого православного братства.

Д.Г.: Мне хотелось бы начать с прощания с Никитой Алексеевичем в соборе на rue Dagu, где собрались многие представители русской эмиграции и приезжие из России. Удивительно, как он смог собрать самых разных людей, светских и духовных: люди забыли о разногласиях, потому что не воздать честь такому человеку, лауреату Государственной премии России, за то дело, которое он совершал все советское время, было бы нельзя. И была замечательная молитва. [...]

Т.В.: Это было очень ощутимо и во время похорон на кладбище Святой Женеьевы, в его древней части, где покоятся о. Сергей Булгаков, о. Василий Зеньковский... В свое время Никита Алексеевич нас водил по этому кладбищу и рассказывал историю каждого погребенного. И вот он оказался среди них, поскольку духовно, культурно он, конечно, наследник и представитель этой эмиграции. Это были необыкновенные похороны. Очень спокойные, светлые, без надрыва, с ясным сознанием, что больше, чем потеря — это переход. И, казалось, он был легким, это как-то почувствовали все окружающие. Во-первых, из-за погоды. Париж заливался ныне дождями. В этот день дождь приостановился, небо расступилось, солнце было мягким, и все, казалось, сопровождало Никиту Алексеевича в этом переходе. Главным образом — удивительные люди, собравшиеся вокруг. Например, такая деталь: на похороны приехали монахини из монастыря

в Бюсси, где Никиту Алексеевича очень любили. Приехали три из них — англичанка, японка и французенка. И они второе в тот момент, когда каждый уже попрощался с усопшим и гроб был опущен в могилу, которая еще оставалась открытой, устроились у ее края и пели поочередно на трех языках. Проникновенно, негромко — и радостно. Казалось, что это три Марии у гроба Господня, и что ангел где-то совсем рядом. С теми самыми словами: отчего же вы плачете о живущем? В этом весь Никита Алексеевич, он, конечно же, с нами.

Это было очень ощутимо и во время нашей последней с ним встречи. Я была у него в больнице третьего мая, за 4 дня до кончины, и это была именно радостная встреча. Во-первых, потому что он очень обрадовался, когда меня увидел. Он заприметил меня уже из коридора и подавал мне очень оживленные знаки: «я здесь, я здесь», — потому что я искала и немножко заблудилась. (Эта реанимация была вовсе не похожа на реанимацию в нашем представлении. Она была очень оживленная: врачи, пациенты, посетители — все как-то немножко перемешано.) И вот он мне подавал знаки издали, чтобы я поскорее до него дошла. И когда я наконец дошла, он пытался подняться с кровати, несмотря на то что ему это было уже трудно и, наверно, даже запрещено врачами, поскольку он был прикован к кровати капельницами. И он был особенно счастлив от того, что я пришла с распечаткой содержания 205-го номера «Вестника РХД», который мы готовили в тот момент. И вся наша встреча прошла вокруг «Вестника». Мы обсуждали его передовицу, материалы к 206-му, и он был полон столь свойственной ему энергии. Говорили о будущем центре им. Солженицына в издательском доме YMCA-Press, намечали следующую встречу у него дома в Вильбон... Было ясно, что для него это время в больнице было просто одним из переходов — ну, еще одна операция на сердце, такое уже бывало! Он относился к этому легко.

Ю.Б.: По-христиански мы понимаем, что когда человек уходит от нас, он уходит в Божью память, и мы можем пребывать в общении с ним. Но вот по-человечески известие о кончине Никиты Алексеевича было для меня очень горьким. Я не была на похоронах, и моя память о нем связана с его приездами в Петербург. Наше братство устраивало вечер с его участием в музее Ахматовой и круглый стол в РГПУ им. Герцена, который назывался «В России не удалась история, но удалась культура».

Я очень хорошо помню, как я ждала встречи с этим человеком, конечно же, прочитав все про его прадедушку, про его дедушку, про его папу, про него самого, представив то количество выдающихся русских людей, с которыми он был лично знаком и живую память о которых он хранит. И мне казалось, что относиться к нему можно будет как к музейному экспонату, исключительно с таким благоговейным трепетом. А появился очень живой, ироничный, открытый, демократичный человек. [...]

Порой смешные эпизоды остаются в памяти. Я помню, что мы собирались всем нашим братством на трапезу. Никита Алексеевич купил по этому случаю большие арбузы и нес их к столу. Все пытались у него эти арбузы перехватить. Он же категорически отстранял всякую помощь и говорил: «Нет! это дело моей чести». У меня тогда было ощущение, что, с одной стороны, мы встретились с живой традицией русской истории, русской культуры, персонифицированной в этом человеке. С другой стороны, это антропологический тип, которого мы не знаем. Это то, каким мог бы быть русский человек, если бы в России удалась история. Ольга Александровна Седакова как-то говорила, что на ее глазах уходило поколение бабушек, которые родились до революции и которые были совсем другими. Я уже этих бабушек почти не застала. Через Никиту Алексеевича для меня состоялась встреча с той, неведомой мне Россией. Через нашу память она может быть продлена и передана кому-то еще.

Д.Г.: При этом он занимался работой очень серьезной и чрезвычайно ответственной. В частности, Наталия Дмитриевна Солженицына на отпевании вспомнила тот момент, когда готовилось первое издание «Архипелага ГУЛаг»*, когда Никита Алексеевич и Мария Александровна читали гранки. Наталия Дмитриевна сказала, что благодаря тому, что «Архипелаг» был подготовлен тайно и был издан, репрессии советской власти ограничились только тем, что Солженицына выслали из России. Из ее слов было ясно, что в тот момент жизни Солженицына угрожала прямая опасность и благодаря усилиям Никиты Алексеевича он остался жив. Не случайно, когда вышел «Архипелаг», Струве был объявлен врагом советской власти № 1.

* См.: «Слово после отпевания Никиты Алексеевича Струве» Н.Д. Солженицыной, открывающее рубрику материалов памяти Н.А. Струве.

Ю.Б.: Благодаря Никите Алексеевиче мне открывается чувство истории и понимание того, что нужно делать в истории. Мы все привыкли жить в малом масштабе, в беспокойности сиюминутным. А он умел жить в большом времени. Его деятельность позволяет понять, что именно сейчас нужно сохранять русскую культуру, публиковать те труды, которые рискуют потонуть в российском беспамятстве. Он ввозил сюда то богатство, которое он собрал, понимая, что нужно как-то рассеять этот мрак советской непросвещенности. Неоценимо это усилие духовного экзорцизма, это внесение силы света в страну, которую он по-настоящему и глубоко любил.

М.М.: Столь же значителен вклад трудов Никиты Алексеевича на Западе. Благодаря его книге «Преследования христиан в СССР», публикациям в «Вестнике» там узнали о реальном положении в России. Он умел создать живое пространство диалога, единства, взаимного интереса и признания.

Т.В.: Да, это подлинный дар посредника между странами и культурами. Это двусторонняя деятельность, подобная сообщающимся сосудам. Свидетельствуя о страданиях в России на Западе, он возвращался в Россию и реально участвовал в процессах российской истории, связанных с перестроечными временами. Для него это было органично связано. И можно было бы устроить параллельную нашей передачу, объединив французских славистов и западных издателей, которые подчеркнули бы, насколько значителен его вклад в европейскую культуру. Так, его книга о Мандельштаме прежде вышла в Париже, затем в Лондоне, а впоследствии была переписана для русского читателя и недавно выдержала третье переиздание в издательстве «Русский путь» в Москве. В имковских архивах хранятся интересные письма благодарных читателей из России, которые открыли для себя Мандельштама благодаря книге Никиты Алексеевича.

Д.Г.: Отрадно, что этот универсализм не остался незамеченным в том числе и российскими властями. Президент Ельцин не случайно подписал указ о награждении Никиты Алексеевича Государственной премией Российской Федерации за его вклад в русскую культуру, за сохранение культурного и духовного наследия России. Когда Никита Алексеевич получал ее, он сказал, что это премия для всей русской эмиграции. [...]

Т.В.: Мне хотелось бы также подчеркнуть его особый дар слова. Каждое его слово было взвешено, прочувствовано, и в нем не было желания блеснуть красноречием. Он говорил о том, что знал наверняка, что мог доказать, что вдохновляло его. Он прекрасно выступал на многочисленных коллоквиумах, съездах, наших культурных вечерах в УМСА. Слушать, как он говорит об о. Сергии Булгакове, о Мандельштаме, об Ахматовой, каждый раз было изумительным опытом именно потому, что это был опыт прожитого слова. С Анной Андреевной он встречался, записал свои встречи с ней и ее чтение стихов; над рукописями Мандельштама провел годы... У него был дар горящего слова, которое мгновенно передавалось аудитории.

Д.Г.: Все соединялось его верой. Слово «свобода» в Церкви означало для него то, что оно значит в Евангелии: «Где Дух Господень, там свобода». И он хорошо понимал, как он сказал одному высокопоставленному деятелю Московской патриархии, что, помимо канонов, в церкви есть правда и совесть. И для него это не было лишь политическим или политкорректным замечанием. Это означало: правда и совесть.

Ю.Б.: Несмотря на весьма хрупкий внешний склад, Никита Алексеевич был настоящим рыцарем. Он действовал не только словом, но всегда мог подтвердить свое слово делом. Это проявилось не только в истории с Солженицыным. В истории нашего братства тоже был момент, когда Никита Алексеевич напрямую заступился за гонимого тогда о. Георгия перед патриархом Алексием II и сказал, что просит прекратить эти гонения и готов встать перед ним на колени.

Д.Г.: Он тонко разбирался в положении в России и, в частности, в церковной ситуации. Из Европы она видится всегда немножко искаженно. Никита Алексеевич был исключением, поскольку много ездил по России с книгами, встречался и с архиереями, и священниками, и с мирянами. В этом отношении он хорошо осознавал, что он делает, в частности, во время эпизода, описанного Юлией Валентиновной.

Т.В.: Правда, что часто после нашего общения мне хотелось перечитать Дон-Кихота. И иногда казалось, что действительно он борется с ветряными мельницами. Но это было и осознание того, что ветряные мельницы видятся нам, он же различает за ними реальных великанов.

М.М.: Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы можем закончить нашу передачу. Но я бы хотела еще задать вопрос Татьяне Владимировне: что сейчас происходит и что будет происходить с «Вестником»? Потому что присутствие Никиты Струве среди нас, конечно, может быть осуществлено через продолжение его трудов.

Т.В.: Вы сказали главное: будущее «Вестника» мы видим в его продолжении. Потеря Никиты Алексеевича невосполнима. Но в каком-то смысле он подготовил будущее «Вестника», потому что создана динамичная редакция, в которую входят такие представители, как давний автор «Вестника» о. Владимир Зелинский из Италии, ценный сотрудник Виктор Александров из Венгрии, верный друг «Вестника» и Никиты Алексеевича Ольга Раевская-Хьюз из Америки... За последние месяцы в работу горячо включилась Наталья Ликвинцева, которая двигает горами из Москвы. Ядром в Париже остается деятельность Даниила Струве, сына Никиты Алексеевича, который, следуя его линии, параллельно ведет два «Вестника», французский и русский. Тем самым мы надеемся, что «Вестник» сможет не только существовать, но и обрести новое дыхание, в частности, благодаря новым авторам и разработке интернет-версии журнала. Мы проводим, по мере сил, презентации «Вестника», недавно такие встречи были организованы членами редколлегии в Праге, Амстердаме, Москве, следующая планируется в Киеве, при поддержке отца Алексея Струве и члена редколлегии Константина Сигова. Мы намерены во всем придерживаться выработанной десятилетиями структуре «Вестника» как журнала многостороннего, свидетельствующего о богословской, философской, общественной мысли в современной России и в эмиграции; как места встречи французских и русских поэтов и освещения событий культурной и духовной жизни в России и на Западе. Таковым был «Вестник» с первых номеров, таким его воспринял Никита Алексеевич от отца Василия Зеньковского. Конечно, наша задача и быть современным журналом, не превратиться лишь в сборник архивных материалов. Но здесь опять же пример Никиты Алексеевича дает реальные жизненные ориентиры. Двигаться в указанном им направлении — это то главное, что мы можем сделать для него, поскольку для Никиты Алексеевича «Вестник» был основным делом его жизни, его самым любимым ребенком.



ОЛИВЬЕ КЛЕМАН

Смерть и смысл*

Чем люди живы?

В судьбе Солженицына пережитый им тройной опыт войны, тюрьмы и болезни (рак) всерьез ставит под сомнение мировосприятие, широко распространенное в «развитых странах» — духовно же, быть может, и недоразвитых, — которое писатель определил двумя емкими фразами: «Живем ведь только раз, никогда не умрем». В «Свече на ветру» действие происходит на Западе, причем этот «Запад» показан как цивилизация планетарного масштаба. Тилия — третья жена известного профессора-музыковеда, пожилого, но самодовольного, богатого, и в плане денег, и в плане связей, — эта юная особа на пике жизненного всплеска, в перерыве между эротической интрижкой и лихорадочным редактированием статьи для «культурной» хроники одной газеты, восклицает: «Я люблю — жизнь...! Я люблю жизнь во всех ее проявлениях! В конце концов мы живем на

* Мы приводим здесь перевод главы из книги известного французского богослова Оливье Клемана (1921–2009) «L'esprit de Soljenitsyne» (Мировоззрение Солженицына) (1974), до сих пор не переводившейся на русский язык и незнакомой русскому читателю. По-русски выходил только доклад Оливье Клемана 1973 года, видимо, и легший в основу этой книги: Оливье Клеман. Солженицын, или Возрождение совести (пер. Н.В. Ликвинцевой) // Солженицын: мыслитель, историк, художник. Западная критика 1974–2008. Сборник статей. М.: Русский путь, 2010. С. 146–168.

Мы выбрали для первой публикации (надеясь и в дальнейшем продолжить работу над переводом этой книги) главу о смерти и ее смысле, как наше приношение памяти Никиты Алексеевича Струве, чей уход все еще переживается как невосполнимая потеря; и в память о дружбе Никиты Алексеевича с Александром Исаевичем Солженицыным.

свете один раз! Ничего нельзя упустить!»¹. Тот же решающий вопрос встает и перед пациентами и персоналом «Ракового корпуса», повторяя вопрос, вынесенный в заголовок одного из рассказов Толстого, того, что ходит по рукам у обитателей больницы: «*Чем люди живы?*» Единственный человек, который мог бы ответить на этот вопрос перед лицом смерти, заглядывая за ее грань, это мудрый старый узбек, но он, что показательно, не говорит по-русски: он уже по ту сторону вопроса, на том «востоке», до которого не дотянуться ни западной индивидуальной тоске, ни полноте христианского откровения личности. Остальные отвечают приземленно и даже не думают при этом о смерти. Чем люди живы? Это они понимают. «Зарплатой, чем?» — говорит один. «Довольствием. Продуктовым и вещевым», — бросает другой, выздоравливающий. Демка, тянувшийся к знаниям мальчик, сформированный советской школой, ее морализмом и сциентизмом (распространившимися во французских школах к 1900-му), серьезно объясняет, что люди живы «раньше всего — воздухом. Потом — водой. Потом — едой»². А вот человек без стыда и без совести — Ефрем Поддугев: долго движущей силой его жизни была неосознаваемая власть витальности, но вдруг, из-за рака горла, он стал внимателен, — ведь именно он задает остальным этот вопрос. Сначала он готов ответить на него примерно так же, как и Демка, разве что воду лучше заменить водкой. Для него прежде в жизни не было неясностей: «От человека требуется или хорошая специальность, или хорошая хватка в жизни. От того и другого идут деньги»³. Человек — это то, чем он занимается, что он зарабатывает. Или, по крайней мере, все так, пока человек не заболит раком или какой-нибудь другой смертельной болезнью, пока он не узнает, что умрет. И вот тогда, если перестать лгать себе, как большинство, то можно узнать, что «что-то» мы упустили. Можно задаться вопросом.

В качестве ответа на него самые поднаторевшие в размышлениях пациенты ракового корпуса предъявляют величайшие ценности советской морали (от которой недалеко ушла и любая светская мораль): это «квалификация» (т.е. труд) и Родина. А Русанов, влиятельный член «нового правящего класса», обгрызая куриную ножку, которая в СССР в 1950-е была пищей привилегированной элиты, утверждает: «Люди живут: идейностью и общественным благом»⁴.

Но труд, родина, общественное благо, это все тоже «коллектив», скажет чуть позже герой романа Костоглолов, человек грубый, много повидавший в жизни, знававший войну, лагерь, ссылку и теперь с открытыми глазами тягающийся с раком. Труд, родина, идеология, это все аспекты коллективного существования по эту сторону смерти. «А то ведь, что мы всю жизнь твердим человеку? — ты член коллектива! ты член коллектива! Но это — пока он жив! А когда придет час умирать — мы отпустим его из коллектива. Член-то он член, а умирать ему одному»⁵. Смерть снимает с человека, как оболочку, все то, что ее не превосходит, он голым попадет в руки тех, кто омоет его мертвое тело. Иов знал, что это правда.

Кроме того, как долго в самом деле живет идеология? И если лиризм революции уже угас, война уже выиграна, то многим ли покажется смешным восклицание юной Аси на заданный ей Демкой проклятый вопрос: «Для чего... человек живет? <...> Как для чего? Для любви, конечно! <...> А что в жизни еще есть, кроме любви?»⁶ — т.е. кроме пылких наслаждений юного тела. Точно так же думает и студентка-медсестра Зоя, и ее подружки, они все считают, что «от жизни надо спешить *брат*, и как можно раньше, и как можно полней»⁷, и не видят никаких проблем в любовных играх. После огромной мясорубки войны и террора это скромная правда тела, забвение себя в могущественной жизни рода, «маленькая вечность наслаждения», по словам Кьеркегора, и медленная механизация, медленное ожесточение, и жуткая загадка встречи со старением и смертью, с обезьяньими попытками молодиться, когда человек, пятась, соскальзывает в небытие, человек, вобравший в себя небытие, с похотью обезьяны. При таком забвении себя в жизни рода человек оказывается игрушкой желания, тогда как единственным сугубо человеческим качеством становится добровольное бесплодие: серия абортот у подружек любвеобильного Джума в «Свече на ветру» — и любезный отец и супруг Маврикий тоже здесь, готовый уплатить по счетам; — и Иннокентий Володин с женой категорически отказываются иметь ребенка: на планете, пожираемой войной, они укрываются в свою страсть и ведут в ней жизнь юных богов. «Нам жизнь дается только раз», говорят они, так что примем все ее дары, но только не ребенка, нет, «потому что ребенок — это идол, высасывающий соки твоего суще-

ства и не воздающий за них своею жертвой или хотя бы благодарностью»⁸. И, конечно, по-настоящему любить ребенка или хотя бы попытаться его по-настоящему любить — это значит принести себя в жертву, ничего не ожидая взамен, кроме радости от того, что человек пришел в мир, как говорит Евангелие. Тут каждый — и для этого, как мы видим, даже не нужно войны, лагеря, болезни — как бы умирает сам в себе, ради того, чтобы жил другой. Но если жизнь не имеет смысла, зачем тогда ее передавать? Тогда передать ее равнозначно тому, чтобы сделать из ребенка идола. Ведь у родителей тогда нет никакой иной цели, кроме него; смысл жизни для них заключен именно в ребенке, бедном узурпаторе Абсолюта. Идолопоклонство даже биение жизни превращает в опухоль небытия: тогда либо ставший идиолом ребенок должен отвергнуть, «убить» высасывающих из него соки родителей; либо супружеская пара отказывается от ребенка, убивает зародыш, запечатывает свое счастье печатью бесплодия.

Так распространяются, другим, но не менее действенным и не менее универсальным, способом, чем через ад лагерей, элементарные формы «людей-зверей». Костоготов подводит горький итог такой «философии жизни»: «Ах, как хороша жизнь!.. Люблю тебя, жизнь! Жизнь дана для счастья!» И заключает: «Но это может и без нас сказать любое животное...»⁹. Для него, в итоге, смерть оказывается очевидностью. А вот Русанов, хотя и подставлен смерти, как всякий человек, рожденный затем, чтобы умереть, кричит: «*Не будем говорить о смерти! Не будем о ней даже вспоминать*»¹⁰.

Метафизический невроз

Наша цивилизация, сфабриковавшая абсолют из жизни вперемишку со смертью, из жизни по эту сторону смерти, тем самым эту смерть систематически чем-то подменяет. Интеллектуалы, вроде Иннокентия Володина в период, предшествующий пробуждению у него совести, охотно цитируют Эпикура, что смерть не имеет к нам отношения: «...смерть для нас — не зло, она просто нас не касается: пока существуем мы — смерти нет, а когда смерть наступит — нет нас!»¹¹ Наивная сиюминутность: ведь небытие гложет нас беспрестанно, оно разрушает вокруг нас любимые лица, и даже если

наука изобретет однажды что-то вроде «не-смертности», то смерть и тогда останется с нами и в нас, как состояние разлуки и поражения — поражения в попытке достигнуть настоящей вечности. Вот почему в «развитых странах», чтобы забыть о смерти, быстренько освобождаются от мертвецов. Мы знаем, как это происходит в США — а Скандинавия и Германия стараются тут не очень отставать (Реформация, возможно, способствовала этому процессу, запретив молитвы за умерших). Как только человек испустил последний вздох, тело уносят, и теперь мы увидим его в последний раз лишь ненадолго во время краткой светской, мирской (внутри этого мира) церемонии, когда тело приукрасят, подретушируют, обработают так, чтобы можно было забыть, что перед нами умерший. В Советском Союзе тоже все происходит очень быстро — достаточно простого грузовика, — воля к забвению явлена в ветхости некоторых кладбищ: «Ни оградой, ни заборными столбами, ни канавой, ни валом, — ничем не было кладбище обведено, только стояли по ровну эти старые березы...»¹². Часто у нас кладбища просто уничтожают: «закатывают их, ровняют бульдозерами — под стадионы, под парки культуры»¹³. Ведь мы больше не ходим на кладбища, замечает Солженицын: «Если в какой семье смерть, мы стараемся не писать туда, не ходить: что говорить о ней, о смерти, мы не знаем...»¹⁴. Марксизм не говорит о смерти ничего, Маркс упоминает о ней лишь один-единственный раз в «Экономическо-философских рукописях 1844 года», т.е. в довольно раннем тексте, где говорится, что «отдельный индивид есть лишь некое определенное родовое существо и, как таковое, смертен». И эта формула легко избавляется от личности как от чего-то ненужного. Но мне кажется, что у современной западной молодежи позиция мало чем отличается от этой. Ну разве что мы выбрали тут промежуточную формулу: во Франции мы избавляемся от умерших тем, что приносим им хризантемы один раз в год, в тот день, который им посвящен и который предназначен уничтожить память о Дне всех святых, на смену которому он пришел, но уже без прежней открытости надежде. А День всех святых стал теперь просто еще одним днем поминания усопших, и божество, которому предназначены все эти безнадежные церемонии, в которых не хочет участвовать молодежь, — это божество мертвых, а не

живых. В «Раковом корпусе» «старый доктор» замечает, «что современный человек беспомощен перед ликом смерти, что ничем он не вооружен встретить ее»¹⁵.

Любое бесстыдство привычно знакомо нашему времени, которое то и дело с бессильным остервенением заигрывает с механизмами человеческого тела. Средства массовой информации сорвали покровы с тайн внутриутробной жизни, подробно осветили соитие и роды, и все это не столько для того, чтобы открыть новые поводы к восхищению чудом жизни, — что было бы как раз законно, — сколько для того, чтобы дать и так пресыщенным душам легкую дрожь профанации. Непристойности то и дело мелькают на наших экранах — не столько как проявления избытка жизнелюбия в духе Рабле, сколько на фоне безнадежного нигилизма, и все это несмотря на жалкое алиби социальной критики — ведь виноватыми оказываются всегда другие. Некоторые, те, кто считает, что наш кожный покров — невыносимое ограничение, чересчур специфически личная форма, те при помощи подогретых наркотиками экстазов пытаются продлить стриптиз во внутренней наготы, раствориться во внутриклеточном существовании. В Стокгольме в Музей современного искусства вы входите через женское лоно (озаглавленное как «Врата Жизни») и проходите в колоссальную Венеру, *внутренней наготой* которой вы сполна можете насладиться изнутри, ведь она полая и насчитывает двадцать семь метров в длину и десять в высоту...

Сегодня по-настоящему бесстыдной и непристойной выглядит одна лишь смерть — ведь мы никогда не умрем:

«В трех войнах теряли мы мужей, сыновей, женихов — пропадите, постылые, под деревянной крашеной тумбой, не мешайте нам жить! Мы-то ведь никогда не умрем!»¹⁶

«В конце концов, к чему сводится наша философия жизни?»¹⁷ Только к этому.

* * *

Продлить стриптиз за пределы кожного покрова — мечта любого садиста — это значит, в конечном итоге, наткнуться в таком безумном поиске сначала на внутренние органы, затем на скелет, знак той самой смерти, которой мы так пытались избежать. Болезнь ведь тоже ведет к такому жуткому обнаже-

нию, впадению в наготу. Когда онколог Донцова обнаруживает, что и ее саму затронула болезнь, она начинает думать, что ее собственное тело, за пределами знакомых анатомических схем, «оказалось беззащитным мешком, набитым органами, органами, каждый из которых в любую минуту мог заболеть и закричать»¹⁸. Ясная, обитаемая, разграниченная людьми область — живем ведь только раз, никогда не умрем, — внезапно покрывается трещинами из-за возникновения страха, а для требовательной души страх этот повседневен. И тогда оказывается, что все привычное, «до такой степени известное тебе, многократно, вдоль и поперек известное, могло так выворотиться и стать совсем новым и чужим»¹⁹.

Можно задаться вопросом, не ведет ли вытеснение тайны смерти, а значит, и тайны смысла (того смысла, который охватывает собой, а не подменяет смерть) — «развитое» человечество к подлинно *метафизическому неврозу*, который к тому же, как и садизм внутренней наготы, в своей попытке избежать смерти лишь умножает ее, упирается в скелет, так что люди уже просто не могут уснуть в чистой имманентности «счастья».

Прежде, вспоминает Солженицын, на кладбища ходили, «навещали» умерших. По воскресеньям медленно шли между могилами, священники кадили «душистым ладаном», словно для того, чтобы разоблачить телесное тление свидетельством этого ароматного огня, воскресениями поднимающегося к небу. Священники и верные «пели светло», воспевали победу, навсегда одержанную над смертью, для всего человечества и для каждого из нас. «Становилось на сердце примиренно, рубец неизбежной смерти не сдавливал его больно. Покойники словно чуть улыбались нам из-под зеленых холмиков: “Ничего!.. Ничего!..”»²⁰ Здесь стоит вспомнить духовную красоту некоторых русских кладбищ: без гробниц, ни следа тех мраморных изваяний, на которых подчас запечатлена семейственная гордыня латинян; скромные холмики, зеленеющие и покрывающиеся цветами весной, потому что их заботливо засевают семенами, в изголовье каждого холмика возвышается, благословляя его, деревянный крест, хранимый сверху от непогоды треугольным навесом-козырьком. Особенно на Пасху, когда с новыми цветами там вперемешку лежат крашенные пасхальные яйца, семена воскресения,

и поют победный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Так крест обретает здесь свою истинную ценность — знака и вечного присутствия Живого Бога, перехода к полноте; жизнь при этом пронизана не смертью, но вечностью. Часто рядом с могилкой стоит маленькая деревянная скамеечка, чтобы можно было помедлить, пообщаться с ушедшими. И само тело умершего на отпевании не выставлено бесцеремонно на обозрение, нет, но возлежит, как реликвия, над ним читают псалмы и поют песнопения, лицо покойного в церкви открыто, чтобы можно было подойти и дать последнее целование в холодные, чистые губы тому, кто уходит, наконец, в «вечную память» Бога, ведь Он один знает истинное имя каждого, различает его иконописный лик.

Но если для христианина, знающего незаменимую ценность каждой человеческой личности, церковное отпевание умершего вклинивается в противоположный характер смерти, чтобы с тем большим ликованием пробить его насквозь и выйти к надежде личного воскресения из мертвых, то для архаических народов, открытых для безликой тайны, смерть — это просто исчезновение в бесконечном. Все это мы находим, например, у некоторых шаманистских народов Севера, с которыми Солженицыну приходилось сталкиваться, или у тех русских крестьян, что живут с ними бок о бок и христианское упование сочетают с природной, почти растительной мирностью этих азиатов. Так, на берегах Камы все принимали смерть «спокойно». Они готовились к ней «потихоньку и загодя, назначали, кому кобыла, кому жеребенок, кому зипун, кому сапоги. И отходили облегченно, будто просто перебирались в другую избу»²¹. Вот потому-то и незнаком им этот метафизический невроз, который вписан в человеческий организм через болезнь: «И никого из них нельзя было бы напугать раком. Да и рака-то ни у кого не было»²².

Цивилизация, отбрасывающая смерть как непристойность и пытающаяся любой ценой закупорить этот прорыв трансцендентного, похоже, обречена на все виды раковых опухолей. Один из самых драматичных героев «Ракового корпуса» — Шулубин. Это ученый, который ради того, чтобы выжить самому и спасти семью, «гнулся и молчал» на протяжении всего сталинского времени: лгал, сжигал книги, оли-

цветворявшие для него истину, участвовал в позорных шельмованиях коллег, присоединялся к голосам, требовавшим казни. Но он так и не смог подавить в себе голос совести, и длительные его страдания, чудовищным образом воплотившиеся в рак прямой кишки, дали ему, наконец, право снова сказать слово правды. И вот в разговоре с Костоготовым он напоминает, используя терминологию Френсиса Бэкона, об «идолах рынка»: речь здесь идет, в самом широком смысле, о рынке забвения, которым люди с готовностью делятся друг с другом²³. Тогда, возможно, именно идеологический тоталитаризм и является источником раковых опухолей общества (в таком случае лагеря — это метастазы, пронизавшие собой общественный организм), — и еще, может быть, идолопоклонство жизни, той жизни, что находится по эту сторону смерти, жизни, в которую вгрызается смерть, идолопоклонства, которое как раз и способствует возникновению этого чудовищного «рынка» как «кишения людей». И тогда вооруженное техникой человечество, не сумевшее придать своим силам других целей, кроме все время растущего потребления, само становится раком, разрушающим космический организм.

Замкнутый мирок шарашки, «лучший, первый круг ада»²⁴, тогда тоже предстает здесь в грубом аспекте внешнего в его противопоставлении внутреннему, в аспекте удушливой толщи природы, того, что русский религиозный философ Евгений Трубецкой назвал «ночным аспектом тварного». Это густота инея на зарешеченных окнах бараков, в которых спят Иван Денисович и его товарищи по несчастью, это серый туман, в котором гаснет и теряется свет солнца над северным лагерем или над шарашкой, это «равномерно серое, без ступеней и без просветов» небо, «грязная брезентовая крыша, натянутая над землей», запрещающее любой прорыв к высоте, к бесконечности: «Не было в нем ни высоты, ни куполообразности...»²⁵. Потому что над всеми идолами, говорит Шулубин, как знак того небытия, которое они представляют, — «...над всеми идолами — небо страха! В серых тучах — навислое небо страха»²⁶, прямая противоположность тому свободному, дышащему высью, «неземному» небу, с «веретенами перистых облаков»²⁷, похожими на крылья в полете.

Первый и последний день творения

Солженицын настаивает: смерть, которую он описывает через призму войны, лагеря, больницы, — это духовная смерть. Освобождение узника, исцеление больного — хоть и важный, но все еще непрочный опыт, предварительные знаки, призывающие упрочить завоеванное. Если такой опыт не углубить, не уравновесить исцелением духовным, то он быстро иссякнет в земельной суши, как иссыхают в степях Центральной Азии реки, не доходящие до моря. В романе «В круге первом» Солженицын на примере одного из героев, Шагова, без тени снисходительности изучает, как «приспосабливается» к мирной жизни старый фронтовик и как фронтовая нравственность трансформируется просто в ностальгию, в лирическое воспоминание, вспыхнувшее в момент теплоты, от рюмки водки; особенно заметна такая трансформация, когда в экзальтацию впадают военные корреспонденты, которые не столько участвовали в битвах, сколько описывали их²⁸. Солженицын задается и еще одним вопросом, и мы к нему ниже еще вернемся, над ним раздумывают Нержин и Шулубин: почему революция, ставившая целью освободить людей, изменить жизнь, вылилась в итоге в тиранию? Ответ в том, что революция такого рода не дает шкалу ни для настоящей низости, ни для подлинного величия человека, ей не под силу ни ограничить первое, ни открыть ощутимые пути для второго.

В такой оптике заключительные главы «Ракового корпуса» (35–36) оказываются потрясающим рассказом о грехопадении, о растущем несоответствии между символом и тем, что он призван символизировать, вплоть до того, что свободно принятая смерть-воскресение уничтожает дистанцию. Выздоровливающий (даже если это всего лишь ремиссия) Олег Костоглоотов предчувствует райскую целостность мира, «первый день творения». Ему явлены небесные знаки: утреннее розовеющее небо (этот цвет у Солженицына почти всегда соотносится с утренней зарей), легкие перистые облака, вытянутые, как крылья, «через все небо», «сверкающая, фигурная ладья уцербленного месяца»²⁹. Сверкающая глубина неба — таков первоначальный смысл слова «Бог» в индоевропейских языках, — и эта лунная прозрачность, означающая душу, на которую снизошел мир. Это *утро* — не только как на-

чало дня, не только весеннее начало обновленного года, это также утро «творения», с той радостью рождения и возрождения, которая переполняет выздоравливающих после болезни. «Это было утро творения! Мир сотворился снова для одного того, чтобы вернуться Олегу: иди! живи!»³⁰.

Еще за несколько дней до выписки он, глядя на начинающие зеленеть деревья, чувствовал, что «всё было — хорошо»³¹, в нем словно звучит благословение бытию в библейском ритме, заданном Книгой Бытия: «И увидел Бог, что *это* хорошо». Все пронизано чудом, Олег знает, что «неожиданности ждут его на каждом шагу»³². Путь этого возродившегося человека, как и долгий библейский путь, ведет его из сада в город. Из парка, окружающего больницу, Олег попадает в узбекский город, где живут люди, которые кажутся сначала освободившимися от проклятия времени и преданными бытию. В центре восточного города, как древо жизни в райском саду или во взыскомом граде, цветет прекрасный урюк, а с ним вместе цветет и сам мир: «прозрачный розовый как бы одуванчик, только метров шесть в диаметре — невесомый воздушный розовый шар»³³. Здесь сама земля становится легкой и невесомой, свет и воздух пронизывают ее и преобразуют. Олег «смотрел, смотрел на сквозистое розовое чудо». «Чудо было задумано — и чудо нашлось»³⁴. Радость все еще слышится в ритме его шагов, когда он входит в европейскую часть города. Радость поджидает его, она и есть его будущее. Перед аптечной витриной, на которой разложены травы в пакетиках, он замирает в восхищении перед мудростью, которой движим мир. И перед витриной фотографа он с восхищением рассматривает лица на выставленных в ней фотографиях³⁵.

Но чтобы сохранить радость, нужно суметь сохранить определенный взгляд на мир, «перестать ошибаться»³⁶. Уже шашлык и вино снижают созерцание, низводят его на уровень чувственного обладания. А универмаг оказывается уже «проклятым капищем» и «идолом рынка»³⁷. Там правят нарциссизм и сексуальная жадность, закамуфлированные под утонченности цивилизации. Там правит зеркало Нарцисса и Дон Жуана, зеркало, увидеть в котором можно лишь себя самого — искажение, не-откровение. «А ему надо было — посмотреть цветущий урюк и сразу же мчаться к Веге...»³⁸, не растеряв этого утреннего мира с самим собой, этого рассвет-

ного неба как истинного зеркала, в котором отражены люди и предметы. Райская целостность мира утрачена: «Где ж разменял он сегодня свою цельную утреннюю душу?»³⁹

И все же, зоопарк, — это «царство детворы»⁴⁰, — сначала вроде бы позволяет ему вернуться к детскому взгляду на мир. Но это «царство» оборачивается раем несвободы, одновременно и обустроенным, и испорченным человеком, так что в нем уже смешались в один клубок изначальная красота как Божий дар с «первым кругом» ада как круговой порукой зла. «Достоинство» винторогого козла, его гордая неподвижность, в которой он становится как бы «продолжением этой скалы», свидетельствуют об изначальном, как и разноцветная красота фазанов, в которой отразились огонь и вода, солнечный динамизм и мирная тишь глубин, и золотая краска, смешавшись с серебряной, с «красными и синими перьями»⁴¹, дают настоящее пиршество зрению. Но бешеное и безнадежное вращение белки в колесе, ее нелепый бег, выходом из которого может стать только смерть, исступленная иллюзорность ее жалкого бытия вызывают в памяти другой значимый солженицынский образ — горящего колеса из кинематографических сцен «Августа Четырнадцатого». Под слишком низко надвинутой крышей, отменяющей небо, тщетно силятся расправить крылья белоголовые сипы. Образы несвободы множатся и наводят на воспоминания о тюрьме и лагере, сплетаются с ними: «"Неволю белые совы переносят плохо". Знают же — и все-таки сажают!»⁴²; а полосатая морда барсука — ну, «чистый каторжник»⁴³; бурый медведь ходит по тесной своей клетке, как «по камере»⁴⁴, всем своим существом являя безнадежность; тогда как «хищники» ассоциируются с «блатными»⁴⁵, от которых в лагере «политическим» нет житья. Падение тогда оказывается стремительным до головокружения: с райских высот к низости концлагеря. А вот и предельный ужас: кто-то ослепил макаку-резус. И ослепил ее ни за что, просто так, какой-то человек. Объявление на клетке гласит: «Жившая здесь обезьянка ослепла от бессмысленной жестокости одного из посетителей. Злой человек сыпнул табака в глаза макаке-резус»⁴⁶. Попытки объяснить зло одними отсылками к историческим реалиям падают перед такой бессмысленной жестокостью: «Об этом неизвестном, благополучно ушедшем человеке не сказано было,

что он — антигуманен. О нем не было сказано, что он — агент американского империализма. О нем сказано было только, что он — злой»⁴⁷. Бросающаяся в глаза наивность этой надписи отсылает нас, — поверх идеологических редукций, поверх даже всевозможных психоаналитических подтекстов, — к «онтологии тайного»⁴⁸, к темной свободе «человека из подполья», в Достоевском смысле этого выражения. Это и в самом деле был рай, и в нем все еще звучит горестный крик: «Адам, где ты?» (Быт. 3, 9).

И вот тогда Олег Костоглотов словно отброшен к той благородной и чистой любви, которая вызревала в нем на протяжении последних недель. К той Вере-Веге, вере-звезде, которая и вернула ему страну детства. К той женщине и врачу, которая, установив с ним отношения взаимной симпатии, уговорила его подвергнуться лечению, почти исцелившему его, но подавившему в нем — надолго? навсегда? — если не мужское желание, то телесную возможность его удовлетворить. Она заставила его поверить, что человек больше собственной природы, больше удовлетворения сексуального желания; через царство детства она приоткрыла перед ним царство веры. Так стала расти между ними любовь, связывающая личность с личностью, с той странной, дикой чистотой, которая характерна для детской любви. Вот эта-то любовь и освобождает Олега от кошмарного наваждения падшести в зоопарке, явив тайное присутствие Веры в том «чуде духовности», каким предстала его глазам антилопа нильгау⁴⁹. Но чистота детской любви, ностальгия, так трогательно выразившаяся в подаренных двум девочкам-узбечкам букетиках фиалок, все это разбивается вдребезги перед неумолимой реальностью плоти. Не застав Веру дома, Олег замечает на перилах веранды развешанные одеяла и постельное белье, принадлежащее разным жильцам ее дома, тут же, наверняка, развешано и белье Веры. Плотские формы преследуют его повсюду, например, «подушки — с одним подмятым углом, двумя свисшими как вымя коровье, и одним вознесенным как обелиск»⁵⁰. И иронично-фаллическим символом оказывается красный мотоцикл, выпирающий из узкой двери коммунальной квартиры, и рядом с ним «мордатый парень с нашлепанным расклепанным носом»⁵¹, отсутствие носа преувеличенно подчеркнуто отсылает к гоголевским мотивам. Чуть позже,

когда в переполненном трамвае Олега прижало всем телом к молодой девушке, он познает сполна опыт и телесного желания, и бессилия, и приходит к решению. Он понимает, что Вере и ему невозможно будет так жить, одновременно вместе и не вместе, что едет он к ней «на муку и на обман»⁵². И тогда он решает устранился, принести себя в жертву, утвердив Веру в ее чистоте и тем самым оставив ей возможность будничного. На вокзале он пишет ей письмо: «...вы правы, вы во всем, во всем, во всем правы...», — и тут же добавляет: «...вы благословите этот день, когда не разделили моей судьбы. <...> Вы полжизни своей закололи как ягненка — пощадите второго»⁵³. Только самоустранение и жертва — и эта, всем сердцем пережитая духовная смерть — открывают Олегу путь подлинного исцеления и приводят его к отъезду. К новой жизни или через физическую смерть, это уже не важно. И не случайно писатель оставляет нас в неведении относительно таких деталей дальнейшей судьбы героя.

Человек желания

Вот почему для того, чтобы человек познал радость, недостаточно просто вылечить, на соответственном уровне, индивидуальные или коллективные болезни. Желание, даже если в какой-то момент использует потребности, даже рискуя их извратить, все равно всегда обозначает собой превосходящее их зияние. Человек — «ненасытное существо», фаустовские достижения науки и техники лишь обостряют его жажду, не насыщая ее до конца⁵⁴. Иннокентий Володин сперва обнаруживает в себе это, похожее на «болезнь», головокружительное чувство, когда привычно сытое существование, утонченно эпикурейское искусство жизни начинает вызывать отвращение: «...в эти месяцы Иннокентий над всеми материальными плодами земли, которые можно обонять, осязать, пить, есть и мять — ощутил безвкусное отвратное пресыщение»⁵⁵. Внезапно даже манеры, даже то, как ест его жена, очень красивая и страстно любимая жена, вдруг озадачивают его неожиданной неприглядностью картины: «Появилась ли в ней теперь? — или была, да он не замечал? — манера неприятно жевать, даже чавкать, особенно когда она ела фрукты»⁵⁶. Это наблюдение чем-то похоже на то, как наблюдает за жен-

щинами, поедающими пирожные в кондитерских магазинах, Андрей Синявский: «Смотреть, как они едят, — неудобно, что-то бесстыдное угадывается в их позах, жестах, в их кусании, жадном, как любовные поцелуи»⁵⁷. Женщина — зеркало с эффектом увеличительного стекла, отражающее человека: и в чувственных излишествах это проявляется, может быть, даже сильнее, чем в жертвенной самоотдаче любви. И человек, познавший в детстве второе, мать-защитницу, хранившую его ребенком, тем тяжелее воспринимает, когда ему приходится почувствовать и первое...

«Ему не хватало чего-то, а чего — он не знал»⁵⁸: так Иннокентий Володин в двух словах определяет самую суть своей «болезни». Потому что *все* подточено смертью, а человеку на самом деле нужно именно *все*, т.е. вечность: «Смертно все во Вселенной — даже звезды! И мы вынуждены философию свою строить так, чтобы она была годна и к смерти! Чтоб мы были готовы к ней!»⁵⁹ Прогресс и современное состояние этологии показывают, что человек — единственное животное, знающее о том, что умрет. А также единственное животное, знающее, что у него есть отец; и только у человека отец знает, что у него есть сын или дочь, даже самые способные обезьяны этого не знают. Смысл отцовства, табу на инцест и знание о смерти тесно друг с другом связаны, как и прочие знаки Другого. Без этого все бы оказалось лишь безличной игрой в утробе природы, так и не дошедшей до стадии родов: тогда не будет уже никакого отца, которого нужно интериоризировать, чтобы научиться преодолевать себя, а одно лишь возвращение в материнскую утробу, чтобы увериться, что мы не умрем. Симптомы «регрессивной эволюции», в результате которой человечество станет лишь еще одной разновидностью животного мира, такой же, как и все прочие, даже ниже слонов, потому что те хоть и не знают, что умрут, но, по крайней мере, умеют распознать умирающего слона, оказать ему почтение, покрыть его тело ветвями. Но и этот результат недостижим, потому что неисцелима двойная память о смерти и о вечности. Так, беспокойная и неуравновешенная героиня пьесы «Свеча на ветру» Альда соглашается подвергнуться процедуре «кибернетической нейростабилизации», исцелившей ее тоску и позволившей ей «пользоваться жизнью». (это очень похоже на научную фантастику, но

вряд ли к ней относится). И внезапно, перед лицом смерти и взаимной нежности друг ко другу, Маврикий обнаруживает пустоту собственной жизни, а Альде удастся вернуться к своему духовному блужданию и исканию. «Я жил в этом вертепе счастливых — и он меня съел...»⁶⁰, — говорит старый профессор-музыковед. И что же он дал своим ученикам? Много слов, много знаний, может быть, но ни крупицы мудрости. Единственному по-настоящему близкому ему человеку, Альде, которая одна «носит музыку в себе», он ничего так и не сумел передать. Он брал от жизни все, чтобы ни о чем не жалеть. И вот теперь он жалеет о той прозрачности, внутреннем мире и нищете, которые не имеют ничего общего с нарциссическим накоплением «опыта», с интенсивностью жизни и тем беспрестанным обогащением, которому Симона Вейль противопоставляет смиренную и бедную чистоту. «Как это жить, чтоб не жалеть, умирая?...» — спрашивает Маврикий, — «<...> И зачем долгая жизнь — не умеющему жить?...»⁶¹ Мы *желаем* жить, *желаем* приобретать опыт, *желаем* обогащаться. Но взгляд, видящий дальше, за пределами смерти, обнаруживает уже не волю, но бытие, а вход в царство бытия требует болезненной чистоты самоотречения.

Маврикий просит Альду сыграть ему «Зимний путь», отрывок из которого он напевает:

*Чужим пришел сюда я,
Чужим покину край...*

И тем самым обретает незабвенную мудрость «старухи древней», напомнившей во время похорон Матрены: «Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю»⁶². И вот, когда Маврикий умер, а его близкие, те, кто считает, что «живем ведь только раз, никогда не умрем», входят в комнату и замирают в растерянности, возникает другая «старуха древняя», тетя Христина, забытая и давно ставшая уже почти поводом для насмешек: она крестит лоб мертвеца и читает евангельскую притчу: «И скажу душе моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись»; «Но Бог сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут от тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?»⁶³

Но тетя Христина читает над усопшим еще и эти загадочные евангельские слова: «Итак, смотри: свет, который в

тебе, — не есть ли тьма?» (Мф. 6, 23), в толстовской версии перевода, приводимой и в «Раковом корпусе».

В восстановлении этого света, который в нас, сквозь трезво осознаваемый мрак, и видится нам призвание Солженицына.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Солженицын А.И.* Свет, который в тебе (Свеча на ветру) // *Солженицын А.И.* Пьесы и киносценарии. Париж: YMCA-Press, 1981. С. 363.

² *Солженицын А.И.* Раковый корпус. М.: АСТ, 2003. С. 105. Все ссылки на «Раковый корпус» далее даются по этому изданию.

³ Там же. С. 99.

⁴ Там же. С. 105.

⁵ Там же. С. 137–138.

⁶ Там же. С. 131.

⁷ Там же. С. 153.

⁸ *Солженицын А.И.* В круге первом. М.: Дрофа, 2003. С. 454. Все ссылки на «В круге первом» далее даются по этому изданию.

⁹ Раковый корпус. С. 137.

¹⁰ Там же. С. 137.

¹¹ В круге первом. С. 637.

¹² Там же. С. 328.

¹³ *Солженицын А.И.* Мы-то не умрем // Крохотки. В: *Солженицын А.И.* Рассказы и крохотки. М.: АСТ, 2006. С. 247.

¹⁴ Там же. С. 247.

¹⁵ Раковый корпус. С. 424.

¹⁶ Мы-то не умрем // Крохотки. Ук. изд., с. 247.

¹⁷ Раковый корпус. С. 137.

¹⁸ Там же. С. 421.

¹⁹ Там же. С. 421.

²⁰ Мы-то не умрем // Крохотки. Ук. изд., с. 247.

²¹ Раковый корпус. С. 99–100.

²² Там же. С. 100.

²³ Там же. С. 413.

²⁴ В круге первом. С. 752.

²⁵ Там же. С. 603.

²⁶ Раковый корпус. С. 413.

²⁷ Там же. С. 458.

²⁸ В круге первом. С. 496–499.

²⁹ Раковый корпус. С. 458.

³⁰ Там же. С. 458.

³¹ Там же. С. 407.

³² Там же. С. 468.

- ³³ Там же. С. 463.
³⁴ Там же. С. 463.
³⁵ Там же. С. 467.
³⁶ Там же. С. 462.
³⁷ Там же. С. 475.
³⁸ Там же. С. 475.
³⁹ Там же. С. 475.
⁴⁰ Там же. С. 476.
⁴¹ Там же. С. 477.
⁴² Там же. С. 478.
⁴³ Там же. С. 478.
⁴⁴ Там же. С. 478.
⁴⁵ Там же. 481.
⁴⁶ Там же. 480.
⁴⁷ Там же. 480.
⁴⁸ Выражение французского философа Пьера Бутана. См. его книгу «Онтология тайного»: *Pierre Boutang. L'ontologie du secret*. Paris, 1973.
⁴⁹ Раковый корпус. С. 481.
⁵⁰ Там же. С. 487.
⁵¹ Там же. С. 485.
⁵² Там же. С. 495.
⁵³ Там же. С. 502.
⁵⁴ В круге первом. С. 70.
⁵⁵ Там же. С. 455.
⁵⁶ Там же. С. 456.
⁵⁷ *Абрам Терц*. Мысли врасплох.
⁵⁸ В круге первом. С. 456.
⁵⁹ *Солженицын А.И.* Свет, который в тебе (Свеча на ветру) // *Солженицын А.И.* Пьесы и киносценарии. Париж: YMCA-Press, 1981. С. 401.
⁶⁰ Там же. С. 408.
⁶¹ Там же. С. 408, 409.
⁶² *Солженицын А.И.* Матренин двор // *Солженицын А.И.* Рассказы и крохотки. М.: АСТ, 2006. С. 149.
⁶³ Свеча на ветру. Ук. изд., с. 410.

Перевод с французского Натальи Ликвинцевой

Вечера памяти Н.А. Струве



«Сохрани мою речь...»

Вечер памяти Никиты Струве в Москве

15 июня, в сороковой день после ухода Никиты Алексеевича Струве, когда все еще никак не приходило осознание, что нам предстоит жить без этого поразительного человека, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына собрались его друзья.

На сцене, где Струве так часто обращался к собравшимся своим негромким голосом, стоял его портрет. Директор Дома, Виктор Александрович Москвин, приглашал на сцену выступающих.

Перед ними была достаточно сложная задача. При всем том, что Никите Алексеевичу удалось сделать в жизни, при всем масштабе его личности он был лишен какого бы то ни было пафоса. Наверное, многие помнят его улыбку, когда начинались дифирамбы. Самомнение, напыщенность, осознание собственного величия были ему абсолютно чужды, хотя он был одной из



*В.А. Москвин и Мелания Ракович (дочь Н.А. Струве)
на вечере памяти. Москва, Дом русского зарубежья. 15 июня 2016 г.*

центральных фигур русской духовной жизни второй половины XX столетия. Тем, кто брал слово, предстояло рассказать о значении его дела и в то же время не сбиться на славословия. Конечно, и тогда речи были бы полны самой искренней благодарности, но это совершенно не совпадало бы с его стилем жизни.

Во многом нам помог сам Никита Алексеевич. На экране были показаны уникальные видеозаписи, в том числе его воспоминания о встрече с Анной Андреевной Ахматовой в Париже. Собравшиеся вновь могли насладиться его удивительным, ясным и прозрачным русским языком и вдумчивой, какой-то кристальной манерой изложения.

Виктор Москвин, прошедший рука об руку со Струве почти четверть века, вспомнил о начале их работы и дружбы. О толпах, которые стояли в очередях к Государственной библиотеке иностранной литературы на выставку «УМСА-Press». Сейчас трудно уже представить, что испытывали люди в центре Москвы, при еще существовавшей советской власти, когда брали в руки книги Николая Бердяева, Дмитрия Мережковского, о. Сергия Булгакова. В те дни еще никто не мог гарантировать, что подобное действо закончится благополучно для его организаторов, но Никита Алексеевич как будто не чувствовал никакой опасности. В том, что было для него делом принципа, он всегда шел до конца.

Мелания, дочь Никиты Алексеевича, показала фотографии из семейного архива. Перед глазами собравшихся предстали молодые Никита Алексеевич и Мария Александровна в день свадьбы и их дети на руках родителей.

Наталья Дмитриевна Солженицына, выразив безмерность этой утраты, рассказала о переписке Александра Исаевича с Никитой Алексеевичем и прочла несколько отрывков из писем, которые он посылал к ним в Вермонт, и ответы Солженицына. Это происходило в эпоху перестройки и развала в СССР. Было необы-



Н.Д. Солженицына и Мелания Ракович. Москва, Дом русского зарубежья. 15 июня 2016 г.

чайно интересно услышать оценку Никитой Алексеевичем знаковых фигур того периода и яркие характеристики Александра Исаевича.

Представители московской администрации Ромуальд Крылов-Иодко и Александр Музыкантский говорили о радости совместной работы и встреч с ним. Александр Ильич вспомнил о тех временах, когда все думали, что с наступлением свободы, новых рыночных отношений и свободного пересечения границ все пойдет как нельзя лучше. Никита Алексеевич, как и Александр Исаевич, видел глубже и понимал, какие испытания ждут после опьянения свободой.

Директор литературного музея Дмитрий Бак и наш известный писатель, автор книг об Андрее Платонове и Михаиле Булгакове Алексей Варламов вспоминали о впечатлении, которое производил Струве. Дмитрий Петрович описал ощущение загадочности, поразительной бездонной глубины, которые отличали слова Никиты Алексеевича. А Алексей Николаевич сказал, что при встречах со Струве, никогда не служившим в армии, его не покидало чувство, что перед ним кадровый офицер царской армии — такое благородство было буквально разлито в каждом его жесте и шаге.

Юрий Кублановский, поэт, лауреат Солженицынской премии, вспомнил, что означала для него поддержка Никиты Алексеевича в первые месяцы пребывания в вынужденной эмиграции: «...он во многом определил мою жизнь».

Автор этих строк поделился воспоминаниями о беседе с Никитой Алексеевичем во время подготовки рецензии на очередное издание его книги «Осип Мандельштам», его рассказах о том, чем пленил его великий поэт, и о его общении с Надеждой Яковлевной Мандельштам.

Вечер оказался слишком короток, чтоб вместить выступления всех желающих. «Сохрани мою речь...». Эти строки Осипа Мандельштама, творчество которого с таким трепетом и знанием было передано Никитой Алексеевичем западному и русскому читателю, звучат как завещание — великого русского поэта и его французского посредника — каждому новому читателю, как весть о сохранении подлинного начала русской духовной культуры.

Виктор Леонидов

«Он сам был вестником Русского христианского движения»

*Вечер памяти Никиты Струве
в Санкт-Петербурге*

16 июня 2016 г. в Фонтанном доме Музея Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге прошел вечер памяти Никиты Алексеевича Струве, приуроченный к 40-му дню его кончины. Он стал завершением открытия первой в России художественной выставки работ матери Марии (Скобцовой) в честь 125-летия со дня ее рождения.

Личное знакомство Н.А. Струве с А.А. Ахматовой, participation к одному Движению с матерью Марией, присутствие в зале его внука Григория, членов духовной семьи и друзей, сам Фонтанный дом — все это создало проникновенную атмосферу дружеского круга, в котором звучало благодарное слово о Никите Алексеевиче.

В этот вечер прозвучало много интересных и малоизвестных (а порой и детективных) эпизодов из жизни Никиты Алексеевича: тайный перевоз книг в СССР, первый приезд в Россию в 1990 году, его заступничество перед патриархом Алексием Вторым за Преображенское Братство в 1997 году... Можно было даже ознакомиться с его родословной, скрупулезно восстановленной и представленной генеалогом И.В. Сахаровым.

Но главной темой воспоминаний и осмысления жизни Никиты Алексеевича стало его служение Церкви и России.

О его жизни в РСХД емко и целостно рассказал председатель РСХД Кирилл Соллогуб:

«В 1949 году Никита Алексеевич (тогда ему было 18 лет) оказался на съезде Движения по приглашению своего старшего брата Петра, и сразу был захвачен живой, творческой, свободной атмосферой, которая была свойственна съездам РСХД с самого начала его возникновения. С тех пор и до конца жизни он стал настоящим движенцем. Для нас Никита Алексеевич был настоящим мостом, связывающим поколения, поскольку он застал

основателей Движени: Льва Александровича Зандера, отца Василия Зеньковского, Николая Зернова... Движенцы для Никиты Алексеевича — не только богословы, наставники, учителя, но и его супруга, семья, друзья — отец Александр Шмеман, отец Борис Бобринский... В начале 50-х годов Никита Алексеевич вошел в круг ответственных за издательство УМКА-Press и в редколлегию «Вестника». Но не только их совместная деятельность объединяла Никиту Алексеевича с Движением. Объединял прежде всего сам дух Движения, который он нес до конца жизни и который он разделял с нами, молодежью. Этот дух он внес и в наше церковное управление. Никита Алексеевич был членом кафедрального совета нашей архиепископии, и там люди знали, что он — проводник этого духа Движения, желания служить Церкви с полной преданностью, с умением понять, что в жизни Церкви является главным; не подменять его второстепенным. Никита Алексеевич, будучи настоящим движенцем, прекрасно это делал».

Дмитрий Сергеевич Гасак, председатель Преображенского Братства, проректор СФИ, членом попечительского совета которого был Никита Алексеевич, говорил об удивительной способности Н.А. Струве разбираться в церковной ситуации, в частности, в России; о его умении понимать жизнь и чувствовать дух времени:

«Сколько всего сделано, сколько всего Никита Алексеевич держал в уме, памяти и сердце! И при этом он сохранял необычайную скромность — качество, которое он ценил, может быть, более всего, как воплощение христианского духа».

«Вестник РХД» — самое дорогое детище Никиты Алексеевича. Александр Михайлович Копировский, профессор СФИ рассказал о значении этого журнала и других книг издательства УМКА-PRESS для России и для своего поколения.

«Чтение *Вестника* и *Архипелага* было припаданием к источнику! То, что Никита Алексеевич делал, падало на благодатную почву — это читалось, читалось ночами... Его



Участники вечера, слева направо: Григорий Лопухин (внук Н.А. Струве), Кирилл Соллогуб, Татьяна Викторова, Юлия Балакишина, Игорь Сахаров, Александр Копировский, Дмитрий Гасак, Александр Буров. Музей Анны Ахматовой, Санкт-Петербург. 16 июня 2016 г.

вклад в русскую культуру коллосален. Это — не только книга о Мандельштаме, не только русская словесность. Быть может, больше всего он сделал, когда стал возить книги машинами, тоннами. Это стало подлинным впрыскиванием духовной литературы, христианской мысли, духа свободы!»

Своим восприятием Никиты Алексеевича во время его приезда в Петербург в 2004 поделились Александр Буров, научный сотрудник Музея истории религий, и Юлия Балакишина, председатель Свято-Петровского малого православного братства:

«Вестник Русского христианского движения — самое точное и лучшее название такого явления, как Н.А. Струве». И: «Никита Алексеевич сам был явлением той культуры и того человека, о потере которых он говорил и сокрушался. Замечательно, что Н.А. Струве был, что мы его знали. Он помогает нам что-то выпрямить в самих себе».

В конце вечера прозвучало проникновенное свидетельство Татьяны Викторовой — друга Никиты Алексеевича и се-

кретаря журнала «Вестник РСХД». Она поделилась воспоминаниями о последней встрече с Никитой Алексеевичем:

«Он был очень радостным и говорил о будущем... И был полон того Света, который ранее мне в нем был неведом.... Словно он был рядом и одновременно ему уже открывались другие горизонты. Трудно было уйти от него.... Главное, что осталось от этой встречи, что это — только начало; это — порог, на котором нужно оказаться вместе с другими людьми».

У матери Марии, в окружении работ которой, как в объятиях, проходил этот вечер памяти, есть строки:

Мы все стоим у нового порога.
Его переступить не всем дано...

Дары и плоды жизни Н.А. Струве так многообразны и вдохновенны, что каждый может найти в его творчестве и судьбе то, что позволит ему идти к этому Порогу — благодаря и вместе с ним. Думается, что в этот вечер Никита Алексеевич вошел в духовную родословную всех, кто был в зале.

МАРИЯ ЛАВРЕНОВА

Жизнь. Книги. Время

Вечер памяти Никиты Струве

в Париже

Вечер памяти Никиты Алексеевича Струве прошел в издательстве YMCA-Press, где всего несколько месяцев назад друзья и близкие собирались отметить его 85-тилетие. Эту грустную переключку отметил выдающийся французский славист Жорж Нива — почетный гость на обоих вечерах. Не притязая на полноту охвата, собравшиеся вспоминали разные страницы жизни Никиты Алексеевича, и из этих разрозненных и неизбежно осколочных рассказов возникал невероятно многогранный и целостный образ.

Кирилл Сологуб — нынешний председатель РСХД — рассказал о многолетней связи Никиты Алексеевича с христианским Движением. Впервые попав на съезд РСХД в 19-летнем возрасте, юный Никита Струве очень скоро стал одним из его активных членов. Его работу для движения высоко оценивал отец Василий Зеньковский. Именно в РСХД, перед Второй мировой войной, пересеклись судьбы нескольких молодых людей, ставших важнейшими церковными и культурными фигурами послевоенного русского зарубежья, — будущих отцов Александра Шмемана и Иоанна Мейендорфа, будущего епископа Антония (Блума) и Никиты Струве. Для Никиты Алексеевича вхождение в РСХД имело воистину судьбоносное значение, так как именно здесь он встретил свою невесту Марию Александровну Ельчанинову.

Кирилл Сологуб остановился на нескольких направлениях деятельности, на многие годы связавших судьбы Никиты Струве и РСХД. Под его руководством «Вестник» Движения обрел второе дыхание. Он впервые дал возможность донести мысли эмигрантов до читателей из Советского Союза и дал возможность высказаться авторам оттуда, поддерживав таким образом религиозное возрождение в послевоенном СССР. Одновременно он стал голосом православия на Западе и с 50-х годов начал выходить не только на русском, но и на французском языках. Особенно Кирилл отметил деятельность Никиты Алексеевича для возрождения издательства

YMCA-Press: бывшее протестантское издательство стало голосом православия не только для русского зарубежья, но и для советской России.

Славист и переводчик Мишель Никё в своем докладе остановился на миссии Никиты Алексеевича по возвращению и реабилитации памяти о репрессированных или забытых на родине русских писателях, на примере их общей работы над наследием писателя Сергея Клычкова. Интересно, что подготовка романа этого незаслуженно забытого поэта и прозаика «Сахарный немец» стала поводом для дискуссии между Никитой Струве и Александром Солженицыным. Отдав должное фронтовым сценам, Александр Исаевич в целом был настроен к роману очень критически, отмечал в нем атеизм и даже демонизм. Никита Алексеевич не согласился с подобной оценкой и ответил на нее развернутой статьей, опубликованной впоследствии в «Вестнике».

Мишель Никё подчеркнул, что одной из миссий «Вестника» была экуменическая, а именно — знакомство русскоязычного православного мира с сокровищами мировой христианской мысли. В журнале публиковались переводы Пеги и других выдающихся богословов западного христианства.

Господин Пьер Морель, долгие годы бывший послом Франции в России, рассказал о другой стороне деятельности Никиты Струве: в 90-е годы, когда вслед за распадом СССР и глубоким экономическим кризисом стали возникать различные культурные связи и институты, Никита Алексеевич лично развозил книги YMCA-Press по российской глубинке, с интересом открывая для себя «нестоличную» Россию в лице лучших и самоотверженных представителей провинциальной интеллигенции. Пьер Морель подчеркнул, что фигура читателя была ключевой фигурой для русской культуры. Этого заново обретенного российского читателя он и стремился познакомить с сокровищами культуры русского зарубежья. Они вместе ездили в Екатеринбург, Дмитров, Нижний Новгород, где встречались с молодым, в те годы мало кому известным политиком Борисом Немцовым.

Жорж Нива — выдающийся славист и переводчик и бывший студент Никиты Алексеевича — тепло вспомнил их многолетнюю дружбу и сотрудничество, начиная с первых встреч до последних общих работ. Особое внимание в своем

рассказе он уделил многолетнему знакомству между Никитой Алексеевичем и Александром Исаевичем Солженицыным.

Лев Абрамович Мнухин, приехавший из Москвы, рассказал о неоценимой помощи, которую Никита Алексеевич оказал их общему детищу — Хронике русского зарубежья. Так, одного упоминания имени Никиты Алексеевича оказалось достаточным для директора крупнейшего московского издательства «Эксмо», чтобы убедить его взяться за публикацию «Хроники».

В заключение вечера Наталья Шмеман, Татьяна Викторова и Франсуаза Лесур рассказали о ближайших планах издательства и о создании центра им. А.И. Солженицына, о котором мечтал Н.А. Струве. Наталья Шмеман представила переиздание «Антологии русской поэзии XX века» в переводах Никиты Алексеевича — книгу, которую она с гордостью назвала «бестселлером издательства». Татьяна Викторова представила последний номер «Вестника РХД», созданный еще Никитой Алексеевичем, над которым он работал вплоть до последних часов своей жизни. Франсуаза Лесур представила проект музея Солженицына, который планируется создать на первом этаже издательства. Он откроется постоянной экспозицией, посвященной «западному» периоду жизни Александра Исаевича, и будет представлять временные выставки по истории русского зарубежья, посвященные его крупным деятелям.

Все эти планы позволяют надеяться, что дело, которому посвятил свою жизнь Никита Алексеевич Струве, продолжится, что очаг, зажженный им и другими представителями «первой волны» российской эмиграции, будет и дальше согревать и просвещать.

МАРИЯ КОНДРАТОВА



Письмо Никиты Алексеевича Струве
к Александру Исаевичу Солженицыну
(1992)*

Дорогой Александр Исаевич, попытаюсь не слишком утопая в подробностях описать калейдоскопические впечатления от моего первого соприкосновения к русской провинции: Тверь (500 000 жителей), Торжок (5 000) и Орел (250 000), с возвратом, в промежутках, в Москву.

Москва опять поразила своей огромностью и живучестью: интенсивность движения показалась еще большей, множество частных машин. На этот раз разместили меня в церковной гостинице на территории Даниловского монастыря, только что открытой. Не знаю кем, но выстроена со вкусом, отличается чистотой и благообразием, в комнатах иконы, на каждом этаже портрет Святейшего, официанты аккуратно-старорежимно вежливые, кухня отличная, сугубо русская, квасы не нахвалишься (обещали дать с собой бутылочку, но обещание не выполнили), осетрина на вертеле — объединение, но и цены соответствующие... Выстроена гостиница в перспективе иных времен, и сейчас она ложится на церковь тяжким бременем, так что приходится ее открывать разным совместным и сомнительным предприятиям. При мне была большая пустота, несколько англосаксов, но м.б. гостиницу не населяли в ожидании архиерейского собора. Тишина, из комнаты вид на Даниловский монастырь, какой-то оазис дореволюционности и современности...

В Тверь отправились на следующее утро, 24-го марта, под проливным дождем, двумя машинами, Библиотечной

* Письмо к А.И. Солженицыну в Вермонт не датировано. Написано, видимо, судя по содержанию, в начале апреля 1992 г., из Парижа, — судя по датировке остальных писем Никиты Алексеевича к Александру Исаевичу этого периода — между 4 и 11 апреля 1992 г.

(сотрудники «Русского пути») и посольским автобусиком (сотрудники французского культурного центра, который располагает в «Иностранке» огромными помещениями). По дороге нас оштрафовали за превышение скорости, но квиточка не дали (положили в карман?), впрочем, мило предупредили, где следующий контроль. На обратном пути нас остановят для проверки документов трижды, без штрафа, что мне показалось утешительным: милиция работает...

Разместились в «мотеле» в 15 километров от Твери, потом вернулись в город и занялись издательскими делами. Сначала заехали к епископу в епархиальное управление, весьма скромное, в деревянном домике; с епископом Виктором¹ я был еще знаком по Парижу, подарил тогда ему немало книг, крестьянский сын из-под Почаева, он не затейлив, но прост и здрав. Смысл захода состоял в том, что он должен был нас сопровождать к директору Тверского полиграфкомбината, одного из крупнейших в России, с тем чтобы там взяли печатать первую книгу «Русского пути», Записи о. Александра Ельчанинова. Директор, больной и заплывший жиром старик, чем-то обязанный епископу, согласился в порядке исключения и дружбы взять печатание (тираж в 25 000 его нисколько не интересует) при условии, что мы раздобудем бумагу... (Визит, как потом выяснится, был совершенно бесполезным.)

В областной библиотеке днем состоялась пресс-конференция и открытие совместных выставок и читальных зал Имковских изданий и французской книги. Сочетание показалось вполне закономерным, я настаивал, что творчество первой эмиграции стало возможным благодаря свободолобию и высокой культуре Франции, а что вот теперь, как бы в благодарность, через Имковские книги и французская книга проникает вглубь России. Открытие началось с епископского молебна, как отныне полагается, несколько зычного и формального, при, как мне показалось, почтительном, но отчужденном внимании публики. В Твери до сих пор одна церковь, хотя сейчас как раз открываются еще три. По словам епископа, народ вроде бы верующий, но в церковь ходит не очень... Вокруг приема удалось поговорить со студентами и профессорами Тверского университета, показавшимися мне вполне просвещенными (общий профиль моих собеседни-

ков: еврейско-русская интеллигенция с широким и здравым гуманистическим горизонтом).

Под вечер и под дождиком осматривали город, набережную, церковь, где откопали старинную основу, старины в старинной Твери почти не сохранилось, город отстроен Екатериной в петербургском стиле с вкраплением сталинских или постсталинских уродств. Памятники вождям не убраны, тяжелы, дорого стоит, да и мало кого заботит, остановились у недавно идентифицированной подлинной гостиницы «Галиани», где останавливался Пушкин (ремонтируется), и пошли на ужин в гостиницу «Селигер» с мэром города, на вид и по разговору человеком толковым и просвещенным. Тосты, речи... Интересовались, почему Тверь выбрана нами первым провинциальным городом, думали, что выбор определен тем, что в 1901–02 мой дед выбрал Тверь как место своей ссылки под надзором полиции (приготовили выписки из архива...). Мне пришлось еще ехать на второй ужин, абсолютно постный, к епископу и его причту, тут мне удалось обрадовать молодого священника открывающейся новой церкви, передав ему скромный дар (2 000 франков) от протестантской общины, в которой подвизается Жорж Нива... К одиннадцати вечера вернулись в мотель, где стекла входной двери были только что разбиты, на полу была кровь, и кто-то отчаянно ругал испугавшуюся администрацию, что они не люди, раз вовремя не вызвали милицию... Гвалт продолжался всю ночь, кто-то не то передвигал, не то крушил мебель, утром вдоль кухни шныряли всякие подозрительные людишки, считающие пачки денег...

Отправились в Торжок под дождем, и если бы не прелестные названия деревень, лепящихся вокруг дороги, пейзаж был бы очень однообразным и суровым: леса, ели, изредка «тверская скудная земля». Надо сказать, что время выбрано было самое неудачное: снег только-только сошел, земля грязная и бурая, лиственные деревья почти не тронулись.

Торжок — древнейший город, современный Крещению Руси, но весь отстроенный Екатериной, на восьми холмах, с 38 церквями не разрушенными, но в плачевном состоянии. У городской библиотеки, где висели и русский и французский флаги, меня встретила служащая в полном русском одеянии и с хлеб-солью...

Начали с осмотра города, ныне превращенного в прекрасный пушкинский и дорожный музей, потом взобрались — автобусом — на высший холм, где с XII-го века стоит огромный Борисоглебский монастырь (целиком перестроенный в XVIII веке), превращенный в советское время в тюрьму строгого режима, а ныне отстраивающийся (но Церкви не переданный), по моей просьбе заехали в единственную действующую церковь, где я прельстился ухаживающими за ней бабками, радушными и светлыми: «грехи свои замаливаем», потенциальные Матрены² (а свинтус Эткинд³ Матрен не встречал...), выбежал к нам, поспешно одевавший рясу страховидный, по-Лесковски, священник, потом посетили все еще существующую золотошвейную мастерскую (Пушкин уже покупал вышитые на сафьяне пояса и башмачки), с огромным гипсовым Лениным у входа, с 20 вышивающими золотушными девицами не слишком красивые салфетки и брошки: а теперь еще проблема, материал не поступает или стоит втридорога.

После обеда открытие передвижной выставки, опять с владычным молебном со всем Тверским причтом, на этот раз более теплым, с призыванием местного святого, преп. Торжковского Ефрема... Собралось человек 50 местной интеллигенции, спокойной, уравновешенной, радушной, осматривали библиотеку с выдачей на дом, на полках ни одной книги Солженицына, все всегда в чтении. При выходе поджидали иноземных гостей три очаровательные 10-летние девочки, Лена, Вера и Вика, усердные чтицы детской библиотеки (что читаете? про космос), с которыми я вступил в бесконечный разговор, надавал им французских монет, равняющихся по курсу 200 рублям (а мама зарабатывает 1 000, очень гордо), спросил их, что едят по утрам (кефир, творог), каждый ли день (ну, не каждый, бывают перебои, мы стоим в очередях, вот сейчас с хлебом трудно), и действительно в Торжке длинные очереди у всех булочных. Я воспользовался, позвал сумрачного мэра и говорю, видите, даже малый народ протестует: уверял, что недохват случайный, временный. Надо сказать, что Торжковские «власти», мэр, региональные и еще какие-то производили впечатление довольно-таки унылое. Хотя мы были уже накормлены, священник настоял, чтобы перед отъездом в Москву заехали к нему разделить

трапезу, что мы и сделали всей компанией: трое посольских, С.М. Некрасов, директор Пушкинских музеев⁴, присоединившийся к нам в Торжке, вице-директор Киевской библиотеки Академии Наук, где у нас читальный зал (весьма примитивный, малый), местные власти и т.д. Разместились все в небольшой столовой скромного настоятельского деревянного домика, и тут начался постный пир горой, который окончательно растопил французов. Тут и епископ, весьма компанейский, и сумрачный мэр... Священник оказался очень радужным, не садился за стол, потчевал гостей стоя, матушка из кухни не вылезала, водка лилась рекой, опять были вкуснейшие, собранные в лучшую пору, опять были речи, тосты, священник рассказал свой извилистый путь, уроженец Торжка, падал, подымался, обрел Бога, попутно удалось убедить мэра неукоснительно поставлять муку для просфор, предоставить Дом культуры для церковной школы, но священник не хочет официального здания, а разрешение выстроить свое. Тем временем выяснилось, что какой-то пьяный прохожий разбил молотком заднее стекло нашей библиотечной машины, власти страшно обеспокоились, что так плохо встречают гостей в Торжке, но это известие не нарушило несколько общей эйфории. В Москву вернулись далеко за полночь.

Два московских дня были посвящены деловым и околоделовым встречам. Заседание (первое) правления «Русского пути»: отчет о деятельности магазина при Библиотеке, уже приносящей доход (но там фактически нет Имковских книг, именно их и просят, а как им быть без разорения Имки?), о трудностях издать первую книгу (узнаём тем временем, что Записи о. Александра изданы уже издательством «Советская Россия»)⁵, о бесконечных предложениях открывать читальные залы: Саратов, Ставрополь, Воронеж, Минск, Красноярск, Омск, Мурманск и т.д. Затем посольский обед на уровне культурного советника (католика) в роскошном ресторане, где впервые в жизни (да еще в пост) ем медвежатину, затем встреча с о. Игнатием Крекшиным⁶, дающим для «Вестника» очень достойный ответ на безобразные нападки из Троице-Сергиевой Лавры на о. А. Меня (чьи писания «хуже атеизма»), с сыном о. Александра Меня⁷, пригласившим меня в жюри конкурса имени Меня на лучшую богословскую рукопись (произвело очень приятное впечатление), затем отправ-

ляюсь в Чистый переулок на встречу со Святейшим. Ожидая в приемной, слышу женский голос, из патриаршего кабинета выпархивает Ульяна Шмеман⁸, кидается мне на шею, сговаривается о встрече (мы с ней уже говорили по телефону). Патриарх в дверях поджидает и несколько недоуменно спрашивает: «может, Вы хотите поговорить?» Сидел у Святейшего больше часа, разговор был более непринужденный, чем в сентябре, патриарх был совсем раскованный, и выглядит хорошо, лицо безмятежное, церковные трудности, о которых я в лоб расспрашивал, его явно не замучили. Он, без сомнения, симпатичен, добр, несколько детский, просвещенный и в основном здраво мыслящий и придерживающийся средней линии. Вопрос автокефалии Украинской Церкви отложить до поместного собора (архиерейский собор не компетентен), канонизация Елизаветы Федоровны оттянет требования со стороны правых канонизировать царскую семью... Опять рассказывал о торжестве перенесения мощей преп. Серафима в Дивеево, и особенно подробно об обретении мощей святителя Тихона после пожара в Донском монастыре⁹, наполовину нетленных, как о знаках свыше, подкрепляющих Церковь. О своей речи перед раввинами, написанной Боровым¹⁰, распространялся мало, бунт в связи с ней утихает, он как раз ярко проявился именно в Тверской епархии, где 30 священников из ста перестали почитать патриарха. Тверской епископ Виктор меня уверял, что он почти всех вернул на здравый путь за исключением двух.

На прощание патриарх пригласил меня присутствовать на открытии Архиерейского совещания и пожалел, что в этот приезд нам больше не удастся встретиться...

На следующий день, после завтрака с Ю.С. Шмеман, я должен был с Москвиным¹¹ объехать лотки и книжные магазины, с целью закупить книги для нашего парижского магазина. По дороге машина стала вроде бы без бензина, пришлось ехать троллейбусом и по метро, так что удалось посмотреть очень мало. Тем не менее в одном из магазинов предложение книг мне показалось достаточно разнообразным, да и на лотках иной раз попадаются и хорошие книги. Что-то купил у лотка, продающего в пользу отстраиваемой церкви (кстати, в Москве очень заметно: множество церковных зданий стоят в лесах).

Обедал в Даниловской своей гостинице с Богословским¹² и одним из возглавителей «Христианского издательства», работающего и в Экспресс-хронике¹³: они принесли мне переизданный ими безвозмездно, в количестве 500 экземпляров, 148 номер «Вестника», да так, что не отличишь от парижского издания, сделано это как будто для затравки, показать, что мы можем, и тем самым предложить печатать «Вестник» в России. Помчался обратно в Библиотеку для каких-то встреч, в частности с группой ахматоведок (Н. Королева и др.)¹⁴, предложивших мне не помню какое сотрудничество и пригласивших меня на конференцию о Тютчеве в Овстуге¹⁵, а затем в Италии на лаго ди Гуарда. Но разговор был интересным, на хорошем литературном уровне.

Вечером отъезд в Орел, если не ошибаюсь, с Курского вокзала, огромного, переполненного людьми, с невероятными багажами, аж страшно. К устоявшейся нашей компании присоединился в этот раз вице-посол Франции (бывший посол в Йемене, ожидающий в Москве нового назначения) с женой. Поезд и ушел и пришел вовремя, хотя и несколько обидно «тратить» ночь, чтобы проехать 400 километров (во Франции это бы заняло 2 с половиной часа).

После размещения в приятной, старомодной гостинице на площади, где стоит бывшее здание обкома с красивым видом на спуск к Оке, поехали в музей И.С. Тургенева, где помимо Тургенева отведены комнаты разным областными писателями от Лескова до Зайцева. Экскурсоводы довольно-таки эмоционально-восторженные и не слишком перестроившиеся: на карте орловских писателей нет еще ни Зайцева, ни о. Сергия Булгакова¹⁶, да и всякие шуточки насчет трудных времен воспринимались более чем сдержанно. Там же в Музее состоялась и пресс-конференция, довольно вялая. Открытие выставок, нашей и французской, имело место в специально к этому дню учрежденном клубе под эгидой местного фонда культуры. Орловский епископ уже уехал на собор, молебен с водосвятием служил весьма традиционный батюшка перед репродукций иконы св. Андрея Рублева. После обильного окропления нам была предложена франко-русская программа: духовое трио играло французскую музыку, четверо дам в орловских костюмах пели народные крестьянские песни (весьма искусно), молодежь показала свое знание француз-

ских песен, словом, типично-провинциальное, хотя и вполне добротное времяпрепровождение. Из-за присутствия французов не было предвидено места для церковных посещений, хотя была крестопоклонная суббота, все же по моей просьбе и просьбе посла удалось побывать на вечерне в кафедральном храме, где толпилось не слишком много для такого дня народу. Вместо длинной службы был нам предложен роскошный банкет, на котором я сидел по правую руку «губернатора» или «префекта» Орловской области, Ельцинского ставленника, бывшего партийца, секретаря горкома, попавшего в опалу в конце брежневского царства. Разговор был не без интереса, так как человек он как будто реальный, но все же не без казенного оптимизма. Много ели, еще больше пили, тосты, речи, пожелания, одно время подсел к столу местной интеллигенции, но был вскоре востребован «губернатором», на прощание чуть не задушившим меня в своих объятиях.

Утром ранним, вместе с Катей Гениевой¹⁷, отправились к ранней обедне пешком, дошли до вновь открывшегося Михаило-Архангельского собора, но ранняя служба была только в далекой церкви св. Никиты мученика, куда мы и поехали сначала на троллейбусе, потом на автобусе, по ту сторону Оки. Приехали к концу ранней, у бокового алтаря было много причастников (человек сто), скорее молодых и просвещенных лиц. Одновременно служилась общая панихида с записочками и скромнейшими подаяниями причту, собирались уже в некотором количестве ветхие и колченогие бабки к поздней литургии. В то утро еще предстояло посещение музея Бунина, чрезвычайно тщательно устроенного, с восстановлением по фотографиям его рабочего кабинета в Париже, который сорок лет назад я неоднократно посещал при жизни его обитателя. Странное охватывает чувство, когдаходишь в его музейную неживую реплику. Ходили и к дому, где на заре века жил Бунин и где в 1916 году разместились ЧЕКА, чтобы воевать с контрреволюционерами и саботажниками (я снялся на фоне мемориальной доски в честь этой деятельности), посетили и Областную библиотеку, выстроенную на фундаменте разрушенного собора, а потом отправились в Спасское-Лутовиново через Мценск, не сохранивший в себе ничего сколько-нибудь древнего или даже старинного. Усадьба Тургенева, восстановленная из пепла с подлинной

обстановкой — прекрасна, но прекраснее всего сохранившийся пространнейший сад с деревьями столетней давности, с видами на пруд, на луга и овраги. В деревьях шумно гнездились грачи, перелески вдали краснели и зеленели, водил нас по парку милейший старик, все знающий про Тургенева, природу и рассказывающий обо всем с большим тактом. В усадьбе нам дал представление из Тургеневских пьес Орловский театр (совсем не плохо), но лучше всего было на воле, в первый раз после Ромашково¹⁸ я почувствовал всю прелесть русской деревни, воспетый Фетом ее трепет...

По возвращении в Москву, в понедельник 30 днем отправился в Цветаевский дом, на встречу с М.Т. Работягой и попал на заседание четверки. Сначала подробно с Люшей¹⁹ осмотрели прекрасный особняк (где жило четыре семейства), отлично отремонтированный, но безнадежно пустой (и не очень известно, чем его меблировать), затем заседали: трудно себе представить людей, более не похожих по физическому типу и, вероятно, и по темпераменту; кругленький себе на уме колобок-работяга, эмоционально-сдержанная Мунира²⁰, колобок восточного типа Серебренников и властно руководящая четкая Люша. Появление родственника с кипой интереснейших фотографий произвело на меня сильное впечатление, и тем обидней был гражданский нагоняй, который этот несчастный родственник получил от праведной Люши²¹. Разошлись мы по совету особенно домашнего милиционера, так как часть полов залили какой-то выедающей глаза жидкостью...

Вечером предстоял ужин с руководящей группой «Христианского издательства». Повезли меня на Красную Пресню, в какие-то мрачнейшие современные сооружения, где ютился китайский ресторанчик «закрытого типа», исключительно по кредит кард... Потчевали нас четверо: главный, сумрачный бородач, пивший за троих и заснявший часть ужина камескопом, его помощник из экспресс-хроники, несколько менее бородачатый и сумрачный, бородачатый, но менее отяжелевший — по молодости — от питья художник и их культурный советник, Богословский. Компания несколько странная, вроде бы христианская, но «просвещенности» не чувствуется, явно деляги (откуда у них деньги, не ясно, уверяют, что зарабатывают печатанием «визиток», но я подозреваю, что еще

чем-то, а «визитки», пусть и доходные, но для вывески). Тем не менее результат налицо: перепечатанный «Вестник» даром, и предложение тиражировать его в Москве за треть его стоимости здесь (что же, вероятно, придется согласиться). На обратном пути заехали в подвальчик редакции Экспресс-хроники, мило-диссидентская отрывка, где беседовал с милым Под<р>абинеком и безумным бардом Старчиком²²...

Вторник 31-го марта. Открытие архиерейского собора²³. Вся гостиница переполнена черными рясами, бородами, перепостившимися монахами-секретарями или служками. В холле столпотворение, все собираются идти в Благовещенский собор на молебен. Иду и я.

Во дворе, перед собором, человек 50 украинских бабок, несколько мужчин, с плакатами: «Украина–Россия — одна церковь»; «не давать автокефалии»; «митр. Филарет²⁴: ты ответишь на Страшном суде»; «перестаньте преследовать таких и таких-то архиереев» (тех, что гонит Филарет), поют молитвы, тропари, когда проходят епископы, что-то выкрикивают, некоторые благословляют плакаты, к некоторым нарочито подходят под благословения. Стою на паперти, как раз, когда идет Филарет, лицо перекошенное, делает вид, что надписей не читает, бабки что-то выкрикивают и поют «Спаси Господи люди твоя...»

Из резиденции (не из гостиницы) выходит пеший патриарх и проходит в собор боковой дверью. Молебен служится чинно, но простого народу не много, то ли не пускали, то ли о соборе особенно не разглашали, но было очевидно, что украинские бабки были с разрешения патриархии, если не спровоцированы (в церковь их не пустили, по крайней мере, с плакатами). По окончании молебна та же процедура, при выходе: плакаты, пение. Открытие состоялось в конференц-зале гостиницы (до него еще долго толпились в холле), к Питириму с перекошенным лицом (и меня явно заметившим) не хватило духу подойти, равно как и к Кириллу, который, кстати, давал интервью прехорошенькой журналистке²⁵. На открытие пустили, ничего не спрашивая, посторонней публики и прессы было совсем мало. На трибуне сидел в полном составе синод. Патриарх с некоторым трудом читал неплохую, но тяжеловесно написанную речь (своего главного писца, диакона Кураева, он отставил²⁶, тот, гово-

рят, очень возомнил, но писал или редактировал, по-моему, прекрасно, а сейчас пишут разное), после которой «публику» попросил уйти. Тут был Дворкин, и руководитель радио «София», о. Иоанн Свиридов²⁷, возивший нас в Ромашково полтора года назад, которому я тут же дал интервью (про «Голос Православия» он сказал, что в России оно фактически неслышимо и не слушается).

Тут за мной приехали на обед к послу, Б. Дюфурку, сыну известного музыковеда, рьяного католика, бывшего в 70 годах, когда действовали «Невидимки», советником по культуре²⁸. С одной стороны стола какие-то издатели, с которыми сотрудничает посольство, с другой Катя Гениева и работники французского культурного центра, посередине посол, послиха (очень тонная дама, ученый-этнолог), посол в Эривани (дама), мой бывший коллега по Университету, историк (французы устроили свой Университет, в который каждую неделю приезжают из Франции лучшие профессора читать несколько лекций²⁹), я был приятно поражен высоким уровнем теперешнего нашего посольства. В ходе беседы посол признал, что Рим поступил бестактно, назначив в Москву и в Новосибирск епископов-поляков. От нашего сотрудничества посольство в восторге, обещает всяческую (на самом деле скромнейшую) помощь, но все же приятно, что, хоть и поздно, наше дело впервые за 70 лет как-то получает признание (этому, правда, помогает, что частично унаследовал атрибуциям последней феи наш молодой движенец, отбывающий в посольстве воинскую повинность, а у меня с ним прекрасные отношения³⁰).

После во всех отношениях прекрасного обеда перешли в само посольство на собеседования с молодыми издателями: правнуком Сабашникова (готовым взять четыре ВМБ, но не все), «Молодой гвардией» (расторопный и милый малый, имеющий хорошую базу) и Ольгерт <Либкин>, руководитель энергичного издательства «Текст»³¹. Предлагают на перебой сотрудничать, издавать совместно с «Русским путем», имеют доступ к бумаге хорошей (30 000 рублей тонна) и всякую печатную мощность. Производят хорошее впечатление людей деловых и искренних. Приятное собеседование (к тому же и полезное) при<шлось> укоротить, так как надо было мчаться с Катей Гениевой в бывшее здание ЦК на встречу с

каким-то высокопоставленным советником по культуре, неким Жилтеневым. Мрачное здание, если бы не замечательный вид на Кремль и на влезавшие прямо ему в окна кресты близлежащих маленьких, раздавленных новостройкой церквей. Будто бы советник уже три дня обзванивал, хотел встречи как будто и сам министр (о котором все говорят плохо), смысл посещения был мне совсем неясен, согласился на нее из пассивности и любопытства.

35-летний живчик-псих, сгрызший себе ногти и потому орудуемый четками, принял нас с сотрудницей по библиотечному делу, ораторствовал, спрашивал меня советов, как поступать с библиотеками (!?), восторгался Торжком, Тверскими древностями, Селигером, восстановленной Нило-Столобенской пустыней, ударял неоднократно по столу рукой и четками, предлагал что-то грандиозное (а кстати и сопроводить его в какое-то путешествие как раз на Селигер), отлучился на минутку, которой воспользовалась милая на вид сотрудница: «вместо этих планов, Вы его лучше спросите, чем он может конкретно Вам помочь», что мы и постарались сделать, но без большого результата и внимания с его стороны: складывалось твердое впечатление, что он упивается положением своим, властью, по-хлестаковски, без большой связи с реальностью. Утешился тем, что, при выходе, на улице у малого лотка купил для магазина роскошное переиздание Молоховца за 170 рублей (30 франков), а мой посольский дружок несколько дней до этого приобрел его за 350 рублей. Люди подходили и покупали, и цена их не пугала. В библиотеке пошли снова всякие встречи, с вечным В. Никитиным, издающим под Экономцевым журнал «Православный путь»³², с каким-то безумцем, прилетевшим из Одессы, чтобы создавать там филиал ИМКА-ПРЕСС и спасти от украинизации русскую Церковь и культуру, с полубезумным киношником из Твери и т.д. Это на прощание... Последнее утро я провел с Кублановским³³, выписав его в гостиницу на завтрак, а потом с ним поехал на библиотечной машине в Новодевичий монастырь, у которого еще ни разу не был. В то погожее утро он был прекрасен. Поклонился Соловьеву (Соловьевым) и отправился искать материнский дом на Петровском бульваре (тщетно). Кублановский жизнью доволен, хотя и жалуется на бытовые трудности, как-то поразительно не в курсе никаких

событий (интервью Н.Д.³⁴ не только не читал, но и не слышал, что оно было, о соборе ничего не знал и т.д.). Познакомил его с Катей Гениевой, против которой он был предубежден Богословским и его друзьями (они ее ненавидят), устроил ему поездку в Орел... Вернулись с ним в гостиницу, где у него была одна идея воспользоваться парикмахерской и постричься, а меня забрала посольская машина на Шереметево...

P.S. Об одном забыл: накануне отъезда по инициативе Кати Гениевой участвовал в серии передач, посвященной Нобелевским лауреатам: минут 40 говорил об А.И.³⁵

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Речь идет о епископе Тверском и Кашинском Викторе (Олейнике) (с 2012 г., митрополит Тверской и Кашинский).

² Матрена — персонаж рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор».

³ Ефим Эткинд (1918–1999), филолог, литературовед, переводчик, был вынужден уехать из СССР в 1974 г. из-за преследований, которым подвергся за поддержку А.И. Солженицына; преподавал в европейских университетах, в годы перестройки регулярно приезжал в Россию.

⁴ Сергей Михайлович Некрасов — директор Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург); был членом правления созданного в августе 1991 г. года издательства «Русский путь».

⁵ См.: Ельчанинов А. Записи. Жизнь во Христе. М.: Советская Россия, 1992. «Записи» свящ. Александра Ельчанинова стали первой книгой, выпущенной в 1992 г. в издательстве «Русский путь».

⁶ О. Игнатий Крекшин — постоянный автор «Вестника РХД». См. о нем в разделе «Коротко об авторах».

⁷ Сын отца Александра Меня — Михаил Александрович Мень.

⁸ Ульяна (Юлиания) Сергеевна Шмеман, урожд. Осоргина, супруга отца Александра Шмемана.

⁹ Обретение мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, произошло после пожара в Малом соборе Донского монастыря 19 февраля 1992 г.

¹⁰ Речь патриарха Алексия II перед раввинами г. Нью-Йорка произнесена 13 ноября 1991 г. Написана с позиций единства («мы все дети Ветхого Завета»), открытости диалогу, абсолютного неприятия антисемитизма и памяти о христианах, отдавших жизнь ради спасения евреев, как мать Мария (Скобцова). Ее автор — протопресвитер Виталий Боровой.

¹¹ Виктор Александрович Москвин, директор издательства «Русский путь», ныне директор Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына.

¹² Речь идет об Александре Николаевиче Богословском (1937–2008), литературоведе, архивисте, издателе и исследователе трудов Бориса Поплавского, в 1984 г. он был арестован и приговорен к трем годам заключения за работу над архивом поэта. Александр Николаевич активно сотрудничал с «Вестником РХД». В 1996 г. в московском «Христианском издательстве» (которое также упоминается в письме) выпустил книгу «Борис Поплавский. Неизданное. Дневники, статьи, стихи, письма».

¹³ Ежедневная правозащитная газета «Экспресс-хроника» выходила с 1987 г., главный редактор – Александр Подрабинек.

¹⁴ Речь, видимо, идет о Нине Валериановне Королевой, в настоящее время ведущем научном сотруднике ИМЛИ РАН, редакторе-составителе «Ахматовских чтений» (Вып. 1–3, М., 1992), авторе статей о поэзии Анны Ахматовой.

¹⁵ Музей-заповедник Ф.И. Тютчева расположен в усадьбе поэта в селе Овстуг (Брянская область).

¹⁶ Писатель Борис Константинович Зайцев родился в Орле, а отец Сергей Булгаков – в г. Ливны Орловской губернии.

¹⁷ Екатерина Юрьевна Гениева (1946–2015), директор Всероссийской библиотеки иностранной литературы с 1993 по 2015 г.

¹⁸ Посещение Никольского храма в подмосковном селе Ромашково стало одной из самых запомнившихся Никите Алексеевичу поездок во время его первого посещения России в 1990 г.

¹⁹ Люша – Елена Цезаревна Чуковская (1931–2015), одна из «невидимок» А.И. Солженицына.

²⁰ Речь идет о Мунире Уразовой, работавшей в Доме-музее Цветаевой и в Русском общественном фонде А. Солженицына. В марте 1992 г. Елена Цезаревна Чуковская, Мунира Уразова и Михаил Работяга вошли в группу литературного представительства Александра Солженицына в Москве, базировавшуюся в Доме-музее Марины Цветаевой.

²¹ Речь идет о посетителе, представившемся родственником А.И. Солженицына и сообщившем, что на Ставрополье состоялся «слет» нескольких десятков родственников Солженицына, никто из которых с ним не знаком. Е.Ц. Чуковская выразила недоумение, что, когда писателя гнали и травили, никто из них не проявился, а заявляют себя родственниками лишь теперь.

²² Александр Пинхасович Подрабинек, диссидент и правозащитник, в 1987–2000 г. главный редактор газеты «Экспресс-Хроника»; Петр Петрович Старчик, бард и композитор, в советское время диссидент, в 1972 г. был арестован и подвергнут принудительному лечению в психиатрической клинике.

²³ 31 марта – 5 апреля 1992 г. в Москве в Свято-Даниловском монастыре прошел Архиерейский собор Русской православной церкви.

²⁴ На этом Соборе митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко) пытался добиться автокефалии Украинской православной церкви, но Собор перенес решение на рассмотрение Поместного собора РПЦ. Письмо Никиты Алексеевича хорошо передает нервно-скандальную атмосферу этого Архиерейского собора, связанную с конфликтным вопросом автокефалии.

²⁵ Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев, 1926–2003), председатель Издательского отдела Московской патриархии. Кирилл (Гундяев), тогда архиепископ Смоленский и Калининградский и председатель Отдела внешних церковных сношений МП, ныне Патриарх Московский и Всея Руси.

²⁶ Дьякон Андрей Кураев с 1990 по 1993 г. работал референтом патриарха Алексия II.

²⁷ Александр Львович Дворкин вернулся из эмиграции в Россию в конце 1991 г., в марте 1992 г. работал в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации. Протоиерей Иоанн Свиридов – главный редактор радио «София».

²⁸ Бертран Дюфурк, французский дипломат, был Послом Франции в СССР и первым Послом Франции в постсоветской России в 1991–1992 гг.

²⁹ Речь идет о Французском университетском колледже при МГУ им. М.В. Ломоносова.

³⁰ ... *последняя фея* – Даниэль Бон, культурный атташе посольства Франции, бывшая студентка Н.А. Струве; *наш молодой движенец* – Пьер Тороманофф.

³¹ Ольгерт Маркович Либкин, с 1989 г. заместитель директора, а с 1996 г. директор издательства «Текст».

³² Валентин Арсентьевич Никитин, литератор, религиозный мыслитель, член редколлегии «Вестника РХД», главный редактор журнала «Путь православия».

³³ Поэт Юрий Михайлович Кублановский, член редколлегии «Вестника РХД».

³⁴ Речь идет о первом в российской печати интервью Н.Д. Солженицыной о солженицынском фонде («Архипелаг ГУЛАГ» помогает выжить: Правда о Фонде Солженицына // Труд. 1992. 14 марта. С. 1, 2–3).

³⁵ Т.е. об А.И. Солженицыне.



БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ



Митрополит Сурожский Антоний

Церковь и мир: один путь*

Куда Церковь, туда и мир, они как будто движутся параллельно. Слишком часто мы рассматриваем Церковь в образе реки живой воды, текущей через пустыню мира, а мир видится нам пустыней, которая хотя и получает подпитку от воды, но в большой мере остается бесплодной. Однако Церковь и мир не только взаимосвязаны, Церковь и мир завязаны в один узел; судьбы их неразрывно связаны. Церковь — присутствие Христа в мире, Церковь должна быть спасением мира. Вспоминаю слова патриарха Алексия**, который всю жизнь провел под гонениями; он как-то сказал мне: «Церковь — Тело Христово, распинаемое, ломимое за спасение мира». Так что когда мы говорим о пути Церкви и мира, нам следует понимать, что между ними есть взаимная зависимость.

Нам известно обетование Христово, что врата адовы не одолеют Церковь (Мф. 16, 18). Это поистине так, потому что это собственные Божии слова и обещание. Но что насчет нас? До какой степени мы принадлежим этой Церкви, которая непобедима, которую не одолеют врата адовы?

Вы помните слова Христа, Его предостережение, что мытари и блудницы входят в Царство Божие впереди нас (см.

© The Metropolitan Anthony of Sourozh Foundation.

* Проповедь, произнесенная 16 апреля 1989 г. в англиканском приходе св. Ансельма, Hatch park, Westfield Park (Great London).

** Патриарх Алексий I (Симанский, 1877–1970; патриарх с 1945 г.).

Мф 21, 31). Вы помните место из Евангелия, где Христос говорит нам, как Он сказал апостолам и всем окружавшим Его, что признает Своими не тех, кто посещал храм, кто взывал к Нему «Господи, Господи!», а тех, кто исполнил Его волю (см. Мф. 7, 21–23). Вы, наверное, помните укор апостола Павла, который говорит, что из-за нас порочится имя Христово (см. Рим. 2, 24).

Да, Церковь не только выживет, выстоит, Церковь однажды явится во славе Божией; но как насчет ее членов? Кто будет признан живым членом этой Церкви? Кто из нас может претендовать, будто в полной мере, в подлинном смысле принадлежит Церкви? Спасением мира будут не те, кто говорил, кто слышал, кто повторял слова Божии, а те, кто жил согласно слову Самого Бога, кто исполнил Его заповеди, кто был в мире откровением Бога, Его воли и Его путей. Один из наших русских богословов сказал, что Церковь является продолжением во времени и пространстве воплощенного присутствия Божия, Телом Божиим, в котором присутствует полнота Божества. В ранние века, в дни мучеников, дни исповедников, дни гонений — и эти дни не прекратились кое-где в мире — люди, встречавшие христиан, были поражены тем, что видели. А видели они мужчин, женщин, детей, которые обладали чем-то, чего не было ни у кого другого. Выражая это древнее восприятие, уже описанное древнехристианским писателем Тертуллианом, К.С. Льюис в одной из своих радиопередач во время войны сказал, что встреча неверующего с верующим должна бы быть настолько поражающей, чтобы неверующий замер в изумлении и сказал: «О! статуя ожила! Статуя стала живым человеком!» Разве мы не статуи, мертвые для вечности? Видит ли тот, кто нас встречает, сияние вечной жизни, измерение, какого он никогда не встречал прежде? Не в наших словах (говорить мы все умеем!), но в нашей личности, в нашем отношении, во всем нашем существо...

Древнее христианское присловье гласит, что никто не может обратиться от мира к вечности, если не увидит в глазах или на лице хотя бы одного человека сияние вечной жизни. Кто из нас посмеет утверждать, что любой, кто нас встречает, видит сияние вечности? Кто из нас произнес людям слова, которые дали им жизнь, вызвали к жизни вечное

содержание каждого? Мы стоим осужденные; мы, христиане, осуждаемся тем, что сами далеки от Бога, и тем, как наше состояние воздействует на мир — тот мир, ради которого Бог стал человеком, ради которого Отец отдал Своего Единородного Сына на жизнь и на смерть.

Какой ответ дадим мы Богу? Верим ли мы тому, что читаем в Евангелии? Вера, по выражению Послания к евреям, есть уверенность в невидимом (см. Евр. 11, 1), в том, что невозможно охватить чувствами. Есть ли у нас такая уверенность? Убеждены ли мы, что Евангелие истинно? А если Евангелие истинно, живем ли мы согласно той истине, которую исповедуем, которую провозглашаем? Кто из нас посмеет сказать, что он воплощает то, что понял в Евангелии? Я даже не говорю: все Евангелие; но хотя бы то небольшое, что каждый из нас уже понял? Мы стоим осужденные...

Ветхий Завет провозглашал Десять заповедей. Соблюдаем ли мы их? Верны ли мы Богу так, как люди были верны Ему даже прежде Христа? Разве мы не нарушаем небрежно эти заповеди, часто лицемерно утверждая, что теперь мы живем в области благодати, а не в области закона? Какая ложь! Нет такой области благодати, которая не была бы исполнением, совершенством области закона, а не замещением закона нашим самоволием, измышлениями или желаниями. Живем ли мы согласно тому, что читаем в Евангелии, скажем, в четвертой, пятой, шестой главах от Матфея? Заповедям блаженств? Молитве Господней в первую очередь? Да, мы ее читаем, повторяем, считаем своей — кроме одной строки: *прости, как я прощаю...* Мы не прощаем. Если мы честны, каждый из нас признает, что есть человек, а то и несколько, есть группы людей, политические, национальные, этнические, которым мы не прощаем, т.е. мы не открываем им сердце со словами: «Ты мне брат. Я люблю тебя так, как тебя любит Христос, всей моей жизнью и, если понадобится, всей моей смертью». Да, смертью, потому что тот не несет в себе евангельскую любовь, кто не готов положить свою жизнь за ближнего. А ближний наш — тот, кто в нас нуждается, друг ли он нам или враг, или чужак у нашей двери.

Верим ли мы в тот Символ веры, который провозглашаем? Готовы ли мы не только петь его в обществе единомышленников, но и принять смерть, скорее чем отречься хоть от

одного его слова? Разве мы не стараемся для собственного удобства перетолковать или разжижить то, что Церковь провозглашала с ранних веков? В таком случае — принадлежим ли мы Церкви? Или мы отклонились, сохраняя лишь видимость, повторяя слова, внешне выглядя так же, как христиане первых веков, но чуждые их жизни, их вере, их знаниям, их опытному знанию Бога? Кто из нас может сказать: «Бог существует, я могу это утверждать всей моей жизненной силой, потому что я Его встретил! Я знаю Его и скорее умру, чем откажусь от того, что знаю, потому что это будет значить отказ от себя самого». И — повторяюсь — если даже в своей внутренней сути мы не христиане, если, когда мы молимся, мы повторяем слова, которые не вырываются, словно кровь, из нашего сердца, если, молясь, нам кажется, что мы кричим в пустое небо, то христиане ли мы? Можем ли мы это утверждать? Разве нам не требуется обращение, подлинное, простое обращение из состояния мертвости, из состояния статуи, из состояния жены Лотовой, которая стала соляным столпом? Да, она осталась солью — но мертвой!

Мы тоже в большой степени остались солью. У нас есть слова, есть жесты, мы можем провозглашать истины, но затрагивает ли все это нас? И каков будет суд Божий? На чем будет он основан? Чтобы нас впустили в Царство Божие, будут ли нам заданы вопросы о богословских основах нашей веры? О том, сколько мы знали, сколько мы повторяли, сколько мы учили других, в то время как сами ничего не исполнили?

Вспомните притчу об овцах и козлицах (см. Мф. 25). В чем ее острота? Мне кажется, главный ее момент вот в чем: ты был человеческим или нет? Был ли ты милостивым? Был ли ты сострадательным? Любил ли ты ближнего деятельной любовью? Посещал ли ты его в болезни, несмотря на опасность заразиться? Когда он был в заключении, признался ли ты, что он твой друг, понес ли позор быть другом такого человека? Поделился ли ты с ближним хлебом, когда он был голоден? Когда он был наг, принес ли ты ему лучшую из своей одежды, чтобы ему не было стыдно перед другими? И так далее... Вот о чем говорит Христос. Козлица — те, кто ниже человеческого уровня; и в этом отношении мы должны понять, что то, что мы называем «миром», «секулярным обществом», порой гораздо лучше нас. Мы готовы принести молитвы, се-

кулярный мир очень часто готов предложить помощь; и когда мы станем перед Божиим судом — кто будет оправдан?

Помню, после поездки в Индию я говорил в одном приходе о голоде там. Потом мы долго молились и излагали Богу все нужды мира, напоминали Ему все Его упущения. После службы я стоял у выхода, ко мне подошла старушка и, протянув руку, произнесла: «Благодарю вас, отец, за очень интересный вечер». Именно так мы, христиане, отзываемся на нужды мира — мира, в который Отец послал Своего Единородного Сына, чтобы научить нас состраданию, любви. В мире могло бы не быть голода, если бы христиане были христианами, — но мы не таковы. Нам нужно пережить подлинное, реальное обращение. И когда мы спрашиваем себя: куда идет Церковь, куда идет мир? — возможно, следует ответить: мир стремительно приближается к вратам рая. Церковь пребует непобежденной, врата адовы не одолеют ее, но я стою осужденным, потому что я — бесплодная смоковница, я — высохшая ветка живого дерева. Где я стою?.. Куда Церковь, туда и мир.

Был некогда раввин, которого кто-то из учеников спросил: есть ли в аду место более страшное, более ужасное, чем то, куда попадут христиане? И он ответил: да, это место, где будут гореть недостойные иудеи... Не можем ли мы обратить этот пример на себя и задаться вопросом: есть ли место более ужасающее, чем место неверующего или даже гонителя? Да, это то место, где окажусь я — недостойный христианин, изменник Евангелию, неверный моему Богу, презревший жизнь и смерть Христа.

Да, это моя собственная исповедь; но спросите и себя, в какой мере мои слова относятся к вам. Я сознаю, насколько опасно мое положение. А вы? Я принадлежу к Церкви гонимой, Церкви, которая семьдесят лет страдала. Я встречал людей, которые провели в лагерях двадцать, тридцать лет. Они знали, что означает отдавать жизнь за ближнего, отдавать жизнь за спасение неверующего.

Я закончу эту проповедь, которая уже несколько затянулась, одним примером того, как встречаются добро и зло.

Один мой друг, старше меня лет на двадцать*, во время оккупации Франции был арестован немцами и провел в кон-

* Речь идет о Федоре Тимофеевиче Пьянове, члене Православного Дела, сподвижнике матери Марии (Скобцовой).

центрационном лагере четыре года. После его возвращения я встретил его на улице и спросил: «Что вы принесли из заключения?» Он ответил: «Тревогу». Я переспросил: «Вы потеряли веру?» «Нет, — ответил он; — но пока я был в лагере, подвергался всей жестокости, какая обрушилась на нас, пока надо мной все время была опасность пыток и смерти, я в каждое мгновение чувствовал, что вправе сказать Богу: “Прости, они не знают, что делают!” И я был уверен, что Бог не только может, но обязан принять мою молитву, потому что я был жертвой, по образу распятого Христа, и у меня была власть жертвы простить. Теперь я на свободе. Люди, которые нас мучили, которые нас ненавидели, возможно, не раскаялись, не переменялись. И когда я обращаюсь к Богу с молитвой о них, Он, может быть, отвечает: “Как ты докажешь Мне свою искренность? Ты свободен, ты не страдаешь. Тебе ничто не грозит, тебя никто не мучает”. Меня накрыло смятение, мое сердце разрывается. Я хочу, чтобы они были спасены. Как я могу содействовать их спасению?»

Вот где мир и Церковь, каждый христианин и его мучитель или каждый христианин и секулярное общество, в котором он живет, не просто существуют параллельно, не просто переплетаются, но связаны в один узел. Речь идет о спасении.

Мы призваны быть солью, которая предохраняет от порчи, мы призваны быть светом, который разгоняет мрак, мы призваны быть надеждой и верой, и радостью, предохраняющей от отчаяния. В мире, в котором мы живем, являемся ли мы все этим — творчески, дерзновенно, собственной ценой, вслед за Христом, Который принес все это? Являемся ли мы светом и чистотой и надеждой, и победой — ценой собственной жизни? Таковы ли мы? А если нет — мы стоим осужденными, не мир. Аминь.

Перевод с английского Елены Майданович

Протоиерей Владимир Зелинский

О богословии детства

Эта статья посвящена семинару на тему «Богословия детства», проходившему с 25 по 29 июля 2016 года в Хай Ли (High Leigh), в Англии.

О существовании этого городка, состоящего, впрочем, из одного широко раскинувшегося дома и примыкающих к нему окрестностей, я когда-то узнал из двух статей Георгия Федотова, писавшего о съезде РСХД, прошедшем здесь в начале апреля 1929 года. Это старинный замок в 70 км от Лондона, окруженный двухсотлетними лиственными деревьями, уже много лет служащий местом для деловых и дружеских встреч, научных семинаров и конференций. Здесь собралось десятка два богословов, а конкретно, людей, имеющих какое-то отношение к тому необычному разговору, который получил название «Богословие детства». Все участники семинара, за исключением автора этих строк, принадлежали к уже сложившемуся движению, уже около 20 лет работающему на ниве этого богословия (Child Theology Mouvement).

Оно вышло целиком из 2-го стиха 18-й главы Евангелия от Матфея (странным образом никогда не привлекавшего слишком пристального внимания христианской мысли): *Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.* Слова эти, во всей их неопровержимости, перекликаются со столь же сильным утверждением евангелиста Марка: *И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня, а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня* (9, 36–37), — как и Луки: *Пришла же им мысль: кто бы из них был больше? Иисус же, видя помысление сердца их, взяв дитя, поставил его пред Собою и сказал им: кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает; а кто примет Меня, тот принимает Пославшего Меня; ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик* (9, 46–48).

Три важнейших евангельских свидетельства, хоть и не вполне равнозначных по звучанию, но тесно примыкающих друг ко другу, видимо, не создали общей углубленной традиции их толкования. Нельзя, конечно, сказать, что они оказались забыты, но смысл их был сведен лишь к моралистическому уроку о «подражании дитяти». Дитя стало иконой добродетелей, которых всегда не хватает взрослым. Это как бы идеальный взрослый, вернувшийся к своей чистоте и невинности. И весь этот бьющий из глубины Премудрости поток благовестия о детстве был заключен в достаточно мелководный ручеек хорошей морали, стяжания наивности и простодушия. Ребенок служил зеркалом, в которое нам любо смотреться, или метафорой, которую мы иногда примеряем к себе.

Но ребенок — вовсе не метафора. Он есть живое, юное и отнюдь не всегда послушное существо, наделенное особыми дарами, которые надлежит открыть, к которым стоит вернуться, ибо мы их еще не до конца утратили.

Богословие детства — недавнее открытие. Первые статьи о нем появились два десятка лет назад, в основном в протестантской среде. Встреча в Хай Ли должна была подвести итог тому, что было сделано в прошлом, и пригласить участников семинара присмотреться к будущему: что предстоит сделать со всем этим дальше?

Большинство собравшихся были англичане, но в Хай Ли собрались также гости из Швеции, Румынии, Латинской Америки, Африки. Некоторые из них были людьми книжного труда, размышляющими о том, как именно благовестие Христово открывается через ребенка, другие были скорее «практиками», посвятившими себя занятиям с детьми в трудной ситуации. Но коль скоро речь идет именно о богословии, то мы станем говорить в основном о первой группе. Перед каждым был поставлен вопрос: богословие детства — что оно означает для вас?

Встреча началась с обсуждения книги Хэддона Уилмера «Тахопому». Как ребенок, поставленный Иисусом среди учеников, ребенок реально присутствующий, — спрашивает автор, — свидетельствует о Царстве Божьем и указывает нам путь к нему? Означает ли этот путь новый подход к духов-

ной жизни и ученичеству, которые отличались от заповеди Иисуса: *отвергнись себя, возьми крест и следуй за Мной?* Имеют ли эти слова о детстве и о кресте общую точку пересечения?

Уилмер отвечает: да, безусловно имеют, потому что смирение — путь, ведущий к Божьему Царству. Но в какой мере ребенок есть знак или образ смирения? Смирение есть образ ученичества. И если мы призваны «стать как дети», что это означает? И как достигается? Должны ли мы отречься от своей Богом данной нам взрослости или этого можно достигнуть, принимая ребенка? И куда приведет нас это принятие? Каков его смысл? Все эти вопросы, определившие тональность конференции, ведут нас к самому сердцу христианской веры.

На них отвечает другая книга Уилмера Хэддона, написанная в соавторстве с Кийтом Уайтом, «The Entry Point», что можно перевести как *Место входа*, или даже *Пропускной пункт*, который вводит в Царство Божие. Дитя, поставленное Иисусом *посреди* учеников, — не это ли образ *тесных врат*, ведущих ко спасению? *Поставил его посреди* — именно на этом евангельском выражении основана вся книга. Сама словесная формула «Богословие детства» впервые, насколько мне известно, была предложена англиканским богословом Кийтом Уайтом, который постоянно подчеркивает, что в центре такого богословия стоит не ребенок или не только ребенок, но Сам Христос. Потому что «дитя», как творение Божие, подлинно открывается только в свете Христовом. В этом «просвете» следует поставить вопрос о том, в какой степени ребенок может стать свидетелем Царства, т.е. дверью, которой входят в него. *Да приидет Царствие Твое...* — повторяем мы в молитве Господней, но этот призыв далеко не сразу поняли ученики Иисуса; ведь мы всегда создаем образы неизвестного исходя из известного. Царство, по слову Иисуса, подобно зерну горчичному, мы же, исходя из нашего эго с его страстями, амбициями, страхами, представлением об иерархии и соперничеством, создаем и подобающий им образ Царства. Ребенок, будь он мальчик или девочка, — всегда был «никто» в социальном плане, но именно как никто, как один из «малых сих», он приводит нас в «место Божие». Чем меньше значим мы на земле или в собственном воображении, тем ближе мы к Царству. Поставив ребенка посреди учеников, Христос

не противопоставил его им, но заставил их мыслить. Он ввел ребенка в общину тех, кто принадлежит Царству вне всякой социальной значимости. Иисус не требует: будь как Я, — но зовет: войди в Мою общину. Когда Он обращается к ученикам, то обращается к нам. И говорит нам: отвергнись себя и возьми крест.

Казалось бы, детство и крест существуют в разных измерениях: ребенок полон радости, надежды, жизни, переливающейся через край, тогда как крест — знак смерти, безнадежности, муки, кошмара. И вместе с тем то и другое — символ или весть умаления. Богословие детства, как настаивают авторы книги, можно рассматривать только в перспективе богословия креста. Умаление понимается как смирение не в расхожем смысле, а в свете слов: *Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную* (Ин. 12, 25).

Оба — ребенок и крест — в глазах веры, пронизанной светом Воскресения, благовествуют о надежде, открытости, начале новой жизни. Приближаясь ко кресту, припадая к нему со словами: вот я, звучащими в нашем сердце, мы уподобляемся малым детям. Ошеломляющая благодать Бога, излившаяся с креста, открывается в человеческом умалении. Склоняясь перед крестом, мы оказываемся в том же срезе бытия, в котором пребывают и дети.

На семинаре была представлена вышедшая по-русски в двух изданиях и готовящаяся к выходу по-английски книга автора этих строк «Ребенок на пороге Царства» в переводе Валентина Кожухарова, болгарского православного богослова, живущего в Лондоне.

Первой «колыбелью» «Ребенка», как и других текстов, обсуждавшихся на семинаре, была все та же строка из Евангелия от Матфея, которая когда-то не только заставила меня задуматься, но буквально приковала к себе. Текст, который хорошо нам знаком, иногда закрывается от наших глаз, чтобы потом вдруг блеснуть, распахнуться во всей своей неожиданности. Поразительна категоричность условия, которое нам ставит Христос: *«если не обратитесь и не будете как дети... не войдете...»*. Что значит обратиться в ребенка, быть как дети, коль скоро мы — отнюдь не дети? Все известные мне

духовные толкования авторитетнейших учителей Церкви сворачивали в сторону назидания: вы, большие, грешные, будьте как малые, добрые, смиренные, послушные, простодушные, не завидуйте, не превозносите, не допытывайтесь до того, что не вашего ума дело... Но это воплощенное благонравие — ребенок, придуманный взрослыми для их же самовоспитания. Или икона, повешенная в красном углу, напоминающая: ты не таков, как он, но, чтобы заслужить рай, ты должен исправиться. Но что больше всего отличает такие толкования — это приписывание словам Иисуса какого-то переносного смысла. Словно Он только загородился ребенком, а подразумевал что-то другое или кого-то, кого хотел наставить и научить. Так, скажем, в комментарии известной переводчицы Нового Завета В.В. Кузнецовой к Мф. 18, 5 так и сказано: «имеются в виду не дети, о которых речь шла выше, а ученики Христа».

И это лишь последний аккорд в длинном ряду такого рода интерпретаций. Но почему бы не попробовать нам понять эти слова буквально и прямо? Безо всяких «имеется в виду»? Иисус не говорил на нашем сложном европейском языке, в котором за одним смыслом может спрятаться другой, а за другим третий. Кто этот ребенок, которого Господь поставил посреди учеников? Чем он, малый человек, отличен от большого, взрослого? Не только своей социальной незначимостью, которая и у взрослого бывает, да и Христос едва ли требует от нас в нее обратиться. Он касается какой-то тайны, присущей ребенку, тихой радостной вести, изначально в него для нас вложенной. Тайна приоткрывается в его свободе от взрослости, тяжести, неизбежно зараженной грехом, но она манит и ведет за собой куда-то дальше. В словах Иисуса содержится ясный намек, что ребенок обладает каким-то свойством, которое делает его не только возможным, но и актуальным, реальным гражданином Царства. Ибо такой гражданин должен быть очищен от грязи и пыли земной жизни. Восточные богословы избегают говорить о первородном грехе, на котором настаивают западные, начиная с Тертуллиана и блж. Августина. Но в какой степени безгрешен ребенок? И если он рождается чистым, то когда и почему теряет свою чистоту? Чем первый отличен от второго? Мой ответ: в каждом из малых сих можно еще различить следы творения.

Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие (Мк. 1, 15) — так начинается проповедь Иисуса. И все евангельские слова о Царстве внутренне взаимосвязаны. Царство Бога рядом с нами, но и внутри нас. И это рядом и это внутри просвечивает в ребенке, потому что он — прежде всего наиболее зримое и конкретное проявление любви Бога к человеку. Его любовь проступает в тайне творения. *Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был втайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои,* — слагает свой гимн восхищенный Давид (Пс. 138, 15–16), словно шепча эти признания в ухо Божие. Ребенок — существо, которое несет на себе, для умеющих видеть открывает собой несокрытость взгляда Господа, отпечаток его. Иногда, пусть очень редко, мы улавливаем этот отпечаток во взгляде новорожденного (есть поразительное свидетельство на этот счет о. Павла Флоренского в книге «Детям моим», но далеко не только у него), который помогает нам стряхнуть нашу привычную слепоту. Отпечаток взгляда Божия, коснувшегося в утробе каждого человеческого зародыша и отразившегося в младенце, требует от нас взгляда ответного, поворота, обращения, благодарности. Главное, чему ребенок учит взрослых, — быть благодарным, благодарность же — глубочайшая основа веры. Ибо вера есть то состояние, в котором мы узнаем себя узнанными Богом. *Тогда познаю, подобно как я познан,* — говорит ап. Павел (1 Кор. 13, 12).

Об «опыте» взгляда, отпечатка, обращения, благодарности трудно, да и не обязательно писать стройный трактат. Книга «Ребенок на пороге Царства» построена как поток догадок, интуиций, свободных ассоциаций, размышлений, набросков, афоризмов, уложенных в главы. Все они, собранные вместе и по отдельности, стремятся передать различные грани или отражения того благословения, которое лежит в начале, у истоков всякого человеческого существа. Ребенок — скрытый носитель славы Господней, мерцающей в мире; для того чтобы увидеть ее, нужно обратиться, приобрести новое зрение, способное различать свет Царства Божия.

Но нельзя и забывать: слова Христа обращены именно ко взрослым, которые могут, должны или призваны открыть ребенка в самих себе. И тем самым к самим себе вернуться. «Вернитесь к самим себе, — говорил блж. Августин, — потому

что, удаляясь в сторону, вы становитесь чужды себе самим. Вернитесь к своему сердцу». «Стань тем, кто ты есть», — говорит современный православный богослов Каллистос Уэр, собирая в одной фразе опыт отцов. Но кто мы есть? — спрашиваем мы себя. Подлинное самопознание приводит к замыслу Божьему о себе, к откровению творения человека. Человек возникает в момент зачатия, когда при слиянии двух биологических «программ» образуется третья, совершенно особая, несущая в себе всю будущую личность в ее развитии. Подобно тому, как молитва Церкви превращает хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы, так и Слово Божие из нескольких клеток создает зародыш существа, *созидаемого* Богом. Творение евхаристично, как говорит митр. Иоанн (Зизиюлас), и во всяком зародыше действует *ум Христов* (1 Кор. 2, 16), которым творится наше духовно-психически-телесное существо.

Ум, или замысел, Божий заложен во всякого человека, но он яснее всего проступает в ребенке, от которого уходит потом взрослый, переиначивая, перебарывая его по-своему. Стать как дети — значит вернуться к этому замыслу, *обратиться* в *ум Христов*, стать тем, кем ты был сотворен и кем ты еще остаешься в замысле, плане, проекте, зерне. Стать теми, кто мы есть (и это «есть» относится не столько к настоящему, сколько к непреходящему времени), значит вернуться в тот замысел Божий, которым мы были некогда сотворены любовью.

Зерно Слова Божия, согласно Преданию, восходящему к святым отцам, заброшено во всякую мудрость и благость человеческую (красоту, добро, культуру), но и во всякую жизнь. После Воплощения мы по праву можем утверждать: в период тайного созидания человека ребенок наполняется творящим его Словом и взрослые познают Его, вспоминая *в уме Христовом*. «Логосы всех вещей пребывают в Слове Божием», — утверждает преп. Максим Исповедник, — и прежде всего в сотворении человеческого существа, и благодать Божия присутствует во всем тварном мире.

Поэтому всякий ребенок — образ, слепок или канал Откровения, особый язык, обращенный ко взрослым людям, послание любви и славы Божией, наполняющей все, что сотворено. Обратиться в него — значит овладеть алфавитом этого языка. Если мы не верим текстам, обрядам, догмам и посылаемым нам знакам, мы можем довериться откровению

рук Его (*руки Твои сотворили меня...* — Пс. 118, 73), чье прикосновение так явственно ощущается в «малых сих». *Вы... письмо Христово*, — пишет ап. Павел Церкви Божией в Коринфе. Ребенок — письмо, посланное Христом Церкви, которая есть семья Его. Но чтобы суметь прочесть такое письмо, вы (семья, община, человечество в целом) должны стать такой церковью, научиться языку, на котором оно было написано.

И последнее: детство в Христовом смысле не измеряется годами. Оно измеряется святостью. Святость — это исполнение того, что нам было дано изначально, и вместе с тем способность победить в себе искушение змия: *быть как боги*. Возвратиться в детство — это пройти дорогой грешника, который бросил вызов своей падшей природе, и стать членом той семьи, которую Бог избрал для Себя.

Книга православного богослова-миссиолога Валентина Кожухарова, пишущего по-английски, «Ребенок, Церковь, миссия: межхристианская перспектива», появилась в результате научного изыскания в области церковного понимания ребенка и понимания Церкви и ее миссии. Автор ставил себе целью охватить различные мнения отдельных больших христианских общин, или деноминаций, отсюда и межхристианская направленность работы.

Эта довольно объемистая работа состоит из четырех частей: Церковь, миссия, Библия и ребенок. Каждая часть работы рассматривает данную тему в связи с четырьмя отношениями: Бог, люди, ребенок и межхристианские реалии. Например, тема Церкви охватывает вопросы «Бог и Церковь», «Люди и Церковь», «Дети и Церковь» и «Понимание Церкви в межхристианской перспективе».

Церковь принадлежит Богу, а не людям; она призвана исполнить тот план Божий, который существовал до творения людей, а не человеческие проекты. Основание Церкви — Сам Господь Иисус Христос, в то время как люди и церковные общины не всегда могут быть тем «камнем», на котором Церковь основана. Церковь Христа есть также «Церковь ребенка»; дети верующих христиан принадлежат к Церкви и Церковь принадлежит малым детям. На самом деле понятие «Церкви» нельзя отделить от понятия «ребенка», так же как веру детей нельзя отделить от веры Церкви.

В. Кожухаров рассматривает миссию Церкви как миссию, в которой люди могут и должны принять участие, хотя чаще всего они уклоняются от него. В этом смысле миссия Церкви — это «миссия Бога» (*Missio Dei*), к которой люди призываются Богом для совершения Его, а не их служения. Главы Церквей и миссионеры ошибаются, полагая, что миссия, которую они осуществляют, — это только их дело (хотя и допускают, что Бог соучаствует в нем), ибо верующие — лишь работники на ниве миссии, предопределенной Богом. Затем книга переходит к проблеме отношения детей к миссии, исходя из того, что и дети могут стать работниками на Божьей ниве в силу своей чистоты и несомненной (осознанной или неосознанной) веры в Господа. Сами дети не могут быть миссионерами (вопреки тому, что утверждают некоторые евангельские богословы), но могут способствовать христианской миссии.

Во второй части книги уделяется особое внимание Священному Писанию как записанному Откровению Бога, обращенному к людям. Автор подчеркивает: Библия — это не набор 66 книг (в протестантизме), или 77 книг (в большинстве восточно-православных церквей), или даже 81 книги (в некоторых коптских церквях): Библия — это Откровение Бога, которое может содержаться в одной книге или в семи-десяти книгах, и т.д. Это мы, люди, стараемся «ограничить» или «расширить» состав Слова Божьего, часто не задумываясь над тем, что христиане первых веков не имели при себе ни 66, ни 77 книг, но были христианами не хуже нас. В работе также прослеживается роль ребенка в Библии и указывается на то значение, которое Священное Писание отводит *малым сим*, ибо в Новом Завете мы видим совершенно новые отношения ребенка, «взрослого» мира и Бога: *если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное*. Избранничество ребенка (а не «верующего» взрослого) — главное «открытие» движения богословия детства, которое следует развивать именно в этом направлении.

В конце книги автор сосредоточивает свое внимание именно на ребенке: его отношении к Богу, к миру и к самому себе. Здесь рассматриваются такие вопросы, как вера ребенка (способен ли маленький ребенок верить в Господа), отношение Церкви (церковной общины) к ребенку и отношение всего (взрослого) мира к детям. Автор исходит из того, что

ребенок принадлежит Богу и Его Царству; эта «принадлежность» не заслужена и не унаследована: она дается даром, но только ведомым Богом путем, так как дети — *народ избранный*. Кожухаров утверждает, что евангельское понимание слова «ребенок» (особенно в контексте той же 18-й главы Евангелия Матфея и сопряженных с ней изречений) относится к трем «добродетельным» человеческим качествам, которыми каждый верующий во Христа должен обладать: нашей зависимости (от Бога), смирению (или «подчинению») и инаковости (стремлению быть «другим», не охваченным миром и не подавленным им). В книге о миссии также рассматривается вопрос целостного развития ребенка.

В заключение книга указывает на необходимость дальнейшего развития богословия детства, в котором и впредь будут ставиться вопросы Церкви, мира, ребенка и взрослых верующих. Стать как дети означает для автора «обращение» к трем названным главным человеческим свойствам: обретению нами (или «вспоминанию») «потерянных» качеств зависимости (от Бога), смирению (подчинению Богу) и инаковости. Работа подчеркивает, что ребенок служит не только «знаком» Царства (как чаще всего утверждается), но и прямым «указателем» или «образцом», за которым нужно следовать, становясь как дети.

В докладе Марии Клаксон из Швеции «Свобода религии для детей» автор обращается к богословию детства в перспективе права. В ранних декларациях о правах ребенка дети чаще всего рассматриваются в качестве объектов родительского попечения лишь в контексте семьи. Автор предлагает считать детей субъектами, ибо они не суть люди, которыми должны еще стать, но существа, сотворенные по образу Божию, т.е. люди с первого же момента своего возникновения, и жизнь их имеет ценность не только в качестве будущих взрослых, но и в их теперешнем существовании. В 19-й главе Евангелия от Матфея Иисус говорит: *пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне*, иными словами, Он наделяет детей свободной волей, которая может привести их к Нему. Поэтому в христианском богословии дети должны рассматриваться как субъекты. Они не только объекты ответственности взрослых, они сами могут вступать в личные отношения с Иисусом. Таким образом то,

что автор называет «языком прав», становится дискриминирующим по отношению к детям. Само понятие права опирается на миф о рациональном и независимом человеческом существе как обладателе прав. Но во всех правах всегда скрыты чьи-то притязания и интересы. Таков образ человека, который не только принижает ребенка в качестве носителя прав, но и несовместим с богословским пониманием основ человеческого существования. Мария Клаксон предлагает иную концепцию прав, опирающуюся на модель межчеловеческих отношений, на взаимопризнание между людьми на основе общего для всех достоинства как сотворенных существ. Христианское богословие, в особенности богословие детства, должно уделить большее внимание отношениям закона и любви. Закон — не только общественный инструмент, он регулирует идеалы и верования, которые существуют в межчеловеческих отношениях. Поэтому автор заявляет себя горячим сторонником прав детей. Детей надо поставить посреди человеческого общества, как Иисус поставил их посреди учеников.

«Кто этот ребенок, поставленный посреди?» — так начинается доклад Николаса Панотто из Латинской Америки. Для богословия детства этот ребенок Иисуса посреди Его учеников — аксиологический центр. Однако о каком ребенке мы говорим? Дети по-прежнему остаются внешним сюжетом в богословских дискуссиях. Мы всегда используем их как метафору. Но разве ребенок в его реальном существовании, телесности, логике и т.п. не представляет собой «места» или «канала» откровения? Богословие должно создать новое понимание детства, новое полифоническое значение детства. Нам следует поставить вопрос: что для нас наполняется смыслом, когда мы говорим о детстве? В этом случае мы чаще всего имеем в виду сложное переплетение экзистенциальных и межчеловеческих связей. Всякий разговор о ребенке посреди людей означает, что смысл слова «ребенок» включает в себя не только его, но и множество других, связанных с ним факторов, весь окружающий мир с его социальными иерархиями, проблемами, отношениями и т.п. Богословская герменевтика, заложенная в ребенке, состоит в том, что ребенок становится «местом» откровения, и это создает конфликт интерпретаций, касающихся нас самих, наших миро-

воззрений, как и границ нашего представления о действии Бога в мире. Поиск смысла, вложенного в ребенка, требует от нас понимания ребенка, поставленного посреди, как чего-то динамического и сложного в социальном плане. И потому богословие детства — это критическое и пророческое богословие, которое через интерсубъективность, взаимосвязанность всех элементов, относящихся к детству, помогает нам осмыслить и все общество.

Невозможно даже кратким образом передать суть всех интересных докладов и откликов на них, сделанных во время конференции, но последнее, о чем хотелось бы рассказать, это выступление протестантского богослова Фрэнсис Янг, матери ребенка-инвалида. Она представила свою книгу «Зов Артура», *Arthur's call*, где изложена история ее отношений с больным сыном, а через него — с Богом, открывающимся в болезни самого близкого человека. Это уже вторая ее книга о сыне, первая называется «Лицом к лицу». Лицом к лицу с неизлечимо больным ребенком и с Богом, до Кого она хочет достучаться со своими вопросами: как быть, когда у тебя рождается искалеченное существо, которому не суждено стать взрослым? Как поставить его посреди людей? Его, не научившегося ходить, самостоятельно есть, не способного о себе заботиться во всех мелочах жизни, навсегда прикованного к инвалидной коляске? Чей мозг был по непонятным причинам необратимо поврежден из-за кислородного голодания еще в утробе матери?

Как мать, — задает вопрос Фрэнсис, — может верить во всеблагое Творца перед лицом такой судьбы? Артур стал для нее огромным айсбергом сомнений. Я не могла верить в чудеса, — говорит она. Однажды ее, в ту пору профессора систематического богословия в Бирмингеме, пригласили проповедовать в неделю, посвященную психически больным. Для нее это был вызов, который показался ей непосильным. Она начала с размышления над отрывком из Евангелия от Иоанна, где говорится об исцелении слепого. Иисус говорит, что исцеляет слепого для того, чтобы на нем явились дела Божии. Прежде эти слова вызывали ее гнев. Но вот, готовясь к выступлению, она осознала, что эта евангельская история указывает на крест.

Однажды на Пасху Фрэнсис отправилась в Лурд и в Страстную Пятницу решила пройти совместно с другими крестным

путем. На этом пути она встретила Богородицу Марию, о Которой написала потом поэму. Там она увидела женщин, которые несли своих детей Иисусу. Заходящее солнце слепило меня, — рассказывала она. Взяв средний крест с изображением солнца, она поняла тогда, что крест Христов — это крест славы.

Но во время крестного хода Артур вел себя беспокойно, и священник попросил больше не брать его с собой. И Фрэнсис почувствовала себя вновь отвергнутой. Но именно тогда она услышала голос: «Веришь ли ты в Меня или нет, не имеет значения. Бог есть Бог и не зависит от того, что о Нем думают люди». На пути домой Фрэнсис внезапно ощутила призыв к пастырскому служению. Потом она стала методистским пастором, и это призвание было неотделимо для нее от призвания быть матерью инвалида. Оба эти служения как бы слились воедино.

Вернувшись из Лурда, Фрэнсис познакомилась с движением «Вера и Свет», основанным Жаном Ванье в 1971 году. Она провела много бесед с ним, говоря о богословском значении движения *L'Arche* (Ковчег). Опыт Ковчега привел Фрэнсис к пересмотру базовых ценностей западного общества, утратившего ощущение принадлежности к порядку сотворенного и страждущего мира. «Артур вернул меня к пониманию того, что такое человеческое существо в его сути, — говорит она, — и такое понимание давало мне силы в моменты страдания». Этот опыт изменил не только Фрэнсис, но и повлиял на двух ее младших сыновей, братьев Артура, вполне здоровых, взрослых, крепко стоящих в жизни.

Конференция заняла четыре дня интенсивной (более 10 часов в день) работы в атмосфере «роскоши человеческого общения» (Сент-Экзюпери). Эта работа должна быть продолжена. Для автора этих строк общение, сосредоточенное на загадке детства, согревалось еще и эхом памяти об оо. Сергии Булгакове и Льве Жилле, когда-то молившихся здесь и служивших литургию в присутствии Георгия Флоровского, Георгия Федотова и Христианского Студенческого Движения Англии, собиравшихся в этом замке.

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ

Церковь и право:
критика Московского собора
1917–18 годов в богословии
отца Николая Афанасьева

1. Отношение к Собору

Московский собор 1917–18 гг. был выдающимся событием церковной истории последних столетий. Можно спорить о его постановлениях, но нельзя отрицать, что в области церковного управления он взялся разрешить те проблемы, перед лицом которых православная церковь стоит и поныне и решения которых большинство поместных церквей до сих пор избегает. Будучи собором одной из поместных церквей — впрочем, на тот момент крупнейшей и более всего готовой осмыслить вызовы времени — он важен для всего современного православия. Этого не меняет тот факт, что уровень осведомленности о Соборе 1917–18 гг. да и интереса к нему в мировом православии невысок: это связано как с общей скудостью у нас богословски грамотной среды, так и с высокой степенью культурной замкнутости, в которой живут современные автокефальные церкви. Этого не меняет и тот факт, что в самой Русской церкви решения Собора были применены на практике лишь в очень ограниченном масштабе. Из-за начавшихся в Советской России гонений Церковь была почти не способна выполнить постановления Собора, и им пытались следовать лишь ее зарубежные осколки: нынешние Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе, Православная церковь в Америке, Финляндская православная церковь, Сурожская епархия времен митрополита Антония и, в гораздо меньшей степени, Русская православная церковь за границей.

В русской церковной эмиграции авторитет Московского собора 1917–18 гг. был чрезвычайно высок, а отношение к нему трепетным. Для большинства ее представителей, бого-

словов и небогословов, Собор был знаменем, той вехой, от которой православная церковь в России, избавившись от коммунистического плена, должна была начать отсчет своей новой, свободной истории. Случилось, увы, не так. Упования эмиграции не сбылись, во всяком случае, до сих пор. Руководство Русской православной церкви в бывшем Советском Союзе после освобождения на рубеже 1980–1990 гг. от жесткого контроля государства поначалу вроде бы продемонстрировало некоторое влечение к постановлениям Собора: их влияние более всего чувствовалось в Уставе 1988 г. Но затем, по мере материального укрепления Русской православной церкви, а прежде всего, по мере роста благосостояния ее епископата, отношение к Собору ее высшей иерархии и официального богословия становилось все более прохладным, а ее Устав стал редактироваться в сторону отхода и от духа, и от буквы решений Собора. Более того, в 2000-х гг. высшими иерархами Русской православной церкви была инициирована критика решений Собора 1917–18 гг. Она была прикрыта риторикой корректировки постановлений Собора в духе «канонической традиции». Официальные богословы Русской православной церкви следовали пожеланиям своего церковного начальства, а иногда их и упреждали. Накануне Собора 1917–18 гг. каноническая традиция была предметом *долгой, публичной* дискуссии, в которой участвовали десятки лучших богословов, историков и канонистов того времени. Она породила обильную публицистику и немалую научную литературу¹, а каноническая традиция и до сих пор остается предметом споров. Можно лишь гадать, каким образом руководству нынешней Русской православной церкви быстро и без всякой дискуссии удалось познать каноническую традицию столь точно.

В богословии русской эмиграции решения Собора также порою подвергались критике, но она была весьма редка. Часть подобных критических замечаний упомянута в книге отца Иакинфа Дестивеля о Московском соборе². Он приводит отзывы четырех выдающихся богословов эмиграции: Николая Афанасьева, Александра Шмемана, Иоанна Мейендорфа и Георгия Флоровского. Чтение отзывов двух последних авторов убеждает, что они не предлагали сколько-нибудь развернутой критики решений Собора, ограни-

чиваясь отдельными, фрагментарными замечаниями. Ни Флоровский, ни Мейендорф не были последовательными критиками Собора, но лишь указали на слабость некоторых его решений. Более того, будучи еще молодым богословом, о. Иоанн Мейендорф в своей рецензии на книгу Афанасьева «Служение мирян в церкви» выступил оппонентом о. Николая и защитником решений Собора (см. пункт 3 данной статьи). Словом, критические замечания в адрес Собора у Мейендорфа и Флоровского — да и у Шмемана, хотя его позиция несколько сложнее (см. пункт 5 этой статьи) — единичны и не меняют общей картины положительного отношения к Московскому собору в эмиграции.

2. «Церковь Духа Святого»

Самым серьезным критиком решений Собора 1917–18 гг. в русском эмигрантском богословии был протопресвитер Николай Афанасьев, которому — с меньшей настойчивостью — следовал его ученик отец Александр Шмеман. Афанасьевым критика Собора была высказана в трех разных работах: во-первых, в труде его жизни «Церковь Духа Святого» (первые три главы книги, где содержатся интересующие нас страницы, были опубликованы в 1955 г. как самостоятельная книга «Служение мирян в Церкви»), во-вторых, в заметке о «Церковном управлении и учительстве»³ и, в-третьих, в статье «Собор в русском православном богословии»⁴. Эта критика заслуживает внимательного рассмотрения по той причине, что она затрагивает фундаментальные принципы церковного устройства, актуальные в любую эпоху истории Церкви.

Соборы были одной из сквозных тем в творчестве Афанасьева⁵. В своем отношении к ним он был историком, т.е. исходил из реально состоявшихся соборов, а не из богословской спекуляции о соборности. На фоне общей для православного богословия восторженности по поводу соборов его отношение к ним было довольно сдержанным. Эта сдержанность нигде не вылилась у него в систематически изложенную критику института соборов, но некоторый скепсис о. Николая по отношению к этому институту хорошо чувствуется в статье «Собор в русском православном богословии». Афанасьев был одним из немногих православных авторов,

осознавших, что славянофильская категория соборности, чрезвычайно повлиявшая на русскую философию и богословие, да и на сам факт созыва Собора 1917–18 гг., была явлением, мало связанным с реальными, историческими соборами⁶.

Московский собор стал событием героическим, а многие его участники (возможно, большинство) погибли исповеднической смертью в эпоху коммунистических гонений на Церковь. Это, в частности, способствовало и тому, что репутация Собора в русской эмиграции была столь высока. Поэтому полемика Афанасьева с решениями Собора, когда она была высказана, прозвучала полным диссонансом с преобладавшим в церковной эмиграции мнением.

Афанасьев отдавал должное мужеству участников собора, с некоторыми из которых он был хорошо знаком или даже дружен (упомяну митр. Евлогия, о. Сергия Булгакова, проф. Карташова, протопресв. Г. Ломако). Он полагал, однако, что для разрешения кризиса Русской церкви Собор выбрал ошибочный путь. Вместо того, чтобы попытаться ослабить юридическое начало в церковном устройстве, он пошел по тому же пути, по которому Церковь шла уже столетиями, и даже усилил это начало. По-прежнему ревниво оберегая от мирян область священнодействия, Собор призвал их к управлению. И это подлинный парадокс истории, который объясняется тем, что давно утвердившееся в Церкви деление ее членов на посвященных и непосвященных вытеснило основное деление на тех, кто призван Богом к особым служениям, и тех, кто таких служений не имеет. Управление — особое служение (1 Кор. 12, 28; Еф. 4, 11), на которое лаики не поставлены. Афанасьев ссылается на приписываемое Ипполиту Римскому «Апостольское предание» (гл. 8, 2), где дар управления испрашивается для пресвитеров. Участие лаиков в управлении заключается в рассуждении и испытании суждений и решений тех, кто ими управляет, т.е. в *согласии и рецепции*. «Согласие и рецепция означали свидетельство Церкви через свидетельство народа, что предстоятели действуют и управляют согласно воле Божьей»⁷. Афанасьев поясняет, как действовали согласие и рецепция в Древней церкви, но углубляться здесь в эту тему будет неуместно. Важно, что рассуждения о. Николая приводят его к противопоставлению благодатного характера церковного управления праву.

Здесь Афанасьев высказывается вполне категорично, в духе Рудольфа Зоме: «к Церкви неприменимы правовые нормы, т.к. Церковь — благодатный организм»⁸. Ошибка Собора заключалась в последовательном придании всему церковному устройству Русской церкви правового характера. Собственно, это даже не ошибка самого Собора: к ней он был предопределен многовековым развитием Церкви и лишь последовательно провел идею права. Право, давно укоренившееся в Церкви, завело церковное сознание в тупик. И в этом состоит трагизм Собора, ибо в исключительно сложных условиях он сделал героическую попытку последовательной реформы на началах права. Отец Николай подводит итог своим рассуждениям о Соборе вдохновенным пассажем:

«Пример Московского собора, который собрался в исключительно трудное время и члены которого показали много церковного мужества, доказывает, что при самых лучших намерениях церковная реформа не может быть действительной, если она не выводит Церковь из области права, т.к. право в Церкви не является творческим началом. <...> В соответствии с переживаемым моментом в истории русского государства, которое требовало усиления права в своей жизни, Московский собор усилил начала права и в русской церкви. Церковное сознание не отдавало себе отчета, что право, будучи абсолютно необходимым началом государственной жизни, неприменимо к церковной жизни без нарушения основных ее начал, на которых эта жизнь покоится. Всякая церковная реформа должна считаться не только с текущим историческим моментом, но и с принципами церковной жизни, которые нельзя насиловать в угоду чужеродным Церкви началам. Как ни высоки и ни совершенны демократические принципы, которые введены в церковное управление Московским собором, им нет места в Церкви, т.к. Церковь — не демократия, а народ Божий, избранный Самим Богом и Им поставленный на служение в Церкви. Его активность не имеет ничего общего ни с избирательным, ни с представительными началами, а покоится на благодатных дарах. Народ Божий не может быть соправителем с теми, кто через сообщение даров Св. Духа призван к управлению в доме Божьем. Таков вывод из опыта Московского собора, и этот вывод есть древняя норма Церкви»⁹.

3. Полемика с Мейендорфом

Афанасьевская критика решений столь знакового для русской эмиграции собора вызвала, по отзыву самого отца Николая, резкие возражения¹⁰. Не знаю, отразились ли они в печати; возможно, дело ограничилось устными спорами и частной перепиской. Единственный известный мне печатный отклик с возражениями Афанасьеву — заметка молодого тогда о. Иоанна Мейендорфа, бывшего студента о. Николая, а в то время его коллеги по Свято-Сергиевскому институту¹¹. Но она выдержана во вполне умеренном тоне, несмотря на существенные расхождения во мнениях между двумя авторами. Не все утверждения о. Иоанна свидетельствуют о том, что он до конца понял аргументы своего учителя (см., напр., параграфы в конце с. 37 и начале с. 38 заметки). На это Мейендорфу указал сам Афанасьев в ответном отклике «О церковном управлении и учительстве», более пространном, чем заметка о. Иоанна¹². Нам нет здесь нужды входить в подробности полемики двух богословов. Замечу лишь, что она обнаруживает важнейшее отличие идей Афанасьева от мысли Мейендорфа и вообще от преобладающего в Церкви мышления. Учение Афанасьева о служениях можно охарактеризовать как «абсолютный харизматизм». Отец Николай устанавливает церковную норму в отношении каждого служения. В поставлении лаиков через крещение и миропомазание им дается дар царственного священства — дар служить Богу священником как часть Его народа. Для прояснения специфики любого служения Афанасьев обращается к свидетельствам о том, какие дары даются при поставлении на данное служение. То, что не дано в таинствах, не может быть восполнено правом — уставами и указами.

Но не так мыслит Мейендорф. Соглашаясь со многим у Афанасьева, он, тем не менее, возражает ему: как же возможно, что члены народа Божьего священнодействуют со своим предстоятелем, но не участвуют в управлении и учительстве? Такое участие возможно, если предстоятели неспособны к управлению и проповеди или если иначе невозможно выявить царственное священство христиан. За аргументами о. Иоанна чувствуется понимание царственного священства мирян не столько как собственно священства, т.е. дара свя-

шеннодействовать, а как метафоры, свидетельствующей о высоком призвании мирян в *разных* областях церковной жизни. По логике Мейендорфа, служение в церкви не вполне привязано к конкретному дару, получаемому членом церкви в поставлении: этот дар, хотя и дан для определенного служения, в случае нужды может проявиться и в выполнении другого служения. Несмотря на практическое удобство такого подхода, в нем нет последовательности, характерной для афанасьевского отношения к служениям, а потому он вряд ли может быть принят.

4. «Собор в русском православном богословии»

О. Николай вернулся к теме соборов, и в частности Московского собора 1917–18 гг., в одной из последних своих работ — «Собор в русском православном богословии». Здесь он пронизательно замечает, между прочим, что люди начала XX века, готовившие собор Русской церкви, не знали в точности, что такое собор, или, по меньшей мере, они не были согласны по этому предмету. Признавая, что Русской церкви начала века нужна была реформа, Афанасьев вновь задает вопрос, была ли она проведена в соответствии с церковными и каноническими принципами¹³. По мысли Афанасьева, в среде, готовившей Собор 1917–18 гг., возобладали идея, что собор поместной церкви должен представлять все Тело Христово — весь церковный народ данной церкви. Единственным способом осуществить эту идею было введение чисто юридической идеи представительства. Такой собор — собрание разных церковных чинов автокефальной церкви. «Все епархиальные архиереи принимают участие в соборе, но участие клира, монахов и мирян заменено участием их выборных представителей»¹⁴. Это особый, новый тип собора, отличный от исторически существовавших соборов (собора митрополичьего округа, вселенского собора и средневековых поместных соборов Византии или Русской церкви). Именно идея представительства кажется Афанасьеву полностью несовместимой с православной экклезиологией и заимствованной из современной Собору 1917–18 гг. демократической идеологии.

5. Шмеман

Менее развернуто и с меньшей настойчивостью Афанасьеву в критике Московского собора следовал его наиболее известный ученик — о. Александр Шмеман. В одном из примечаний к статье о первенстве (где влияние идей Афанасьева вообще весьма ощутимо) он по-своему излагает идею о. Николая, что Собор 1917–18 гг. понял соборность как представительство церковных сословий. Это подразумевает, что у разных церковных чинов — епископата, приходского духовенства, монашества и мирян — есть свои, отличные друг от друга интересы, которые надо представлять¹⁵. Шмеман вернулся к этой мысли двумя годами позже. Уже не критикуя Собор прямо, он рассуждает о важности правильно найти соотношение между иерархичностью и соборностью и считает редукцией проблемы церковного управления низведение ее до уровня соперничества клира и мирян¹⁶.

Надо, однако, заметить, что устав Православной церкви в Америке, составление которого не могло обойтись без о. Александра (как, вероятно, и без о. Иоанна Мейендорфа), в целом следует кругу канонических идей, намеченных Московским собором 1917–18 гг. И это очень важно для понимания того, как соотносится церковная норма, обоснованная богословски, и шаги к ее достижению, отправляющиеся от реального положения дел в Церкви (см. конец следующего пункта статьи).

6. Оценка критики Афанасьева

Все сказанное выше об отношении Афанасьева и Шмемана к Собору 1917–18 гг. отнюдь не делает их союзниками нынешних православных, критикующих Собор с охранительных позиций. Замечания о. Николая о недолжном юридизме, который Собор усилил в церковной жизни вместо того, чтобы ослабить его, и о заимствовании Собором демократических принципов, неприменимых к Церкви, делались не ради того, чтобы отстаивать преимущества дособорного церковного устройства, всевластие иерархии или принизить достоинство мирян. Афанасьев сам отклоняет высказывавшиеся ему упрёки в клерикализме и заявляет, что «клерикализм и лаи-

цизм появляются в результате распада церковной жизни. Им нет места, когда церковная жизнь сохраняет свое органическое единство»¹⁷. Афанасьевская критика решений Собора 1917–18 гг. исходила не от напуганного ужасами демократии консерватора, но была следствием видения Церкви как особого эона, где господствует — во всяком случае, должна господствовать — Любовь, а не право. То была критика не справа, но сверху.

Согласно собственным взглядам Афанасьева, главная организационная единица христианства — местная церковь, чьи черты разделены ныне между епархией и приходом. Собственно, она и есть церковь. В ней всякое решение принимается на основе *советования*, *согласия* между всеми членами церкви и *рецепции* народом решений предстоятелей. Этот строй выше и демократии, и единовластия, он принадлежит другой плоскости. Право не во все времена было непременным атрибутом церковной организации: Древняя церковь была организована не на принципах права — впервые это отчетливо заявил Рудольф Зом, и с тех пор этот факт никем не опровергнут. По логике Афанасьева, ныне право есть своего рода неизбежное зло, которым Церковь платит за вхождение много столетий назад, в Никейскую эпоху, в союз с Римской империей и за многовековое понимание своих правил как правовых норм, хотя граница между канонами и законами так никогда и не была полностью стерта¹⁸. Задача Церкви как эона любви — если уж не устранить, то минимализировать право. Идея отличия правил Церкви от права, их, так сказать, неправового характера, высказана Афанасьевым во введении к работе «Вступление в Церковь»¹⁹, но нигде не была им развита. Продолжая ход его мыслей, можно предположить, что одно из главных отличий церковных правил от гражданских законов кроется в ограниченности в правилах принудительного элемента. Церковные правила, как и правовые нормы, предполагают санкции за их нарушение. Принуждение к выполнению правил существует, но оно не может включать насилия. Для выполнения правовых норм насилие является крайним, но необходимым средством; в нынешнем обществе принуждение к выполнению законов берет на себя государство. Принуждение же к выполнению церковных правил осуществляется лишь морально, ограничивается идейным

давлением группового мнения, авторитета или власти, но насилия как крайней меры, которая гарантируется в случае необходимости государством, не предполагает.

В системе Афанасьева нет места представительству, идею которого о. Николай считал особенно чуждой Церкви. Но не только представительству. По сути, все организационные *структуры*, стоящие над местной церковью, в евхаристической экклезиологии Афанасьева оказываются второстепенными, факультативными. Местная церковь обретает свою кафоличность не вне себя, объединяясь с другими местными церквями, но внутри себя. Ибо каждая местная церковь — кафолическая церковь²⁰. Вне себя она может искать лишь свидетельства о самой себе. Творческое усилие Афанасьева направлено на прояснение строя местной церкви. Смысл того, что находится над нею — говоря современным языком, надепархиальных структур, — остается у Афанасьева освещенным скупом. Для института соборов, изучению которого о. Николай в молодости посвятил немало времени, в своей зрелой экклезиологии он не нашел сколько-нибудь заметного места. Соборы — лишь одно из частных проявлений *внешней рецепции*²¹. Специальные попытки определить это место соборов в церковном строе были предприняты последователями Афанасьева — Шмеманом и Зизиуласом²².

Идея выборности епископата — наряду с участием мирян в управлении церковью, одно из наиболее известных решений Собора 1917–18 гг. — была частью евхаристической экклезиологии Афанасьева. На основе дошедших до нас данных из истории Древней церкви, о. Николай рассматривал поставление епископа — впрочем, любое поставление — как состоящее из трех основных элементов: избрания Богом, священнодействия поставления и рецепции народом²³. «Избрание Божие в хиротониях епископа, пресвитера и диакона не исключает избрания их самой Церковью», — писал он в «Церкви Духа Святого»²⁴. «Для первоначального церковного сознания избрание Церковью означало избрание всем народом»²⁵. Для о. Николая это норма, к которой он желал вернуться. В своих лекциях по церковному праву, которые фактически были курсом его экклезиологии, Афанасьев рисует постепенное исчезновение епископских выборов как деградацию церковного строя, как утрату местной церковью

своей кафоличности и вытеснение древнейшей евхаристической экклезиологии экклезиологией универсальной²⁶.

При всем отрицательном отношении к праву в Церкви позиция Афанасьева (как и Шмемана) заключалась не в призыве тут же отказаться от него. Учитывая многовековую церковную традицию пониманий правил как права и заслуженно высокую репутацию права в современном обществе, это невозможно. Отец Николай, а вслед за ним и отец Александр критикуют Собор с точки зрения «экклезиологической нормы». В данный момент мы очень далеки от нее, путь к ней не будет короток, и ведут к ней промежуточные шаги. «Относясь критически к той форме деятельности мирян, которая была создана Собором, я не думал и не думаю, что мы здесь сразу должны от нее отказаться. У нас нет сейчас ничего другого, что мы могли бы поставить на ее место»²⁷.

В этой связи фактический отказ высшей иерархии нынешней Русской православной церкви следовать решениям Московского собора 1917–18 гг. (с необходимыми поправками на обстоятельства изменившегося времени), еще более удаляет эту церковь от «экклезиологической нормы». Нынешняя система управления Русской православной церкви, с присущим ей централизмом, назначением новых епископов центральной властью и их перемещением ею же (что по сути мало чем отличается от запрещенной православным каноническим правом практики «отрешенных хиротоний»²⁸), со слабой связью епископа и местной церкви, на деле напоминает ту централизованную систему управления, что сложилась за века в католичестве и в эпоху II Ватиканского собора была вновь обоснована учением о коллегиальности епископата²⁹. Логика универсальной экклезиологии — логика командования и желания церковной власти решать самой, не полагаясь лишний раз на водительство Духа и дары, полученные от Духа другими чинами Церкви, — везде одна и та же.

О. Николай Афанасьев любил на разные лады повторять мысль, что все в Церкви движется Духом, который есть начало порядка, а не анархии³⁰. Это не означает, что все свершившееся в Церкви надо объявлять результатом такого водительства Духом. Это означает, что люди, которым в Церкви дано «право» управления, не освобождены ни от поиска воли Божией, ни от испрашивания совета и согласия у народа

Божия, обладающего собственными дарами Духа. Ибо порядок в Церкви обеспечивается не правом, но Духом, который «разделяет каждому особо, как Ему (курсив мой, — В.А.) угодно» (1 Кор. 12, 11) и «дышит, где хочет» (Ин. 3, 8).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Частично они отражены в работах: *Джеймс Каннингем*. С надеждой на Собор. London: Overseas Publications Interchange, 1990; *Игумен Савва (Тутунов)*. Епархиальные реформы. М.: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2011. С. 33–238.

² *Свящ. Иакинф Дестивель*. Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917–1918 гг. и принцип соборности. М.: Крутицкое подворье. С. 259–276.

³ См. прим. 11.

⁴ *Nicolas Afanassieff*. Le concile dans la théologie orthodoxe russe // *Igénikon* 35 (1962). Р. 316–39. Русский перевод: *Протопресвитер Николай Афанасьев*. Церковь Божия во Христе. М.: ПСТГУ, 2015. С. 611–632.

⁵ См.: *В.В. Александров*. Богословие отца Николая Афанасьева // *Афанасьев*. Церковь Божия во Христе. С. 23–25.

⁶ *Афанасьев*. Церковь Божия во Христе. С. 611–612; ср.: *Дестивель*. Поместный Собор... С. 48–50.

⁷ *Афанасьев*. Церковь Духа Святого. Гл. IV, 2 (с. 64; так как книга существует в нескольких изданиях, я указываю главу и разделы, а также даю страницы по второму изданию — Рига, 1994).

⁸ Там же. С. 67.

⁹ Там же. С. 71.

¹⁰ *Афанасьев*. Церковь Божия во Христе. С. 619 и 470.

¹¹ *И.Ф. Мейендорфф*. Иерархия и народ в Православной Церкви // *Вестник РСХД*. 1955. №39 (4). С. 36–41. Ответ Афанасьева: О церковном управлении и учительстве // *Церковный вестник Западно-европейского русского православного экзархата*. 1956. № 60. С. 18–25. Переиздано: *Афанасьев*. Церковь Божия во Христе. С. 470–479. Далее я ссылаюсь на это издание.

¹² *Афанасьев*. Церковь Божия во Христе. С. 470–479.

¹³ Там же. С. 619.

¹⁴ Там же. С. 622.

¹⁵ *A. Schmemann*. La notion de primauté dans l'ecclesiologie orthodoxe // *N. Affanassieff, N. Koulomzine, J. Meyendorff, A. Schmemann*. La Primauté de Pierre dans l'Église orthodoxe. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 1960. Р. 150. По-русски: *Прот. Александр Шмеман*. Собрание статей. М.: Русский путь, 2009. С. 412 (прим. 49).

¹⁶ Шмеман. По поводу богословия соборов // *Он же*. Собрание статей. С. 417–18.

¹⁷ Афанасьев. Церковь Божия во Христе. С. 470.

¹⁸ Прот. Николай Афанасьев. Вступление в Церковь. М.: Паломник, 1993. С. 8.

¹⁹ Там же. С. 7–8.

²⁰ Афанасьев. Кафолическая церковь // *Он же*. Церковь Божия во Христе. С. 480–515.

²¹ Чуть подробнее см. о ней: Александров. Богословие отца Николая Афанасьева. С. 36–37.

²² Ср.: К.Х. Фельми. Введение в современное православное богословие. М.: Свято-Филаретовский Православно-христианский институт, 2014. С. 232. Шмеман сделал такую попытку, прежде всего, в работе «По поводу богословия соборов» (1962 г.) — см. прим. 16 данной статьи. У Зизиуласса см. работы, собранные в ч. 4 книги: *Metropolite Jean (Zizioulas) de Pergame. L'Église et ses institutions*. Paris: Cerf, 2011.

²³ Афанасьев. Церковь Духа Святого. Гл. IV, I, 6 (с. 96–108); *Он же*. Экклесиология. Вступление в клир. Париж: Вода живая, 1968, гл. 1 (репринт под несколько измененным названием: Экклесиология вступления в клир. Киев: Задруга, 1997).

²⁴ Афанасьев. Церковь Духа Святого. Гл. IV, I, 6 (с. 99).

²⁵ Там же (с. 103).

²⁶ Афанасьев. Экклесиология. Вступление в клир, гл. 3.

²⁷ Афанасьев. Церковь Божия во Христе. С. 477–478.

²⁸ О них см.: Афанасьев. Экклесиология. Вступление в клир, гл. 6.

²⁹ О нем см.: Афанасьев. Учение о коллегиальности // *Он же*. Церковь Божия во Христе. С. 668–682.

³⁰ См., например: Церковь Духа Святого. Предисловие (с. 1, 5–6, 8–9) и Вступление в Церковь. С. 9.



ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ



Беседа с архиепископом Иоанном (Ренето)*

Беседовал протоиерей Живко ПАНЕВ

Отец Живко Панев: Владыка, спасибо, что Вы нас приняли сегодня, и за возможность поговорить о Вас. Вы уроженец Бордо, француз, архиепископ церквей русской традиции в Западной Европе, патриарший экзарх. Как Вы достигли таких высот?

Владыка Иоанн: Совершенно случайно. Я был священником в Шамбези в Православном центре Вселенского па-

* В начале 2013 года, после ухода на покой по состоянию здоровья архиепископа Гавриила (де Вильдера, 1946–2013), для Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе (так называемый Русский Экзархат) в составе Вселенского патриархата начались беспокойные времена. Затянувшаяся процедура избрания преемника архиепископа Гавриила завершилась в ноябре того же года созывом Общего собрания Архиепископии, на котором, с нарушением процедуры выборов со стороны местоблюстителя, был избран архимандрит Иов (Геча), бывший декан Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже. После двух лет, ознаменовавшихся множеством конфликтов, а также параличом администрации, в ноябре 2015 года Вселенский Патриархат решил отставить архиепископа Иова от управления Архиепископией. Местоблюстителем был назначен епископ Иоанн (Ренето), патриарший викарий, направленный до этого в Архиепископию ввиду усложнившегося в ней положения. На Общем собрании Архиепископии 28 марта 2016 епископ Иоанн был избран правящим архиепископом

триарха. Я прослужил в этом приходе 40 лет. Решение меня рукоположить во епископа было принято патриархом Варфоломеем с согласия архиепископа Иова, и это было для меня большой неожиданностью, я этого совсем не ожидал. Откуда я взялся? Я родился в Бордо. Я русским часто говорю: «Я французик из Бордо».

Я стал православным в 22 года. Сначала служил в приходе в Бордо (в то время там был русский приход Архиепископии), затем отправился в Англию к отцу Софронию, где пробыл два года. О. Софроний очень любил, чтобы все получали богословское образование. В процессе учебы я понял, что мое призвание требует от меня чего-то большего, чем просто оставаться в монастыре, и я стал монахом и священником на рю Дарю. В это время архиепископом был Георгий (Тарасов), а Мелетиос — греческим митрополитом. Очень скоро мне доверили руководство православными телевизионными передачами. Я так работал в течение 13 лет. Был на приходе св. Сергия, а через некоторое время меня попросили служить во франкоязычном приходе, основанном в центре Вселенского Патриархата. И я стал регулярно туда ездить, а в 1985-м, по совету патриарха Варфоломея (тогда митрополита), с которым я поделился своими проблемами, стал кли-

Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе. Избрание было подтверждено 22 апреля Священным синодом Вселенского Патриархата. Коренной француз, уроженец города Бордо, владыка Иоанн принял православие в молодости и получил богословское образование в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже, после чего прожил два года в монастыре св. Иоанна Предтечи в Эссексе (Великобритания) под руководством архим. Софрония (Сахарова). В 1974 году был рукоположен в иереи архиепископом Георгием (Тарасовым). Проработав несколько лет заведующим православными передачами французского телевидения, о. Иоанн был назначен настоятелем новообразованного франкоязычного прихода Пресвятой Троицы и св. великомуч. Екатерины в патриаршем центре Шамбези в Швейцарии, служил в приходе. В интервью, данном информационному сайту Orthodoxie.com 5 октября 2016-го владыка рассказывает о пройденном пути и о своем видении задач и будущего Архиепископии. Ссылка на видеоролик с оригинальным интервью: <http://orthodoxie.com/mgrjean/>. Русский перевод публикуется с разрешения редакции сайта.

риком Вселенского Патриархата (непосредственно), так как не было франкоязычного священника в Патриархате. Но я хранил связь с Ариепископией, потому что мое становление проходило в русской традиции, я учился в Свято-Сергиевском институте, мне была всегда близка русская литургическая и духовная традиция, на моем приходе я сохранил эту традицию. Мне всегда она была очень близка. Но я никогда не представлял себе, что могу вернуться в Архиепископию, так как был членом Швейцарской митрополии.

О. Живко Панев: Вы сказали, что обратились в православие в 22 года. Почему Вы стали православным?

Вл. Иоанн: Я пришел в православие не совсем обычным путем. Меня очень интересовала философия, причем как нерелигиозная, так и религиозная философия. Вопрос состоял в том, может ли философия иметь что-то общее с религией и наоборот. И это чтение и привело меня к знакомству с Православной церковью, через Бердяева, у которого я нашел возможность философии очень гуманистической и в то же время близкой к религиозным вопросам. И вот с этого я начал свой путь. Откуда появился этот Бердяев? И я увидел, что он пришел из православной традиции, что у него в доме была часовня. А потом я встретил друзей Бердяева, и они мне помогли. И тогда я принял решение, — а я был католиком, это нужно сказать, я этого не скрываю, — принять веру того, кто открыл для меня философию, в которой возможно христианство. Это моя отправная точка. Затем с некоторыми друзьями я пришел к традиции более монашеской.

О. Живко Панев: И это все случилось в Бордо?

Вл. Иоанн: Да, в Бордо, это было время учебы и поисков. Я многим занимался, но мой главный вопрос всегда был со мной.

О. Живко Панев: И Вы стали православным в Бордо?

Вл. Иоанн: Да, я стал православным в маленькой церкви, которой, к сожалению, уже нет. Это был традиционный русский приход, где я выучил мои первые слова на русском и на славянском.

О. Живко Панев: И затем Вы отправились в Париж в Свято-Сергиевский институт?

Вл. Иоанн: Нет, я продолжил работать, а затем решил поехать в монастырь к о. Софронию, где прожил два года. У о. Софрония я еще не был монахом. Мне посчастливилось

прожить два года в общении с ним, и это оставило неизгладимый след в моей жизни в духовном, человеческом и церковном плане.

О. Живко Панев: Отец Софроний — великий духовник. Что Вас затронуло больше всего в общении с ним?

Вл. Иоанн: О. Софроний научил меня быть свободным. Он хотел видеть людей свободными личностями. Нужно много работать над собой, чтобы приобрести не просто какую-то там свободу, а свободу в свете Евангелия. О. Софроний был очень свободный человек, не в так называемом «православном» духе — фанатичном и экзальтированном. Он был открытым к диалогу со всеми. Мы разделяли трапезу с англиканскими и католическими священниками в духе открытости. Один раз он сказал (это звучит как анекдот): «Завтра придет один англиканский священник. Мы должны научиться есть горошек в английской манере». И мы так и сделали, растирали этот горошек вилкой. Он был шутник, у него было потрясающее чувство юмора. Но в то же время его юмор был точно направлен в цель, он не был пустым. О. Софроний говорил с юмором, но мы при этом прекрасно понимали, что слушать нужно очень внимательно, чтобы следовать нашему духовному пути.

О. Живко Панев: Какие это было годы?

Вл. Иоанн: 1968 и 69 гг. А в конце 1969-го я поступил в Свято-Сергиевский институт.

О. Живко Панев: И там Вы встретили?..

Вл. Иоанн: Русскую традицию в лице о. Алексия Князева, который был для меня отцом, учителем в моем православном духовном пути. Я жил в Свято-Сергиевском институте и видел в о. Алексие человека, живущего в литургии и литургией, человека Слова Божия, великого проповедника и очень человеческого, любящего людей человека. Милосердный до глубины своего сердца, думающий о других, терпеливый. Это была выдающаяся личность.

О. Живко Панев: Были еще великие имена?

Вл. Иоанн: Конечно. Это и о. Борис Бобринской, о. Илия Мелиа, курс гомиластики у нас читал о. Лев Жилле (монах Восточной Церкви). Я знал Кирилла Ельчанинова, Константина Андроникова. Один год я учился у Павла Евдокимова. Еще у Оливье Клемана.

О. Живко Панев: Лекции были на русском или на французском?

Вл. Иоанн: Я попал в хорошее время, когда все лекции были на французском, на русском только «История Русской церкви».

О. Живко Панев: Вас, учеников, было много?

Вл. Иоанн: В то время — да. В группе нас было 8–10 человек. И так четыре года. И из тех, кого я там знал, один теперь — епископ в Кении, другой священник в Греции, еще один — священник в Канаде, и вот я тоже стал священником.

О. Живко Панев: Вы проучились в Институте два года?

Вл. Иоанн: Нет, четыре года. Но с перерывом. Какое-то время я прожил отшельником в Пиренеях: шесть месяцев размышлений. И там мне повезло встретиться с о. Леонидом Хролем, тоже значительной фигурой русского зарубежья. Именно он и убедил меня идти до конца и просить рукоположения.

О. Живко Панев: Это священник, который спас жизнь многим евреям при немцах?

Вл. Иоанн: Да, он спас многих — заключенных, евреев, прошедших через Монтобан.

О. Живко Панев: И там есть улица, названная его именем?

Вл. Иоанн: Да, есть улица его имени и церковь. Я знал его, его сестру и водителя, немного театрального, но очень симпатичного. О. Леонид был человеком большой веры, он служил литургию почти каждый день. Человек большой веры и знания.

О. Живко Панев: И под влиянием о. Леонида Вы решили стать священником?

Вл. Иоанн: Да, я принял решение и вернулся в Париж, где продолжил учиться. И в это время меня попросили включиться в работу православного вещания. Это было через несколько лет после смерти о. Петра Струве. Его жена и Гавриил Мацнев вместе с Константином Андрониковым попросили меня начать этому обучаться. И вот я 13 лет проработал на телевидении.

О. Живко Панев: Телепередачи тогда шли ежемесячно?

Вл. Иоанн: У нас было 13–14 передач в год. Мы делали одну передачу в месяц плюс Пасха и Рождество.

О. Живко Панев: А сегодня?

Вл. Иоанн: Сегодня все точно так же.

О. Живко Панев: А что было после всех этих лет, проведенных на телевидении?

Вл. Иоанн: После всех этих лет на телевидении? Потом меня позвали в только что основанный приход в Шамбези, в центре Вселенского Патриархата. Там я начал налаживать приходскую жизнь.

О. Живко Панев: Это приход св. Екатерины?

Вл. Иоанн: Да, это церковь, посвященная св. Троице и св. Екатерине, под большой церковью, посвященной св. ап. Павлу, построенной в шестидесятых годах.

О. Живко Панев: Это франкоязычный приход?

Вл. Иоанн: Франкоязычный приход, который был основан в 1971 году и официально признан в 1973-м. Я же прибыл туда в 1975-м.

О. Живко Панев: Вы служили там с 1975-го по 2015-й?

Вл. Иоанн: Да, вплоть до 2015 года.

О. Живко Панев: Какой Вы вынесли опыт за эти годы пастырской работы?

Вл. Иоанн: Это были очень плодотворные годы. Священник должен встретить приход, это как брак. Моя жизнь там была очень насыщенной, и я очень рад тому, что пережил. Впервые, потому что было много встреч в человеческом плане, и затем пастырская работа воистину христианская, евангельская. Мы последовательно исполняли круг богослужений. Наш приход очень вырос за это время. У нас было очень много прихожан и замечательная атмосфера в приходе.

О. Живко Панев: И оттуда Вас вызвали, чтобы сначала назначить помощником владыке Иову?

Вл. Иоанн: Тогда Патриархат меня возвел в епископы, чтобы сделать викарием патриарха Варфоломея и чтобы я мог помогать Архиепископии на рю Дарю. Я был послан в распоряжение Архиепископии, таков был план. И затем я выполнял то, зачем меня послали, то, что меня просил архиепископ Иов. Впоследствии Патриархат решил назначить владыку Иова на новую должность и попросил меня быть местоблюстителем. А Совет Архиепископии попросил меня быть кандидатом в преемники архиепископа Иова, которому была доверена новая миссия представителя при Всемирном Совете Церквей.

О. Живко Панев: Вот уже несколько месяцев, как Вы наш архиепископ. Какое Ваше впечатление об Архиепископии? Какое Ваше видение Архиепископии, ее будущего?

Вл. Иоанн: Я снова знакомлюсь с Архиепископией, которую знал прежде. Она пережила трудные, напряженные моменты, но у нее по-прежнему есть миссия служения славянскому миру. Не только русским, которые, конечно, были краеугольным камнем Архиепископии, но и всем тем, кто сблизился с ней позднее, кто прибыл из Украины, Белоруссии, Молдавии, и новым эмигрантам из России, конечно. И Архиепископия — это в одно и то же время место приема, и миссии, и свидетельства Православия. По воле Вселенского Патриархата мы не находимся в узконациональных рамках, мы открыты, и это очень положительно.

Я думаю, что в Архиепископии нужно кое-что изменить (реформировать), но основная забота состоит в продолжении нашей жизни. И мы должны призвать каждого, кто хочет послужить. Мы нуждаемся в дьяконах, в священниках. И это должно быть связано с призванием нашей Архиепископии, чтобы продолжать нашу миссию, но продолжать в нашем духе, который, по выражению о. Софрония, есть дух ответственной свободы, свободы, связанной с ответственностью. Наша свобода — это не свобода делать что угодно. Мы должны взять на себя ответственность за то, о чем мы должны свидетельствовать, за ту миссию, которая нам доверена в отношении тех, кто традиционно входит в нашу Церковь из поколения в поколение, но и всех тех, кто хочет слышать слово Церкви. Я думаю, что мы должны призвать к служению тех, кто укоренен здесь, в нашей Архиепископии. Многие церкви могут посылать к нам священников, но мы не должны думать только об этом. Мы можем приглашать, но сперва нужны люди, которые знакомы с нашей ситуацией здесь, кто может ощутить ткань здешней жизни. Ведь это правда, что стиль жизни православных на Западе не таков, как в Греции, России, Молдавии. Мы здесь в меньшинстве, мы не имеем большой социальной силы. Но у нас есть, о чем свидетельствовать. Мы здесь, и это очень важно для будущего Православной церкви на Западе, чтобы наша Архиепископия была местом открытости, гостеприимства, свидетельства о духовном богатстве православия.

О. Живко Панев: В состав нашей Архиепископии входит и Свято-Сергиевский институт, ректором которого Вы являетесь.

Вл. Иоанн: Да, я ректор, но я думаю, что мы будем двигаться к своего рода канцлерству. Нужно доверять профессорскому корпусу, декану. Но необходимо, чтобы Институт мобилизовался после «года» в кавычках, чтобы вновь выполнять работу, которую мы ждем от него. А именно: быть местом учебы, научных исследований и местом передачи традиций. Мы нуждаемся в этом институте:

1) Чтобы растить наших будущих священников. Не только через заочное обучение, но и на месте, чтобы студенты могли получить нормальное образование.

2) Мы должны принимать студентов в лицензиат. Поэтому нужно, чтобы институт функционировал нормально и в академическом, и в литургическом, и в духовном аспектах. И мы должны вновь обрести ритм жизни, все вместе — профессора и студенты.

О. Живко Панев: Архиепископия призвана хранить и передавать русскую духовную традицию, а также принимать тех, кто ищет православие. Но наша Архиепископия входит в отношения с другими православными юрисдикциями. Каким Вы видите путь к поместной церкви, которую составят все эти юрисдикции? Какова роль епископской ассамблеи во Франции в деле создания поместной церкви во Франции?

Вл. Иоанн: Очень хорошо, что Вы поставили этот вопрос, потому что Всеправославный собор изучал эту проблему, проблему диаспоры. И там мы почувствовали открытость. Да, существуют епископские ассамблеи в определенных регионах, к которым прибавили Азию, раньше ее не было. Цель этих ассамблей — сначала собрать и организовать православных в каждом регионе, несмотря на разногласия с той или другой стороной и церковный национализм. Эти ассамблеи служат цели, во всяком случае мы это слышали из уст наших предстоятелей, организации будущих автономных церквей этих регионов в сотрудничестве со всеми патриархатами, которые там присутствуют.

Первое время каждый патриархат проявляет своего рода эгоизм в том смысле, что они хотят заниматься только своими соотечественниками. Но в будущем, и я надеюсь недалеко, нужно будет преодолеть эгоизм и всем вместе строить

церковное пространство, где все будут чувствовать себя в Церкви. Не в маленьких церковных местечках, а в поместной церкви. Это сознание должно еще созреть. Но собор открыл дорогу к нему. Собор не сказал, что епископские ассамблеи — это конечная цель, наоборот, сами эти ассамблеи — подготовка к будущему.

О. Живко Панев: Владыка, Вы француз, экзарх Константинопольского патриарха, но Вы также и один из отцов, участвовавших в Святом и Великом Соборе на Крите. Можете ли Вы нам рассказать, как все прошло? Каковы Ваши впечатления от Собора, который только что закончился?

Вл. Иоанн: Я считаю, как и многие другие участники, что время, прожитое на Соборе, было очень полезным, положительным. Нам говорили вначале: «Вы знаете, ничего не выйдет, тексты плохо подготовлены, все будет предрешиено заранее». Это были фантазии. Потому что 10 церквей, что там были, 10 предстоятелей дискутировали очень открыто. Многие тексты были исправлены, либо по предложению Румынской, либо Греческой или Польской церкви. Все могли сказать, что они думают, и изменить некоторые тексты. И эти изменения совпадают с теми исправлениями, которые предлагали отсутствующие церкви. Четыре церкви отсутствовали, Вы знаете какие, и это ощущалось как боль для церковного организма. Это отсутствие было неоправданно. Я прекрасно знаю, что были церкви, которые отказались подписать некоторые тексты в феврале во время встречи предстоятелей. Церковь Грузии, Антиохийская церковь. Но несмотря на это, на Соборе эти церкви могли бы дискутировать и внести изменения в тексты, выразить свою точку зрения. Потому что была большая открытость, большая свобода высказаться. Я был захвачен этим. И Вселенский патриарх не вел себя как своего рода учитель, он — открытый человек, человек диалога. И мы дискутировали и пришли к консенсусу, что было очень хорошо. И церкви, не участвовавшие в Соборе, должны внимательно изучить эти тексты. Потому что они были прочитаны много раз, изменены. Тексты очень достойные, нельзя сказать, что они пустые, только потому что четыре церкви не присутствовали. Историки говорили, что на Вселенских соборах не все церкви присутствовали. Да, эти тексты не идеальны, но все предстоятели их приняли, и

я их тоже подписал, все документы. Я смог взять слово два раза, и было все открыто. Некоторые епископы не подписали какие-то документы, как члены делегаций, но это не так страшно. Очень важно, что предстоятели подписали. Теперь нужно посмотреть, как те церкви, что отсутствовали, примут эти документы, и нужно, чтобы они знали, что документы были проработаны и подписаны десятью церквями, которые были представлены на Крите.

О. Живко Панев: Я хочу завершить это интервью вопросом, просьбой дать совет — как жить, как исполнять заповеди Христа сегодня?

Вл. Иоанн: Я не думаю, что это отличается от того, как исполнять Христовы заповеди в III или IV веке. Христианский опыт — опыт одновременно личный и общинный. Сначала жить заповедями Христа в нашей собственной жизни, а затем в литургической общине. Потому что цемент, связующая нить христианской, православной церкви, — это совместная литургическая жизнь. Так как в литургии Святой Дух сходит на нас и на Святые Дары, мы освящаемся каждой евхаристией. А затем нужно быть свидетелями этого Христова Евангелия в нашей каждодневной жизни, которая остается, несмотря на автомобили и электронные средства, той же. Каждодневная жизнь нам дарит встречи, дела, дружбу, труды и радости, все это на нашей Земле. И мы, христиане, привносим Дух Христов, который не есть дух осуждения, но дух гостеприимства, милосердия, терпения, открытости. Я думаю, что современный христианин сталкивается с теми же проблемами, что и христианин третьего или четвертого века. И этот опыт христианский обновляется от поколения к поколению и от личности к личности.

О. Живко Панев: Спасибо, Владыко, за замечательную беседу.

Перевод с французского монаха Михаила Эвельсона



ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ



ЖОРЖ НИВА

«Сталин с нами?»^{*}

Известие, что Нобелевскую премию по литературе получила Светлана Алексиевич, в России было встречено довольно прохладно. И тому есть множество причин. Это русский писатель, никогда не писавший по-белорусски, в отличие от тех соотечественников, к которым она себя причисляет, как Василь Быков, например, писавший по-белорусски и сам переводивший свои тексты на русский. Ее трудно «классифицировать»: в своих публичных выступлениях она, конечно, «либерал», но произведения ее издаются в российских издательствах, а в Минске запрещены к продаже. К тому же, вручив ей премию, Нобелевский комитет тем самым как бы обошел вниманием собственно художественную литературу, важную для современных россиян. А в России сейчас можно найти авторов, романистов, вполне достойных Нобелевской премии: например, Михаил Шишкин или Людмила Улицкая. Интернет-журнал «Гептер», созданный учениками советского социолога Михаила Гептера (1918–1995)¹, провел крутой стол, на котором оживленно обсуждалось вручение Нобелевской премии Светлане Алексиевич.

Участники круглого стола вовсе не обрушиваются на Светлану Алексиевич с критикой, нет, и все же открывает

^{*} Статья была опубликована по-французски, см.: *Nivat Georges*. “Staline avec nous?” // *Le Débat*, 2016 (III), № 190, p. 63–78.

дискуссию утверждение, что «нобелеатка, не имея ни грамма фантазии, все выдумала» (Александр Филиппов). Упрекают Алексиевич в том, что книги она писала с помощью магнитофона, но что сам монтаж цитат при этом не соответствует тем критериям, которыми должен руководствоваться историк; автор «ретуширует» цитаты, чтобы они вписались в замысел книги. Нов или нет сам этот жанр, это отдельный вопрос, но даже сами принципы сборки получающихся в итоге пазлов, какими и оказываются все книги Светланы Алексиевич, тоже менялись в ходе творческой эволюции писателя. Книги «Цинковые мальчики» или «Чернобыльская молитва» тоже составлены из цитат, из рассказов матерей солдат, убитых в Афганистане, или вдов, чьи мужья были отправлены ликвидировать пожар на Чернобыльской АЭС и строить саркофаг над поврежденным реактором сразу после аварии. И все же это очень поэтические книги, настолько силен в них эмоциональный фон. Собранные голоса образуют единый текст, они нас задевают, ведут по пути боли и *метанойи*. Чем и объясняется огромное количество театральных постановок, созданных по «Чернобыльской молитве» во всем мире. Но в последней ее книге «Время секунд хэнд», по-французски озаглавленной как «Конец красного человека», используется все тот же метод монтажа голосов интервьюируемых, но на этот раз он применяется к гораздо более широкому социальному срезу, и поэтому книга как целое выглядит уже проблематично и с точки зрения историка, и с точки зрения литературы. Хотя, конечно, верно, что Нобелевскую премию вручили за все творчество писателя в целом, а значит, в первую очередь, за «Чернобыльскую молитву».

Жанровая специфика такой прозы отнюдь не изобретение Алексиевич, но минская писательница придала ей особое звучание. Людмила Улицкая, тоже, со своей стороны, собрала и выпустила недавно сборник аналогичных свидетельств людей о своем сталинском детстве. Книга получила название: «Детство 45–53: а завтра будет счастье». Здесь звучат голоса либо современников писательницы, либо детей этих современников. Все описывают свои большие надежды и жизнь «двора», где дети проводили большую часть свободного времени (схожее описание мы находим и у Владимира Максимова в его прекрасном романе-репортаже 1971 года

«Семь дней творения»). Улицкая предложила своим корреспондентам написать ей письма с описанием собственного сталинского детства; она получила более тысячи таких писем и представила читателю собственную выборку из них. Их то-нальность ее очень удивила:

«Многие часы я провела с этими бесхитростными и прав-дивыми документами и нашла в них великие образцы состра-дания и милосердия. Многожды перечитав и переворошив полученные письма, прониклась чувством глубокого еди-номыслия, одиночества с народом, среди которого живу. Может быть, впервые в жизни. Но в этом множестве людей я вижу все равно отдельные лица авторов этой книги, большин-ство которых мне глубоко симпатичны, других я полюбила, а некоторых признала за учителей и праведников. <...> До сего времени акты великой жестокости власти по отношению к своему народу — инвалидам войны, ветеранам, сиротам, ста-рикам — загораживали мне отчасти полную картину времени, и только теперь я поняла, в какой загадочный узел завязаны лучшие качества нашего народа и его худшие черты, которые начинают проявляться у его представителей, когда они ока-зываются обложены неограниченной и бесконтрольной, да хоть какой-то, властью».

Улицкую поражает контраст, для нее это открытие. Бердяев объясняет это варварским пленением младенцев в России, другие — тем, что все поглощены будущим в ущерб настоящему. Пушкин приходил от этого в отчаяние и писал в письме к своему другу Петру Чаадаеву, по-французски, причем письмо так и не было отправлено из-за обрушившихся на ав-тора «Философических писем» репрессий: «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равно-душие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние». Но Пушкин при этом отвергает радикально пессимистический взгляд Чаадаева на русскую историю, на то, что в этой исто-рии изначально можно найти одни только ошибки, и завер-шает спор следующей фразой: «...но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы променять отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, ка-

кой нам Бог ее дал». Людмила Улицкая, восхищаясь тем светом, который она видит даже во тьме и жестокости русской истории, очевидно, присоединяется здесь к пушкинскому заключению.

В сборнике свидетельств, собранных Алексиевич, тоже чувствуется постоянное присутствие глубокого раскола. Она словно заводит нас на огромную свалку, куда старьевщик русского социализма собрал разных людей, с просроченным «сроком годности», тех, что чувствуют себя отбросами времени. Один из героев Светланы говорит: «...на нас клеймо, на всех». Другой вспоминает, как после финно-советской войны 1939–1940 гг. обменивали советских военнопленных на финнов, попавших в советский плен: «Финнов, когда они поравнялись со своими, стали обнимать, жать им руки... Наших встретили не так, их встретили как врагов». Все лгали, у всех было ощущение, что им приходится участвовать в трагическом фарсе, у всех, как говорит одна женщина, «горя не один мешок». Вот только мешки эти сегодня снова полны. Этим горем насквозь пропитаны те, кто растратил свою жизнь на коммунистических стройках в целинных землях, где спали одетыми на промерзлой земле, сегодня они поют на Арбате сентиментальные припевы песенника-сталиниста Лебедева-Кумача, позируя под фотоаппаратами иностранцев и протягивая кружку для милостыни...

Алексиевич собирает народ из несчастных бедолаг секонд-хенда, которым нравилось жить в империи, теперь вдруг ушедшей в прошлое, так что они ощущают себя на свалке истории. Ветерана войны не пустили в Москве в ресторан на Ленинградском вокзале: «Как когда-то в Америке: вход неграм и собакам воспрещается». И при этом он добавляет, что была ведь великая страна: «Там мы не делились на богатых и бедных...».

Эта «великая страна» идет скорее от Сталина, чем от революции, та уже слишком далеко, да и слишком она была интернациональна, а вот Сталин заботливо вернул согражданам родину, нашивки, житейское счастье, зрелищный спорт и даже зрелищную политику, больше похожую на религиозную обрядность (начиная с 1943-го), не говоря уж о почти викторианской морали, стыдливо молчащей о сексе... Светлана Алексиевич собрала людей, чувствующих себя от-

бросами истории. Но интервью эти взяты в разное время, авторская мозаика смешивает здесь голоса из разных времен и разных социальных слоев. Конечно, на выходе раздается жалоба, социальный стон: у нас забрали все. Один из самых удивительных свидетелей говорит: «Я смотрю телевизор, слушаю радио. Опять — богатые и бедные. Одни икру жрут, покупают острова и самолеты, а другим на белый батон не хватает. Долго у нас так не будет! Сталина еще назовут великим... Топор лежит... топор хозяина переживет...».

Этот свидетель вряд ли знает о призыве радикалов 1861 года взяться за топоры, и уж тем более он не читал «The Icon and the Axe» (Икона и топор), книгу американского историка Джеймса Биллингтона, но его свидетельство оказывается прекрасной иллюстрацией к ней. От свалки к сверхмощи путь ведь, собственно говоря, недолгий. Один из тех, кому удалось выжить при сталинизме, утверждает: «Россия может быть только великой или не быть совсем». Эту великую сверхмощную Россию не удалось уничтожить, в этом убеждены многие голосовавшие за Владимира Путина и аплодировавшие присоединению Крыма (относительно войны в Сирии они уже не так убеждены). И именно убежденность в том, что распад страны не за горами, вынудила Солженицына согласиться на встречу со вторым президентом России (тогда как встретиться с первым, с Ельциным, он наотрез отказался).

Алексиевич также затрагивает струну ностальгии по империи: была «у всех одна национальность — все советские», все жили дружно и мирно друг с другом, «все вместе, одной семьей — азербайджанцы, русские, армяне, украинцы, татары...» И вдруг в один день все превратились только в армян, азербайджанцев, грузин, абхазцев. Начались погромы в Сумгаите (район в Баку). Молодую беременную армянку соседи прячут у себя, пытаясь спасти ее от ярости обезумевших от крови убийц. Мы слышим ее голос: «Мы думали, что добро победит — ничего подобного! <...> Помолчу... Что-то дрожу вся...» Она приводит слова художника, мужа подруги, даже не армянина, — его настолько потрясло все случившееся с армянами в Баку, что у него случился инсульт. Он вспоминает: «Всю жизнь я боролся с коммунистами. А теперь у меня сомнения: пусть бы нами правили эти старые мумии, цепляли друг другу очередные Звезды Героев, а мы не езд-

ли бы за границу, не читали запрещенные книги и не ели пиццу — пищу богов. Но та маленькая девочка... она осталась бы жива, никто бы ее не подстрелил...» В одном памятном разговоре, который мне посчастливилось вести с Марленом Коралловым², он тоже удивлялся, что дружба между народами развеялась, как фантом. И Василий Розанов прежде тоже изумлялся тому, как империя «слиняла в два дня», ну, может быть, в три. То же самое произошло еще раз и семьдесят лет спустя. Одна из «красных» героинь Светланы Алексиевич вспоминает: «Нас учили... Больше всего нас учили любить товарища Сталина. Первое в своей жизни письмо мы писали ему — в Кремль. Это было так... Когда мы выучили буквы, нам раздали белые листы, и под диктовку мы писали письмо самому доброму, самому любимому нашему вождю. Мы очень его любили <...> Смотрели на его портрет, и он нам казался таким красивым. Самым красивым на свете! Мы даже спорили, кто сколько лет своей жизни отдаст за один день жизни товарища Сталина». Сирота, оставшаяся без матери и растущая в казарменном режиме детдома, мечтает вырасти, вступить в комсомол и бороться с невидимыми врагами, пытающимися разрушить нашу счастливую жизнь. «Как жить без мамы, я уже знала. Но как жить без Сталина?»

Жизнь под Сталиным

После конца СССР вышло немало книг, где предпринята попытка объяснить, как жили под Сталиным. Новое поколение историков представлено Олегом Хлевнюком, успевшим поработать в архивах, когда они уже открылись и еще не успели закрыться. Его вышедшая в 2010 году книга «Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры» определила суть «сталинской революции» начиная с 1929 года как революции, в основании которой лежат принудительная коллективизация, война против крестьянства, утверждение совершенно безумных экономических задач и нормативов, зарождение того, что Хлевнюк называет «кризисным прагматизмом»: Сталин создал новую модель Политбюро, убрал тех, кто был ему ровней, вместо них поставил новых людей, которые были полностью в его власти, продублировал партию правительством, затем сформировал Комитет обороны, кото-

рый так никогда и не будет заседать *in corpore*. Он лично то раскручивает, то ослабляет машину, созданную для убийств и депортации людей — НКВД, — сначала возвысив Ежова, а потом сместив его, запустив кампанию «социального примирения» (когда те, кого прежде считали социально чуждыми, получили право голоса на выборах), породив призрак «пятой колонны» (понятие, позаимствованное у Франко и вновь появившееся на сцене в сегодняшней России).

Хлевнюк приходит в своем исследовании к выводу, что и в репрессиях, и в ритме индустриализации импульс всегда приходил сверху; иными словами, та гипотеза, которую нередко защищают западные историки, об общественных низах, которые требовали все больших и больших жертв, и о терроре, который центр перестал контролировать, — это просто миф. Сталин управляет всем, даже операциями по уничтожению отдельных людей. Механизм его борьбы за власть и укрепления власти, его все возрастающая склонность к садизму, все это представлено в опоре на архивные документы. Хлевнюк показал также, что даже если в 1931-м голодающая страна и была готова взбунтоваться, самому Политбюро при этом никакой «раскол» не грозил. В 1936-м Б.И. Николаевский, издатель эмигрантского «Социалистического вестника», опубликовав в нем «Письма старого большевика», бросил всем эту ошеломляющую новость, будто бы конфиденциально сообщенную Бухариным во время его поездки в Париж в 1936-м, незадолго до показательного процесса над ним. Вдова Бухарина в своих «Воспоминаниях» решительно опровергает эти признания. И Хлевнюк приходит к выводу, что у нас нет никаких доказательств того, что в Политбюро был раскол между «умеренными» (с Кировым во главе) и «сталинистами». Так что под гипноз поддавали не только простые строители и защитники социализма.

Конечно, персонажи Алексиевич не читали книгу Хлевнюка или подобные ей, но зато многие из них наверняка читали книгу генерала Дмитрия Волкогонова, вышедшую в начале перестройки «Триумф и трагедия. Политический портрет Сталина», — затем вышло и ее продолжение в двух томах. Волкогонов дослужился до генерала и был официальным пропагандистом: его книги, скинувшие идола с пьедестала, но так и не затронувшие проблему на ее глубине,

сильно будоражили читательские умы в свое время. Один из героев Алексиевич заявляет: «Он нарушил присягу». Волкогонов умер в 1996-м, но его книги в Интернете востребованы до сих пор, как и произведения тех, кто тоже внес свою ошутимую лепту в развенчание Сталина, ставшее для многих шоком: это и «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, и пьесы Шатрова, фильмы того времени Никиты Михалкова, например, «Утомленные солнцем». Зато Солженицынский «Архипелаг ГУЛАг» до сих пор подвергается яростным нападкам в Интернете. Его вдова составила антологию из глав этой книги. Книга на сегодняшний день оказалась слишком длинной для современного читателя, тогда как еще вчера ее уносили тайком под пальто почитать, на три дня и три ночи. В сокращенном варианте книга включена в школьную программу; и при этом на ее автора и сегодня продолжают нападки, его честят предателем, офицером-изменником, стукачом, работавшим на КГБ.

В августе 2015-го писателю установили памятник во Владивостоке, первом крупном российском городе, где он выступил с речью, возвращаясь в Россию в 1992-м. На следующий день на шею памятнику привесили картонную табличку с надписью: «Иуда». Юный сталинист, автор этого «шедевра», мгновенно стал знаменитостью³. Тогда вдова и дети Солженицына публично обратились к жителям города: «А мы с недалёковидной легкостью все чаще делим сограждан на “своих” и “предателей”, мы как страна так и не обсудили и не покались в преступлениях коммунистического режима против своих же людей, не хотим, говорят, “ворошить тяжелую тему”. Но приходится признать, что если не сделаем это, то нам еще “аукнется”».

Реабилитация Сталина

Постсоветская коммунистическая партия и возглавляющий ее Геннадий Зюганов предприняли целый ряд попыток реабилитации Сталина; неожиданно на их стороне выступил и Исследовательский центр Александра Зиновьева, продолжающий дело великого логика, сатирика, автора «Зияющих высот». Под конец жизни Александр Зиновьев стал личным другом Зюганова. Сам же Зюганов написал хвалебную книгу о Стали-

не и сталинском времени. По случаю 60-летия со дня смерти Сталина были организованы в 2013 году конференции в его честь, газета «Правда» целый номер посвятила реабилитации этого государственного деятеля, экономиста, генералиссимуса и даже лирического поэта (писавшего по-грузински). Газета утверждает, что Сталин нужен нам не только в прошлом, но и в будущем, и в качестве подтверждения ссылается на опрос, в котором 49 % россиян ответили, что России нужен новый Сталин. Летом 2016 года новый, посвященный Сталину музей открылся в Пензе, притом что в России нигде нет ни одного музея, посвященного Советскому Союзу. Московский исторический музей на Красной площади заканчивает свой обзор истории началом XX века. В ноябре 2015 года в Москве открылся Музей истории ГУЛага, немного заполнивший собой музейные лакуны. Он показывает толпы сторонников Сталина, дает список жертв, где даны не просто имена, но портреты людей, выведенные на большой экран, демонстрирует предметы, сделанные руками заключенных. Сама суровая архитектура здания музея, бывшей фабрики, очень удачно сочетается с темой, но экспозиция дает все же неполную картину сталинских времен, да и не так много людей посещают этот музей. А 11 октября сего года (2016-го) повесили у дверей этого музея чучело с портретом Солженицына...

В книжных магазинах лежит множество книг о Сталине, на выбор, например, сочинения Сергея Кремлева. У его книг весьма красноречивые заголовки: «Иуды в Кремле. Как предали СССР и продали Россию», «Семь побед Берии. Во славу СССР!», или еще такая: «Имя России: Сталин». Кремлев критикует всех, кто писал о Сталине до или после перестройки, например, братьев Медведевых. Он утверждает, что образ Сталина сегодня дан совершенно неверно. И не только Сталина. По его мнению, нужно выправлять всю историю России, неверно изложенную. Вот несколько примеров: принято считать, что русские призвали когда-то на правление варягов. Ложь! Варяги сами пришли тогда в богатую Киевскую Русь, чтобы стать наемниками⁴... Или еще: опричнина Ивана Грозного была просто царской армией... Или еще, на Первом Всесоюзном съезде писателей присутствовали, по национальностям, 243 делегата славянских национальностей и 113 евреев...

По телевизору в честь все той же годовщины показали цикл из шести документальных фильмов, талантливо снятый Владимиром Чернышевым в сотрудничестве с историком Юрием Жуковым, старым партийным номенклатурщиком и автором книги «Иной Сталин». Иной Сталин — это такой Сталин, о котором стало не принято говорить после десталинизации, великий менеджер и великий стратег, обеспечивший счастливую и нормальную жизнь советскому народу. Фильм «Сталин с нами» недалеко от противопоставления Сталина с его «революцией» Ленину и ленинской революции. Воссоздание в России семьи, патриотизма, искусства, счастливой повседневности, а с 1943-го еще и религии, разводит в итоге сталинизм с ленинизмом. В фильме высказываются и критические замечания в адрес диктатора, а некоторые важные эпизоды показаны в совершенно новом свете: например, допрос убийцы Кирова, или «кремлевский заговор» 1937 года, падение и допрос Ежова, его склонность к гомосексуализму, в которой он признается на допросе. Есть и сатирические штрихи, например, дифирамбы, которые пел Сталину старый казахский поэт Джамбул («Гимн Октябрю», «Песнь о батыре Ежове», «Наш Киров»). Джамбул всегда выкручивался из всех трудных ситуаций и все громче воспевал вождей со все той же «восточной» истеричностью. Но при всем при этом, показав зрителю личную жизнь Сталина, его обеспокоенность известием об убийстве Кирова и его решительность во время войны (а авторы фильма считают неправдой слух, что Сталин прятался в растерянности на даче первые десять дней после 22 июня 1941-го), фильм оправдывает пакт с Гитлером, показывает аскетизм человека и в конце концов умудряется создать довольно симпатичный образ Сталина, не скрыв при этом от зрителя его диктаторских наклонностей. Постоянным рефреном в фильме звучит вопрос: почему Сталин всегда с нами? Почему одни его обожают, а другие ненавидят?

Новый способ преподавать историю

Учебники истории, выпущенные в 1990-е годы, постепенно изымаются из оборота. Целые словесные баталии разразились вокруг идеи единого учебника истории. Такие учебники (должны выйти в трех издательствах) еще не опубликованы,

и они не будут одинаковыми для всех классов, остаются варианты, но все же все они следуют генеральной линии, озвученной президентом Путиным в феврале 2013 года, то есть они должны быть написаны: «в рамках единой концепции, в рамках единой логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого». Итак, генеральной линией становится патриотизм. Притом что непрерывность как раз не очень вписывается в российскую историю. Дебаты об истоках русского государства и приверженность версии неславянского происхождения государства и первой из двух царских династий — династии Рюриковичей (как и второй династии, Романовых, после Екатерины II) стало когда-то одной из причин ареста студента и советского диссидента Андрея Амальрика. Мы видим, что и сегодня версия происхождения власти от варягов вновь и вновь подвергается сомнениям и пересмотру, и это притом что речь в ней идет о событиях... X века. Детоубийства, отцеубийства и царубийства, которыми кишит русская история, также стали проблемой, как и феномен самозванцев, объявлявших себя царями, которых тоже было немало в русской истории после смерти Бориса Годунова и вплоть до казни Пугачева на Болотной площади в 1775 году.

И уж тем более проблему представляет весь советский период. Даже главе государства не очень удастся выдержать единую линию в своих высказываниях по этому вопросу. В январе 2016 года он даже заявил на заседании Совета по науке и образованию, что считает Ленина ответственным за развал СССР, потому что именно Ленин построил ту советскую федерацию, которая рухнула в 1991-м: «Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом». Путин ведь довольно давно уже утверждает, что Беловежские соглашения 1991 года стали настоящей катастрофой — вот он, тот самый взрыв! — и вот теперь нашелся ответственный за него — Ленин! Враждебностью, теперь уже нескрываемой, к основателю Советского Союза, конечно, и можно объяснить, почему правительство все же поддержало идею включения в школьную программу «Архипелага ГУЛаг» в его сокращенной версии. Ведь пока в школах проходят «ГУЛаг», еще остается возможность разъяснить тот обрыв истории, к которому привел нас коммунистический (и не только сталинский) террор.

Зато невозможно объяснить поражения Красной Армии в первые два года Великой Отечественной войны. Культ победы, вылившийся в настоящую официальную идеологию, всячески замалчивает горестный итог потерь и поражений первых двух лет войны. И он же оказывается связующей нитью с позднесоветским режимом, так как родился этот культ при Брежневе, и стал при нем похож на заклинание, охватывая всех советских граждан всех возрастов, от ясельного до пенсионного. Некоторые оппозиционеры даже говорят сегодня о демонической одержимости победой — «победобесии».

Впечатляющий мемориал на Поклонной горе в Москве построен как раз с целью увековечить память о Победе: это огромный парк с обелиском, с православной церковью во имя святого Георгия Победоносца, с синагогой и с мечетью, — именно там каждый год 9 мая отмечают День Победы, на том самом месте, откуда Наполеон глядел на Москву в тщетной надежде, что ему принесут ключи от города. Вообще, двойная амнезия, вызванная в XX веке сначала большевизмом, а затем его падением, все еще продолжает оставаться замолчанной и непонятой.

Парадоксально, что именно под конец советского периода появились тексты, острее всего критикующие бесчеловечность сталинской стратегии. Это произведения Виктора Астафьева, в частности, его роман «Прокляты и убиты», и Валентина Распутина, особенно его повесть «Живи и помни», о дезертире, тайком вернувшемся в родные места под Иркутском. Но похоже, что эти великие произведения сегодня уже не пользуются таким спросом у читателя, как в начале перестройки. О Второй мировой войне (или Великой Отечественной войне, как ее называют русские (первой Отечественной войной была война 1812 года)), теперь пишут книги, в которых звучат антизападные обвинения: например, книги Наталии Нарочницкой, главная задача которых — так подать историю, чтобы защитить советские позиции, оправдать пакт Молотова–Риббентропа и вызванные им перекройки территорий. Ее книга «За что и с кем мы воювали» призвана решить первую задачу. Критика западного подхода к вопросу о развитии событий в начале Второй мировой решает вторую задачу. И наконец уравнивание «диктатора»

Совета Европы с «диктатом» III Интернационала как бы устанавливает общий закон геополитического цинизма.

В коллективном труде, вышедшем под ее редакцией, «Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну?», проводится переоценка роли западных держав в ходе этой войны. «Теперь в Европе, “вольность, честь и мир” которой искупила вновь наша русская кровь и наша советская армия, которую встречали в европейских столицах неистовым восторгом, открыто называют Советский Союз еще худшим тоталитарным монстром, чем нацистский рейх. Европейский парламент, попирая международное право и Устав ООН, называет Курильские острова территорией “под российской оккупацией”. Парламентская ассамблея Совета Европы принимает резолюцию об осуждении преступлений “коммунистических тоталитарных режимов”». Советско-германский пакт, подписанный 23 июня 1939 года, который «неполиткорректный» историк Эрнст Нольте назвал «европейской прелюдией» ко Второй мировой войне, становится главной мишенью патриотической ревизии сегодняшней российской историографии, развенчивающей западный подход. Уже не важно, был ли Сталин тогда циничен, или просто неосторожен: важно, что Сталин хотел этого пакта и им спас СССР не только в тот исторический момент, но и позволил в будущем сохранить фундаментальные интересы России пред лицом демонического плана Запада — вырвать страны Восточной Европы из советской орбиты. «Именно поэтому пакт Молотова—Риббентропа 1939 г. — это крупнейший провал английской стратегии за весь XX век...». Так пакт становится уже условием победы русских в XX веке и сталинской стратегии, ясновидения вождя.

Сегодня книги американского историка Тимоти Снайдера «Кровавая земля» и «Черная земля»⁵ пролили новый свет на вопрос о немецкой оккупации Восточной Европы (польские, балтийские и советские территории, а некоторые «несчастливые» территории подверглись даже двойной или тройной оккупации — немецкой, затем советской, потом снова немецкой накануне возвращения в СССР). Снайдер переведен на украинский, но, видимо, не скоро дождется перевода на русский язык. Тематика его книг почти отсутствует как в русскоязычной литературе о войне, так и в историографии,

хотя сегодня к ней уже начинают понемногу обращаться. Например, в 2012 на эту тему вышла книга и в России: «Свершилось. Пришли немцы!» Идеиный коллаборационизм в СССР в период Великой Отечественной войны»⁶. Книга представляет собой публикацию двух текстов «коллаборационистов», с примечаниями. Наиболее интересный из них озаглавлен «Дневник коллаборантки». Автор — женщина, жившая в Царском Селе и дружившая с четой Ивановых-Разумников. Иванов-Разумник был автором вышедшей в 1906 году «Истории русской общественной мысли», затем активным участником революционного движения, эсером, издателем и другом поэтов Блока и Белого. Во время войны попал в зону немецкой оккупации и затем остался в Германии как Volksdeutsch. Автор «Дневника коллаборантки» тоже уехала в Германию. Текст был написан в Германии после войны и опубликован в 1954-м во Франкфурте-на-Майне в эмигрантском журнале российских солидаристов «Грани». «Дневник» начинается записью от 22 июня 1941 года: «Неужели же приближается наше освобождение?» Иллюстрации показывают нам русских женщин, спешащих приветствовать немецких освободителей на улицах Краснодара. Второй текст написан директором школы, оставшимся на своем посту при немцах. Тут автор радостно сообщает: «При отступлении Красной армии в занятых немцами областях осталось 70 миллионов человек, которые не хотели уйти с большевиками. При отступлении немцев на Запад бегущие от большевиков забивали все дороги. В занятых немцами областях стояло под ружьем, в добровольческих антибольшевистских соединениях более 500 000 человек. Несмотря на гитлеризм!»

Книги вроде этой совсем не вписываются в ту линию, которую задает нынешний министр культуры России, а доказывают, что в научных публикациях все еще существуют плюрализм и свобода научных исследований. Министр Владимир Мединский, выпускник МГИМО, в своих книгах и передачах активно борется с «ложными мифами», загромаждающими историческую память русского народа: это, например, пьянство, склонность к воровству или «тюрьма народов». Патристические сочинения министра продаются как бестселлеры, прежде всего книга «Особенности национального пиара. Правдивая история Руси от Рюрика до Петра» (2010). Медин-

ский возглавляет Российское военно-историческое общество, основанное в 2012 году указом президента Путина для развития патриотических тенденций. А министр культуры и министр обороны сопредседатели этого общества.

Академия наук, создание которой восходит к Петру I и которая отказалась исключить из своих рядов академика Сахарова, тоже сегодня остается одним из очагов «сопротивления». Так в Москве, в Институте всеобщей истории РАН вышла книга, созданная совместно с германскими коллегами: «Россия—Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти». В книге затронуты трудные вопросы истории, такие как немецко-советский договор о ненападении или советская культура в ГДР. Почти все главы написаны в соавторстве попарно российскими и германскими историками, кроме шести глав, в которых такое сотрудничество потерпело крах (и тогда две статьи в книге на одну и ту же тему идут параллельно друг другу). В Институте истории РАН 1 марта 2016 года произошло знаковое событие: защита первой в России диссертации, посвященной армии Власова. Ее автор, молодой историк Кирилл Александров, давно занимается этой темой, у него по ней немало публикаций, в частности, глава в коллективном труде «История России. XX век», выпущенном под редакцией Андрея Зубова⁷. Он много работал в российских и иностранных архивах, изучил более 160 досье офицеров РОА. Как только появилась информация о предстоящей защите, на автора посыпались ожесточенные нападки со всех сторон; семь авторов, в числе которых был и священник, составили сообща статью, обвиняющую Александрова в реабилитации «генерала-предателя». На примере изученных досье диссертант показал, что коллаборационизм русских военнопленных, примкнувших к Власову, главным образом был вызван антисталинскими мотивами и что примерно половина власовцев были из эмигрантов. Несмотря на давление и даже жалобу в прокуратуру на предмет «призывов к развязыванию агрессивной войны», директор Института прекрасно держался в этой непростой ситуации, а диссертационный совет почти единогласно присудил Александрову степень доктора наук. Но степень еще должен утвердить ВАК в Москве, и текст диссертации еще ждет публикации. Сам факт этой защиты, однако, в свете последних веяний стал знаковым и

обнадеживающим⁸. Появление подобных текстов в издательствах для большой публики и защита диссертации на такие острые темы уже несут в себе момент новизны и надежды в контексте всего того, что происходит в настоящее время в России. Ведь нынешний министр культуры официально заявляет, что задача преподавания истории в школе состоит в воспитании патриотизма.

Есть и другие публикации об армии Власова. Например, книга Ростислава Завадского «Своя чужая война. Дневник русского офицера вермахта 1941–1942 гг.». Олег Бэйль в предисловии к этой книге пишет о мотивах, побудивших некоторых эмигрантов записаться добровольцами в немецкую армию и в армии некоторых союзников Германии. Эта публикация оказалась еще одним вкладом в изучение истории коллаборационизма. Завадский входил в состав штурмовой бригады СС «Валония» Дегреля. Как ни странно, публикатор и автор предисловия толкует публикуемый документ с помощью философии Ивана Ильина, а эмигрантский философ Иван Ильин в современной России как бы официальный философ режима, его читать порекомендовал президент Путин. Ильин писал своему другу, тоже эмигранту, писателю Ивану Шмелеву: «...многие наивные русские эмигранты ждали от Гитлера быстрого разгрома коммунистов и освобождения России. Они рассуждали так: “враг моего врага — мой естественный единомышленник и союзник”. На самом же деле враг моего врага может быть моим беспощадным врагом. Поэтому трезвые русские патриоты не должны были делать себе иллюзий».

В 2009 году министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Шойгу, советский генерал, родившийся в южной Сибири, в Тувинской автономной области, предложил принять закон, устанавливающий уголовную ответственность за дискредитацию победы СССР над нацистской Германией. Законопроект этот долго и бурно обсуждался, предлагали ввести жесткие санкции против иностранцев, занимающихся дискредитацией, особенно в отделившихся постсоветских республиках (прежде всего, в странах Балтии), где советский период принято называть периодом «оккупации»⁹. Законопроект этот тогда так и не был принят, но

отголоски от него идут по сей день, так что осуждение «дискредитантов» кажется многим уже чем-то само собой разумеющимся. На первый план тут выходит конфликт с Украиной и отношение Украины к прошлому, воздвижение памятников Бандере и отношение к нему как к герою. Украина проводит политику памяти и на законодательном уровне принятием закона, карающего за отрицание того, что там принято считать «Голодомором», т.е. голодом, искусственно вызванным Сталиным на Украине в 1933-м, описанным Василием Гроссманом в повести «Все течет». Тогда как точка зрения русских историков, и Александра Солженицына в их числе, на это событие состоит в том, что речь в данном случае идет об украинской версии более общего геноцида, нацеленного на уничтожение всего крестьянства в стране.

Решение Парламента Совета Европы о приравнивании нацизма и сталинизма, принятое в 2012 году, вызвало бурные реакции протеста, — мы уже видели возмущение госпожи Нарочницкой, — и вновь запустило полным ходом кампанию по борьбе с фальсификацией истории Второй мировой войны. «Фальсификаторов» изобличают и спикер Госдумы Сергей Нарышкин, и сам патриарх Кирилл; с ними борются даже в школьных учебниках, что и подтолкнуло президента к решению создать «Единый учебник по истории», который бы защищал российское прошлое на всех его стадиях и во всех ипостасях. На самом деле вышли три «линейки» учебников. Во главе рабочей комиссии академик Чубарьян, директор Института всемирной истории Академии наук с 1988 года... Новый учебник активно обсуждался и вошел в оборот в сентябре 2016 года. Многие учебники, издававшиеся после 1991 года, финансировались венгро-американским миллиардером Джорджем Соросом. Его фонд «Открытое общество» более двадцати лет, начиная с 1987 года, активно помогавший российским библиотекам и ученым, в сегодняшней России официально признан Генеральной прокуратурой нежелательной организацией. Весной 2015 года был принят закон, запрещающий на территории России деятельность «нежелательных неправительственных организаций», и это вдобавок к ранее принятому закону, обязывающему любую российскую организацию, получающую иностранное финансирование, объявлять себя «иностраннным агентом». Если же

она этого не сделает, то ею займется прокуратура. Так была закрыта весной 2015 года основанная Еленой Немировской Московская школа политических исследований, подготовившая сотни российских политиков и политологов. От всего этого возникает впечатление, что сегодня две России сосуществуют параллельно, по обе стороны от постамента, на котором возвышается фигура президента Путина.

Есть либеральная, ельцинская Россия, уже не раз выходявшая на площадь, — особенно символичным стал митинг на Болотной площади в Москве в декабре 2011 года. Эта Россия продолжает публиковаться, у нее еще есть в запасе «Новая газета», радиостанция «Эхо Москвы» и канал интернет-телевидения «Дождь». Но ее часто преследуют, если она выступает слишком открыто (например, обвинение братьев Навальных), и, с другой стороны, похоже, что и она утратила уже силы и энергию, протестное движение пошло на спад. И есть совсем другая Россия, страна общественного мнения, формируемого государственными телеканалами: например, показываемым по первому каналу по понедельникам ток-шоу «Поединок» с Соловьевым, где разгораются истерические дебаты, в которых часто принимает участие лидер Либерально-демократической партии Жириновский, предложивший России, Румынии, Венгрии и Польше поделить между собой Украину, отрезав себе по куску, — мол, тогда от нее останется лишь казацкая Украина левобережья Днестра (места «Тараса Бульбы»). Эта вторая Россия теледебатов видит в первой всего лишь «пятую колонну», фальсификаторов, работающих на «оранжевые революции», и американских марионеток.

Постоянными гостями «Поединка» являются коммунист Зюганов и писатель-националист Александр Проханов. В одном из споров с Жириновским Проханов отстаивал недавно память Ленина. Станные дебаты, с яростными выкриками и бурей эмоций, где участники путают источники информации и их интерпретацию. Один кричит: «Убийца царской семьи!» Другой: «Учитель справедливости!» К лагерю тех, кто придерживается этого мнения, можно отнести и перебежчиков, некогда бывших сознательными оппозиционерами: например, писателя Эдуарда Лимонова, отсидевшего в тюрьме и обратившегося в сталинский патриотизм, или Захара Прилепина, из оппозиционера превратившегося в ярого

сторонника донбасских сепаратистов. Прилепин — талантливый писатель, его роман «Обитель» описывает историю советского Соловецкого лагеря как своеобразное завершение Серебряного века: священники и интеллектуалы в лагере устраивают что-то вроде платоновских пиров в бывших монашеских кельях, и все это перемежается каторжным трудом, издевательствами, убийствами и сделками с блатными.

Совет Федераций передал в 2015 году Генеральной прокуратуре РФ «патриотический стоп-лист», в который вошли 12 нежелательных организаций, предложив проверять их время от времени. Доходит до смешного: например, когда «иностранным агентом» объявили фонд «Династия», созданный российским предпринимателем и инженером Дмитрием Зиминим, щедро тратившим свое состояние на финансирование важных научно-исследовательских проектов. Эта охота на ведьм еще не завершена, но порой приостанавливается. Например, пока еще нет прямых нападок на общество «Мемориал» как целое¹⁰.

Концепция «русского мира»

Чтобы лучше понять ту идеологию, которую официально пытаются навязывать сейчас стране, стоит, пожалуй, поразмышлять над концепцией «русского мира». Родилась она в 2002 году на Международном совете российских соотечественников. Фонд «Русский мир» возглавил Вячеслав Никонов, историк, внук Молотова. Работает фонд с размахом, публикует красивый журнал, у него больше сотни филиалов за рубежом, от Китая до Бразилии. В его основании принимал участие патриарх Алексей II. Сегодня это одно из приоритетных направлений деятельности и нового патриарха Кирилла. Концепция «русского мира» растет, укореняется в русской культуре: в средневековой Руси и в России Николая I (придумал ее, якобы, граф Уваров, автор формулы «православие, самодержавие, народность»). Означает она самодостаточную и автономную цивилизацию, и даже нечто как *pax russica*, т. е. эквивалент *pax romana*, амбивалентность слова «мир» в русском языке (мир как то, что противоположно войне, и как географическое понятие) позволяет такое расширение. Эта *pax russica* включает в себя русскую и православную общ-

ность, *koinè*, превосходящую не только границы РФ, но даже границы русского языка. Президент Путин объявил сначала о праздновании «года русского языка», а затем «года русской литературы», а патриарх Кирилл в 2013-м вручил президенту Путину первую премию Всемирного русского народного собора «за сохранение державной России».

В каком-то смысле территория, подвластная патриарху, даже больше той территории, которой правит президент: каноническая территория включает в себя Украину, Белоруссию и страны Балтии, где у Московской патриархии немало своих приходов, — за юрисдикцию над остальными, правда, ей приходится соперничать с Константинополем, — и не только там, территория эта, можно сказать, простирается по всему миру¹¹. Ефим Пивовар, историк, близкий к президентскому окружению, определил русский мир как широкую общность, включающую в себя триста миллионов людей, мыслящих соборно (т.е. свободно и согласованно). А патриарх Кирилл процитировал слова преподобного Лаврентия Черниговского, что Россия, Украина и Белоруссия, «это вместе — Святая Русь». Сюда входит еще и Молдавия, ведь она молится, «как мы», и Казахстан. Стоит заметить, что в этой общности проступает не столько Евразия, — с Евразийским союзом президента Путина, — сколько *русская земля*, как ее видел Солженицын, духовное единство всех, говорящих на русском языке. В ноябре 2014 года Всемирным русским народным собором была принята «Декларация русской идентичности», согласно которой «русский — это человек, считающий себя русским; не имеющий иных этнических предпочтений; говорящий и думающий на русском языке; признающий православное христианство основой национальной духовной культуры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа».

На том самом Соборе, на котором была принята эта декларация, как и на многих сайтах, конференциях, в многочисленных выступлениях, высказывается обеспокоенность разрушением этой самой идентичности; заявляется о том, что, начиная с XIX века, последовательно проводится искусственное разделение великого русского народа на три разные национальные идентичности: так, Аркадий Минаков считает украинский язык «новым языком»: фантастика, как у

Оруэлла. Понятие «русский» не нужно рассматривать в биологическом ключе, как это постоянно делал в своих писаниях Ленин. По мнению защитников «русского мира», русофобия лютует не только за пределами России, но и внутри нее, и эта внутрироссийская ее разновидность гораздо опаснее внешней... Такая дешевая ссылка на русофобию сегодня стала уже привычным риторическим ходом, причем и у многих зарубежных авторов тоже¹². Чтобы в этом убедиться, стоит, например, просмотреть замечательную книгу, недавно вышедшую во Франции: «Россия и Запад»¹³. Своего апофеоза эта идея достигает в книгах уже упомянутого здесь Николая Старикова, например, в его новом бестселлере «Ликвидация России. Кто помог красным победить в Гражданской войне?» Ответ: Великобритания.

В центре многих споров часто встает проблема исторической непрерывности. Нужно ли, как предлагает «популистский» журналист Дмитрий Кисилев, принять китайский способ диагностики плохих и хороших сторон советского прошлого? И тогда окажется, как в Китае при Мао, что и у нас насчитано 70 % положительного против 30 % отрицательного? Философы Рената Гальцева и Ирина Роднянская в журнале «Посев» возмущаются таким подходом, при котором могильщик исторической России Ленин оказывается «основателем нашего государства». Вот что они пишут: «Все действия грубого сталинского режима изображаются как социально и геополитически оправданные ввиду неизбывного враждебного окружения России еще со времен Гостомысла; идеологема “осажденной крепости” призвана обелить массовые преступления прошлого и исключить какую бы то ни было мотивацию раскаяния»¹⁴. Гостомysl — легендарный герой Древней Руси, старейшина ильменских словен, с именем которого поздние летописи иногда связывают сказание о призвании варягов, вызванных для наведения порядка в новгородской земле. Мы находим этот образ в стихотворении известного либерального поэта и юмориста XIX века Алексея Константиновича Толстого «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева». При всем при этом оба философа, статью которых мы только что цитировали, горячо оспаривая Киселева, не менее горячо приветствуют возвращение Крыма в лоно России, а значит, в этом отноше-

нии целиком и полностью поддерживают политику Владимира Путина.

Поразительно, как повторяются здесь споры, уже, казалось бы, отгремевшие в XIX веке («повторяющиеся структуры»¹⁵). Витторио Страда считает, что сегодня, как и прежде, Россия остается загадкой, что связано с ее особым положением: она не просто граничит с Европой, но сама оказывается ее своеобразной границей: «...Россия — особая часть Европы, отличающаяся от остальной Европы большим своеобразием, чем ее каждая отдельно взятая национальная цивилизация. Россия — это не антиевропейская Евразия, а евроазиатская часть Европы, граничащая с Западом и вливающаяся в него». Т.е. она одновременно и часть Европы, и иное по отношению к ней. Русофобия, от которой так яростно защищают нас некоторые сегодняшние защитники России, будет еще одним симптомом этой загадки. Россия не хочет, да и не может принять логику Европарламента, одинаково обличающего нацизм и сталинизм, она не желает совсем отказаться от идеи империи, поскольку считает, что ее империя всегда была толерантной, что это было не столько навязанное ярмо, сколько союз наций. Да и сегодня Россия по-прежнему остается в некотором роде империей со своими «субъектами Федерации», некоторые из которых играют в автономию. Связь этих субъектов сегодня выстраивается главным образом через привязанность каждого из них к личности президента.

Русский историк Николай Костомаров (Микола Костомаров) в 1861-м в своей статье «Две русские народности» (речь идет об украинской и великорусской), так определяет их: «западная Русь», т.е. украинцы, тяготеют к анархии, наподобие казацкого самоуправления Запорожской Сечи или Новгородского вече (Новгород Костомаров включил в первую «народность»), тогда как «Восточная» Русь, т.е. россияне Суздальско-Рязанско-Московских земель тяготеют к единовластию и крепкому государству. Первые отличаются давним знакомством с иностранцами и духом терпимости; вторые «стремились установить необходимость и неразрывность раз установленной связи». Другими словами, у одних тяга к демократизму, у других к самодержавию...

Споры, идущие внутри сегодняшней российской оппозиции, как будто затрагивают тот же вопрос, вопрос приро-

ды перемен, происходящих сегодня в стране. Что на самом деле происходит? Установление нового авторитаризма, новой «крепкой руки», еще покрепче старой? Новый вид демократии? Или же можно осторожно назвать эти перемены так, как это сделала в июне 2015 года Екатерина Гениева: «Закончилась бессистемная модернизация и началась системная архаизация»? Екатерина Гениева (1946–2015) — удивительный человек, с 1993-го по свою смерть директор Библиотеки иностранной литературы в Москве, специалист по английской литературе, по Джойсу, одна из ведущих фигур перестройки и процессов духовного освобождения людей в то время. Я хорошо помню вечера отца Александра Меня в Библиотеке в 1993-м незадолго до его убийства, как горячо публика воспринимала слова священника, как ждала их. В одном из последних ее выступлений, в диалоге с Александром Архангельским¹⁶, она говорит о сегодняшней тенденции «закрыть все-таки страну окончательно», о «третьем пути, четвертом пути, особом пути» — главное, чтобы не как в Европе, ведь мы «не Европа». «Опасная вещь в этом — бесконечные поиски врага. Ищем врага». Екатерина Гениева умерла от рака буквально через несколько дней после этих дебатов. Она сказала тогда еще одну вещь: «Нужно изучить опыт работы с историческими травмами, чего не было сделано в 90-е годы. Мы сделали вид, что нет никаких травм. А травмы есть: имперская травма, от которой мы просто отмахнулись, она сегодня вылезает через подсознание, и мы имеем дело с последствиями...»

Русская литература, которая очень долго исполняла роль «гражданина» (из стихов Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан»), сегодня, кажется, решила от этой роли отказаться; конечно, советский период был временем подчинения литературы государству, не всегда полного, не всегда рабского, но ощутимого. Сегодня до нас уже дошли документы о самоубийстве Фадеева, поставленного партией во главе Союза писателей, о гибели Мейерхольда и Мандельштама. Были и те, кто оказывался во «внутренней эмиграции», в своеобразном внутреннем «сопротивлении», как Пастернак, которого Бухарин провозгласил величайшим советским поэтом на первом Съезде писателей в 1934 году, и которому удалось выжить после падения своего

покровителя как бы вопреки сталинской логике. История этой трагической зависимости литературы от государства еще только начинает как следует изучаться различными исследователями. Например, в 2012 году вышла книга Петра Дружинина «Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы», в которой показано, как ждановские репрессии обрушились на ленинградскую филологическую и литературную школу прямо в разгар войны, и что вторую волну сталинизма все почувствовали на себе, оказывается, еще до победы 1945 года. В 2014 году книга Дружинина получила Международную премию им. Е.Г. Эткинда. Появляются и другие книги, освещающие эволюцию сталинизма, например, исследование Натальи Громовой «Распад. Судьба советской критики: 40–50-е годы» (2009). В центре этой книги – фигура Анатолия Тарасенкова, известного советского критика и библиофила, собравшего потрясающую коллекцию всех современных ему поэтических публикаций в России и эмиграции, но этот просвещенный любитель литературы вынужден был прятаться за маской литературного «партократа». Представленная в книге захватывающая хроника литературных событий ждановского времени показывает нам Тарасенкова отрицающим Пастернака, и это притом что Пастернак был его литературным кумиром.

Что же касается сегодняшней русской литературы, с которой мы начали разговор, вспомнив, как приняли в литературных кругах известие о вручении Нобелевской премии Светлане Алексиевич, то эта литература остается на удивление живой и разнообразной, вот только ее моральный авторитет в области гражданских тем словно бы пребывает отдельно от нее. Часто она нам кажется новой «фабрикой эксцентрического актера». Но бывают исключения: например, Михаил Шишкин, творчество которого широко известно в России (его романы выходят в Москве, а пьесы ставятся в московских театрах) перешел с позиции эмиграции как временной географической удаленности к эмиграции как сознательному политическому выбору. Он отказывается принимать участие в делегациях писателей от Российской Федерации. Он написал небольшой, спорный, но берущий за душу текст, широко распространившийся в Интернете: «Мы выиграли или проиграли войну?» В центре текста фигура отца писате-

ля. В 1942 -м отец ушел добровольцем на фронт, он служил на подводной лодке в Балтийском море, и сын в школьные годы очень этим гордился перед одноклассниками. Позднее он понял, что в задачу отца входило топить корабли с беженцами, пытавшимися эвакуироваться из Прибалтики в Германию: «Сотни, если не тысячи их погибли в водах Балтии — за что мой отец получил свои медали. Много лет я не горжусь своим отцом, но я его не сужу. Была война». И сам отец писателя тоже не мог гордиться своим отцом, поскольку был сыном «врага народа», погибшего в ГУЛаге. Когда в горбачевское время отец как ветеран получил паек с продуктами из Германии, то почувствовал себя оскорбленным, напился и закричал: «Но мы победили!»

* * *

Нет у меня окончательного ответа на заданные в этом эссе вопросы; в качестве заключения мне бы хотелось вернуться к современной русской литературе. И сказать несколько слов о прекрасном романе «Зулейха открывает глаза» татарской писательницы Гузель Яхиной. На что открывает глаза Зулейха? Роман описывает раскулачивание в Татарии и рождение сталинской России. В романе воссоздан мир народных полужыческих, полумусульманских верований татар, мир, который одновременно и хранит героиню, и оказывается жестоким по отношению к ней. Первая часть написана жестким и потрясающим поэтическим языком: мы видим крестьянский мир, уже обреченный на гибель и доживающий последние дни. Зулейха, молодая жена татарского крестьянина, который гораздо старше ее, ведет традиционную жизнь замужней татарской женщины, беспрекословно подчиняясь мужу и свекрови, — даже жестокость, с какой они обращаются с ней, тоже традиционна. Это узкий и жесткий мир, в котором правят подозрения и страхи: большевики уже близко, уже звучит слово «продразверстка». И вот «красная орда» нагрянула, во главе ее русский красноармеец из Казани, фанатично преданный своему делу, Иван: он убивает мужа Зулейхи за то, что тот попытался спрятать зерно на кладбище, в могилах, где похоронены их четыре дочери. Зулейху депортируют вместе с огромной волной крестьян, которые должны стать удобрением для ГУЛАГа и советских строек.

Ссылных загружают в вагоны для скота и везут очень долго, с долгими стоянками, дольше, чем некогда гнали пешком каторжников в те же места. Начальником конвоя оказывается Иван, убивший мужа Зулейхи. Он и сам оказывается в каком-то смысле «депортированным»: его непосредственный начальник по ЧК, предчувствуя свой арест, спасает его, отсылая подальше от места «чисток» в должности начальника конвоя. Так начинается долгое, медленное личностное созревание Ивана, жесткого, но справедливого человека, который вместе со «своими» ссылными, с теми, кому удалось выжить в долгом пути, оказывается на краю света, за четыреста километров от последнего населенного города на Ангаре. Его созреванию, при этой долгой одиссее, помогает хрупкая юная татарка, которая в тайге, прямо на глазах у небольшой группы переселенцев, рождает сына. Это ребенок от ее мужа, от той последней ночи с ним, когда он взял ее почти насильно. Юзуф растет в глухом сибирском поселке, где смерть всегда рядом, и там у одного ссылного художника учится рисовать. Вопреки всей прежней традиции литературы о ГУЛаге в этом романе на первый план выходит тема живучести и прочности человека и человечности. Мир духов, наводняющий суеверную душу Зулейхи, не оставляет ее, но со временем она приходит к мысли, что Аллах слишком далеко, что взгляд Всевидящего не проникает в такую глушь, как поселок ссылнопоселенцев Семрук, в этот «Ноев ковчег», которым управляет и который то и дело спасает Иван. Постепенно вырисовывается в романе линия любви между Иваном и Зулейхой, убийцей и вдовой, и эта любовь и спасает героев. Вспоминается стихотворение Бодлера «Самобичевание»:

Я — нож, проливший кровь, и рана,
Удар в лицо и боль щеки,
Орудье пытки, тел куски;
Я — жертвы стон и смех тирана!

(Перевод Эллиса)

В финале мы словно видим собственными глазами ту сталинскую Россию, которая родилась в немыслимой мясорубке, как пишет Бродский, видим в этой России и то, что поможет ей выжить. Ивану, смещенному со своей должности

за слишком «либеральное» отношение к заключенным, после шестнадцати лет, прожитых с ними вместе, разрешено остаться в том самом поселке ссыльнопоселенцев, который он сам же создавал буквально из ничего. Он спасает Юзуфа, сделав ему подложную метрику и вписав туда свое собственное имя, имя убийцы его отца. «Люди, люди, люди — сотни лиц встают перед ним. Он был тем, кто встречал их здесь, на краю света. Гнал в тайгу, морил непосильной работой, железной рукой выжимал план, издевался, страшил, предавал наказанию. Строил для них дома, кормил, выбивал продовольственный фонд и лекарства, защищал от центра. Держал на плаву. А они — держали его». Так этот прекрасный роман вносит своеобразный катарсис в неслыханную сталинскую авантюру, в которой страна разрушалась, строила, выжила.

В марте 1953 года, сразу после смерти тирана, оплакиваемого миллионами людей, в сибирской ссылке молодой поэт Наум Коржавин написал стихотворение «На смерть Сталина», в котором обращается к своей стране, к русскому народу:

А может, ты поймешь
сквозь муки ада,
Сквозь все свои кровавые пути,
Что слепо верить
никому не надо
И к правде ложь
не может привести.

Глаза Зулейхи, маленькой испуганной татарки, следят за тем, как ее сын тайком совершает побег из ссылки, переправляясь по огромной Ангаре. Видит ли она то же, что призывает увидеть нас Наум Коржавин? Своей способностью видеть человеческое даже в нечеловеческом спасет ли русская литература еще раз что-то само-самое важное?

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Труды Михаила Гелфтера по экономике России накануне Первой мировой войны были в 1970 осуждены партией, и сам историк со временем стал одной из символических фигур диссидентского движения.

² Марлен (производное от Маркс-Ленин) Кораллов (1925–2012) получил 25 лет срока в 1949-м, отсидел шесть, был реабилитирован

в 1955-м, публиковал книги о Розе Люксембург и Карле Либкнехте и никогда не забывал о времени, проведенном в кенгирском лагере, одним из самых жутких. Он часто выступал в «Мемориале», писал и публиковал свои воспоминания. Сегодня память ему воздали в Музее истории ГУЛага в Москве, но так ли уж много людей знают о существовании этого музея.

³ Записку с памятника сняли сразу, но в Интернете долго курсировала видеозапись с ней.

⁴ Он не первый и не последний: вся русская историография XIX века кипит полемикой вокруг «призвания варягов на княжение» словенскими племенами озера Ильмень.

⁵ Timothy D. Snyder. *Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin*, 2010. Timothy D. Snyder. *Black Earth: The Holocaust as History and Warning*. 2015.

⁶ «Свершилось. Пришли немцы!» Идеинный коллаборационизм в СССР в период Великой Отечественной войны. Под ред. О.В. Будницкого и Г.С. Зеленина. М.: Российская политическая энциклопедия, 2012.

⁷ *История России. XX век: 1894–1939*. М.: Астрель: АСТ, 2009; *История России. XX век: 1939–2007*. М.: Астрель: АСТ, 2009. У этого двухтомника 44 автора, в том числе есть и иностранные авторы; директор проекта и ответственный редактор — Андрей Борисович Зубов, профессор МГИМО, уволенный с работы за публикацию острого протестного текста, в котором автор высказался против российской агрессии в Украине. Двухтомник вышел тиражом 5000 экземпляров. Композиция и круг тем этой книги отличаются новаторским подходом. Раскол России в XX веке на Россию советскую и эмигрантскую здесь показан и продуман гораздо ошутимее, чем не только в советских, но даже и в западных исторических трудах. «Война за Россию (октябрь 1917 — октябрь 1922)», «советско-нацистская война», «трагедия Холокоста», «пакт Молотова—Риббентропа», «Россия и подготовка Сталина к несостоявшейся Третьей Мировой войне», «деградация коммунистического тоталитаризма» — вот только ряд тем, затронутых в книге и прежде не рассматривавшийся в российской историографии в такой формулировке. Андрей Зубов стал кандидатом на парламентских выборах в сентябре 2016 года от правой партии «Парнас», но не прошел.

⁸ Защита длилась девять часов, группа патриотов перед зданием устроила протестный пикет, зал был переполнен. Александров преподает в одной из санкт-петербургских школ, и его ученики пришли его поддержать.

⁹ Существует немало Музеев оккупации, открывшихся в бывших советских республиках, получивших независимость, в Грузии, в странах Балтии, в Украине и т. д.

¹⁰ Со времени написания этой статьи «Мемориал», к сожалению, уже успел попасть в список «иностранных агентов» (прим. переводчика).

¹¹ Так, в Париже недавно открылся новый Российский православный духовно-культурный центр, позолоченные купола которого теперь соперничают с Эйфелевой башней, так что его видно всему миру. И престижный кафедральный собор в Ницце был передан российскому государству решением французского суда.

¹² Guy Mettan. *Mille ans de russophobie*. Genève, 2015. (Ги Меттан. Тысяча лет русофобии). «Почему мы так любим ненавидеть Россию?» — задает Ги Меттан сам себе вопрос, прямо на обложке только что изданной на русском языке книги.

¹³ *La Russie et l'Occident, Anthologie de la pensée russe XIX^e-XXI^e siècles de Karamzine à Poutine*. Choix, présentations et traductions de Michel Niqueux. Institut d'Études slaves, Paris 2016.

¹⁴ Рената Гальцева, Ирина Роднянская. «Отмывание добела» // *Посев*. 2015. № 3. С. 12.

¹⁵ Выражение немецкого историка Рейнхарта Козеллека (1923–2006), автора книги «Прошедшее и будущее: К семантике исторического времени» (1979).

¹⁶ Историк, журналист и романист Александр Архангельский известен широкой публике, прежде всего, своей серией передач на телеканале «Культура» «Тем временем». В них он устраивает захватывающие дискуссии собеседников с разными точками зрения по различным историческим, культурным и общественным вопросам. Многие считают эти передачи последним оплотом плюрализма на современном российском телевидении.

*Перевод с французского Натальи Ликвинцевой
(авторизованный перевод слегка дополнен автором)*



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО



ОЛЬГА СЕДАКОВА

Молчание Светланы Алексиевич и одиночество человека*

1.

Мы собрались обсуждать жанровую природу книг Светланы Алексиевич. Но начать приходится с того удивительного сопротивления, которое вызвало известие о Нобелевской премии Светланы Алексиевич в России. То, что премия возмутила реставраторов советского режима, «патриотов» и вообще людей, близких к официозному мейнстриму, совершенно не удивляет. Им жизненно необходим тот миф о нашем прошлом, который книги Алексиевич разрушают. «Антисоветские» и «русофобские» сочинения — так они квалифицируют книги Алексиевич. Можно заметить *à propos*, что два этих диких слова стали, в конце концов, синонимами!

Удивительна — и для меня до конца необъяснима — резкая реакция той части нашей публичной сферы, которую обычно относят к «прогрессивной», «либеральной», «интеллектуальной».

Я попробую коснуться двух мотивов этого сопротивления — с одного я начну, поскольку он касается именно нашей

* Выступление на симпозиуме «Dialogues with *Svetlana Alexievich*», посвященном жанровой природе книг С. Алексиевич (Гетеборг, Швеция, 4 мая 2016).

темы, жанра, а ко второму вернуться в дальнейшем. Этими двумя мотивами, вероятно, дело не исчерпывается, но о других я говорить не готова.

Итак, первое возражение нашей просвещенной публики — жанровое: это не художественная литература, а журналистика. Так полагают многие критики и писатели.

Повторяется история, которая уже однажды случалась в русской литературе, но для большинства наших читателей, к сожалению, осталась неизвестной. Я имею в виду книгу Софии Федорченко «Народ на войне», вышедшую в 1917 году между двумя революциями¹. Об этой великой книге, «книге злой судьбы», как назвала ее сама С. Федорченко, и ее удивительном авторе говорила здесь Sara Danius. Собрание фрагментарных реплик создает у Федорченко огромный хор: это многоголосый голос собирательного героя истории, воющего на Первой мировой русского крестьянства. Звуковая и смысловая сумма, «гул», который остается у нас после чтения «Народа на войне», напоминает тот, с которым мы остаемся после чтения Алексиевич. Но это гул другого народа. Его больше нет. Его языка, его песен больше не знают.

Нужно заметить, что С. Федорченко «отсутствует» в своих книгах еще решительнее, чем Алексиевич. Мы не слышим ее голоса, как в записанных текстах не слышим голоса собирателя-фольклориста. Федорченко не сопровождает монологи своими комментариями, она не дает им своих названий.

Я не собираюсь сравнивать два эти хора, «вживания в тысячи», словами С. Федорченко. Заговорив о «Народе на войне», я хотела коснуться только одного момента: споров о художественности или нехудожественности (документальности) этой книги и двух последующих за ней («Народ и революция», «Гражданская война»). Они в точности те же, что дискуссии вокруг книг Светланы Алексиевич. При этом и то, и другое (и избыточная документальность, и «фальсификация», т. е. сочинение высказываний за своих героев) могут стать обвинениями против автора. Сама С. Федорченко представила первое издание «Народа на войне» как полностью документальные записи сестры милосердия, которой она и была на фронте Первой мировой. Многие приняли тогда это

за чистую монету и читали книгу как собрание современного солдатского фольклора. Но в 1917 году в России были чуткие читатели. Художественное значение книги мгновенно было оценено. В ее документальности видели даже преимущество перед той литературой, которую теперь назвали бы fiction: Александр Блок противопоставлял «Народ на войне» «усталой, несвежей и книжной литературе». Критики говорили о толстовском «таланте правды», находили в кратких репликах сжатые до последней плотности сюжеты классической русской прозы.

В послереволюционное время читательская аудитория и ее установки изменились. В 20-е и еще больше в 30-е годы обвинения в простом документализме сменялись обвинениями в полной фальсификации. Образ народа, каким он представлялся у Федорченко, совершенно не устраивал новую власть. Наступала эпоха официальной мифологии. Не таким ли был суд над Светланой Алексиевич о фальсификациях записей в «Цинковых мальчиках»?

Я думаю, что обсуждение границ «художественного» и «нехудожественного» в нашей современной ситуации еще более несерьезно, чем в 20-е и 30-е годы. Во-первых, сама концепция «художественного» стала слишком неопределенной, а во-вторых, современная проза, претендующая на «художественность» в классическом смысле, часто выглядит именно так, как описал ее Блок: «усталой, несвежей и книжной». Обращение к документальности может быть как раз искомым обновлением жанра «большой прозы».

Записаны буквально или обработаны автором «документы», т. е. высказывания участников составленного автором хора (как у Алексиевич, так и у Федорченко) — не так важно. Собственно художественная задача и художественный дар автора-сборщика состоят в другом: в интуиции целого, той самой суммы нестройного хора, которой ни один из его участников не знает. Каким образом это целое, не выраженное иначе как суммой всех голосов, соотносится с отдельными фрагментами, вырастает ли оно из них или, наоборот, как магнит, притягивает их к себе — этим уже займутся исследователи.

2.

Журналистика, в которую ссылают С. Алексиевич, не имеет и, я думаю, не должна иметь в себе такого образа целого. Это дело художника, который не «информирует», а «перформирует» своего читателя.

Есть еще одна область словесности, которая, как мне видится, очень важна для работы Алексиевич и о которой не говорят. Это *история*. Об одном из своих героев С. Алексиевич пишет после его смерти, объясняя, почему она предаёт гласности то, что он просил ее не записывать: «это принадлежит уже не личной жизни, а истории». «Принадлежит истории», — с этим лейтмотивом Алексиевич слушает то, что говорят ее собеседники.

История — важнейшая и неотступная мысль русской культуры. Позволю себе краткое отступление. Первым оригинальным жанром древнерусской словесности были летописи (все остальные жанры составляли переводы с греческого), а первыми историческими писателями — монахи. Первый сохранившийся кодекс — «Повесть временных лет», рукопись начала XII века на древнерусском языке². Профессиональная, предметная история, история как наука возникает в России поздно. Но писатели раньше профессиональных историков пытаются обдумать прошлое. Стоит вспомнить Пушкина с его «Борисом Годуновым», «Полтавой» и «Капитанской дочкой» (к концу жизни он и вообще уходит от художественной литературы к труду смиренного историка пугачевского бунта). Льва Толстого с его замыслом «Декабристов» и «Войной и миром». В XX веке «Доктора Живаго» Пастернака, историчнейшее сочинение³. Александра Солженицына с его монументальным замыслом «художественного исследования истории» от Первой мировой до конца сталинского ГУЛага. Поразительно, что не только проза, но и поэзия XX века берет на себя историческое задание. Это прежде всего — летописная поэзия Анны Ахматовой:

И это станет для людей
Как времена Веспасиана,
А было это — только рана
И муки облачко над ней.

Времена Веспасиана — времена жестоких первохристианских гонений. История коммунистического XX века выглядит у свободных русских писателей как история небывалых мучений, горя — Горя с прописной буквы — безумия и нечеловеческой жестокости.

Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.
(«Реквием»)

Вопрос о том, на чьих ногах были эти кровавые сапоги и кто сидел за рулем черных марусь, не вставал. Речь шла в первую очередь о безвинных жертвах. По ним служили свою поэтическую панихиду Ахматова и Пастернак.

Душа моя печальница
О всех в кругу моем.
Ты стала усыпальницей
Засыпанных живьем.
(Борис Пастернак)

Непогребенных всех — я хоронила их.
(Анна Ахматова)

Но та замордованная Россия, которую оплакали Ахматова, Пастернак, М. Булгаков, не исчезла в советское время бесследно, как Атлантида. Тонкая, тонкая нить преемственности сохранялась. Можно было встретить таких, не прошедших «красную индоктринацию» людей в разных слоях: и среди ученых, и среди старых художников, и в почти пустых в эти времена храмах... Положение их в общей системе могло быть только маргинальным. Мне приходилось писать об этих маргиналах. Они были нашими учителями свободы⁴. Встреча такого «неперемолотого» человека, деда, вернувшегося из лагерей, и его уже перемолотого на свободе внука составляет драматический сюжет «Пушкинского Дома» А. Битова. По-этом истории нашего поколения я назвала бы Виктора Кривулина.

Тема ответственности самого народа за собственную историю (т. е., того, что этот народ составляют не только жертвы государственного террора, но и его исполнители — и в численном отношении их, вероятно, много больше, чем жертв) появляется только в «Архипелаге» Солженицына. Ко времени Алексиевич «безвинной Руси» уже как будто не осталось. Как говорит герой «Времени секонд хэнд»: «Стариков наших жалко, конечно... Пустые бутылки на стадионах собирают, ночью в метро сигаретами торгуют. На помойках копаются. Но старики наши не безвинны». Тем не менее, нерв повествования Алексиевич — не вина, а страдание: страдание, из которого не видно выхода.

Пентаптих Светланы Алексиевич в каком-то смысле завершает художественную летопись или, словами Солженицына, «художественное исследование» эпохи. Но эпоха, как будто исчерпавшая свой смысл, не кончилась. В России наших дней мы с ужасом наблюдаем воскрешение сталинизма: на этот раз сталинизма уже без «красной идеи».

У русской исторической мысли, начавшейся «Повестью временных лет», есть особая черта. Она несет в себе память о священной истории. В ней прямо или скрыто присутствует библейское восприятие истории, «хождения перед Богом»: времени, в котором действуют грех и возмездие, преступление и наказание, у которого есть вневременное начало и завершающий ход времен конец. Летопись начинается с Сотворения мира, история русской земли — с Потопа и судьбы сыновей Ноя. Почти без паузы за этим следуют дела князей. История происходит ввиду своего начала — и своего конца: Апокалипсиса, Страшного Суда. В случае Достоевского чувство приближения финальной катастрофы и Откровения присутствует сильнее, чем тема Начала. То же мы можем сказать об истории Алексиевич: «Утешение Апокалипсисом» — название первой части ее последней книги; ветром апокалипсиса веет в «Чернобыльской молитве».

Но вот что интересно: если отечественная история веками остается в центре мысли русских художников, «обычно-го человека» в России отличает удивительное историческое беспомыслие.

У этого исторического беспамятства свои причины. Первая из них — официальный запрет на «свою память», своего рода императив ритуального предания забвению. В императорском Риме был такой вид казни врагов государства — *damnatio memoriae*, проклятие памяти. Не только осужденный, но сама память о нем должна была быть истреблена. Его имя стиралось из всех надписей и т.п. Воспользовался ли Сталин римским опытом или сам нашел этот способ окончательного истребления неудобных, но *damnatio memoriae* практиковалась властью со всем размахом. Лица осужденных вырезались из фотографий (даже в семейных альбомах), их имена стирались в книгах, о них не говорили в самом узком кругу. Ритуальному забвению должны были быть преданы и события, которые показывали власть не в лучшем свете (договор Молотова—Риббентропа, катастрофы и т.п.). Уничтожение прошлого, общего и личного, и замена его пропагандистской картинкой. Жесточайшая цензура памяти. Неудивительно, что и отдельный человек сам с собой не смел вспоминать то, что было на самом деле, что он видел собственными глазами, в чем принимал участие.

Книги Алексиевич снимают это *damnatio memoriae*. Это сопротивление ритуальному преданию забвению. Ее собеседники рассказывают о том, что они на самом деле видели и знают. Можно представить, как трудно было вернуть каждого из них к собственной памяти. И легко представить, как они могут отказываться от собственных слов, если потребуется. Наш человек боится собственной памяти: из нее с необходимостью встает вопрос об обдумывании того, что происходило, о некотором *решении* о прошлом. Вынести такого решения они со всей очевидностью не могут. Они как бы передают свои личные истории тому, кто сможет их прочесть исторически. Истолковать их им должен кто-то другой: мудрец, священник на исповеди, врач... Но этой фигуры — истолкователя, помощника — в повествованиях Алексиевич не появляется. Человек одинок. Это едва ли не последний вывод о нем.

Благодаря этим повисающим в воздухе, неистолкованным рассказам мы узнаем реальную человеческую историю огромных событий, преданных ритуальному забвению: другое лицо Отечественной войны, Афганскую кампанию, Чернобыльскую катастрофу, историю распада Союза. Так

же, как собеседникам Алексиевич трудно говорить об этом, читателю ее книг трудно это узнавать. И бунт против такого знания вполне предсказуем. Кроме непомерного страдания, которым полны эти книги, мы встречаемся в каждой из них с немыслимой жестокостью, осмелюсь сказать, дьявольской жестокостью власти к собственному населению. Все пять книг говорят об этом, но особенно — «Чернобыльская молитва», хроника величайшего преступления, вероятно, сопоставимого с террором 30-х годов. Страдания ее героев не с неба упали! Их послали в этот ад, зная, что это такое, и скрывая от них правду. Та же жестокость действует в том, как обходятся с «цинковыми мальчиками» и до, и во время, и после Афгана. И в первой книге, «У войны не женское лицо», мы краем уха, но слышим о той жестокости, которая ждала победителей, вернувшихся с войны.

Но вот что поразительно: редко кого из героев Алексиевич эта жестокость возмущает. Наш великий мыслитель Сергей Аверинцев заметил, что человек, переживший десятилетия «красной власти», утратил невинность гнева: «Так не может быть! Так не должно быть!» Он знает, что именно так и бывает, а по-другому — только чудом. И с этим знанием, передающимся из поколения в поколение, что-то нужно делать. С инерцией примирения с жестокостью.

3.

Однако тема Светланы Алексиевич, как она сама постоянно напоминает, — не история сама по себе, а человек в истории. Людей, говорящих в ее книгах, можно назвать «жертвами истории» в том смысле, как употребил это выражение в своей Нобелевской лекции Иосиф Бродский. Это те, кто, не выбирая и не обдумывая, приняли то, что предложила им история. Те, кто стал инструментом в ее руках. Человек без ресурса внутренней свободы.

Ты вечности заложник
У времени в плену. —

это самочувствие пастернаковского художника незнакомо героям пяти книг. О собственной принадлежности к веч-

ности они не знают. Среди всех героев Алексиевич я встретила единственного человека, обладающего этим ресурсом внутренней свободы и живой связи с вечным: Марию Войтешонок. В ее мире страшное прошлое принимает свою осмысленную форму, и чистый свет проникает в те адские потемки, из которых не могут выбраться другие.

Послереволюционная история предложила человеку участие в «красной утопии», в идеологии — некотором извращенном подобии религии, со своими святынями и святыми. Она предложила ему быть «винтиком» в системе, где все за него решается, где от него требуется одно: «самоотверженное служение воле партии» (это цитата из газеты «Правда» брежневского времени). Она предложила ему железный занавес, отгораживающий его не только от окружающей зарубежной современности, но и от отечественного прошлого, и от любой религии («воинствующий атеизм»), и от высокого искусства, древнего и современного (поскольку все это объявлялось «формализмом», «субъективизмом», «идеализмом» и т.п.), и от новой науки (осуждение генетики, лингвистики и т.п.). Она предложила ему свое понятие «права», в котором презумпция невиновности не действует и каждый может быть неизвестно за что приговорен к высшей мере. Она предложила ему свою антропологию, свою материалистическую картину человека, который представляет собой продукт среды. Она предложила ему картину мира, в котором идет нескончаемая и беспощадная борьба с Врагом, который окружает со всех сторон и проникает внутрь, так что необходима неусыпная «бдительность», а «если враг не сдастся, его убивают»... Много еще чего она ему предложила (включая забвение простейшего этикета общежития и метод соцреализма как единственно допустимого эстетического стиля), чего, казалось бы, хоть немного думающий человек принять не может.

Но предложение послереволюционной истории выглядит так в моем изложении. Адепты идеологии, «красные люди» рассказывают об этом по-другому. Эти времена представляются им романтическими, альтруистическими, высококультурными, человечными. Они что-то утратили с уходом этой идеологии: почти все. Смысл собственного существования.

Что это был за смысл? Человеку предложили не просто место в истории, а место творца истории: советский человек чувствовал себя в авангарде исторического процесса, неуклонно идущего к светлому будущему всего человечества. Ради этого можно было терпеть все.

Так что с крушением идеологии, с исчезновением цели, которая оправдывала все средства, история для такого человека кончилась. Об этом говорят многие герои «Времени секунд хэнд». Началась частная жизнь, выживание, не имеющее никакого общего смысла.

Российский человек, говорящий о книгах Светланы Алексиевич, сам становится персонажем ее книг, одним из персонажей. Окажусь им и я, рассказав свою историю. Для меня поразительным было узнать о том, что «красный человек», человек, преданный идеологии, был моим современником, и даже младшим современником, как герои «Цинковых мальчиков». Я почти не видела таких «красных людей» во круг, не только в узком кругу московских и питерских интеллектуалов, но и на куда более широком пространстве. Первым «временем секунд хэнд» мне представлялась брежневская реставрация. Приговор «красной утопии» и вместе с ней «красному человеку» был вынесен хрущевской десталинизацией. Реставрация «красных идеалов» во времена Брежнева была декоративной и циничной. Господствующий цвет я видела совсем не как красный, а как серый. Я видела не «красного человека», а бесцветного и — как бы сказать? — нереального. Он делал и говорил то, что от него требовали, то, что считалось «правильным» — но делал это не «от себя лично». Речь шла уже не о личной «верности идеям», а о лояльности, готовности повторить их, где требуется: в институте, на месте работы и т.п. Время знаменитого «двоемыслия». Так, например, я, не сомневающаяся к этому времени в бытии Божиим, в качестве первого экзамена в Московском университете должна была сдавать «научный атеизм» — и благополучно его сдала. Мне очень хотелось получить хорошее образование, а других университетов, без научного атеизма, не было. Степень приемлемого компромисса была для каждого своя. Но «верующих» в коммунизм, «красных» я просто не видела. Сами идеологические предметы (а они составляли треть учебных часов) нам преподавали циники.

Светлана Алексиевич показала «красного человека» последних десятилетий в своих рассказчиках — и становится понятно, что они и составляли, видимо, подавляющее большинство населения. Вместе с этим становится понятнее удивительная для меня ностальгия соотечественников по временам, которые я вспоминаю как кошмар.

Теперь от личных воспоминаний вернемся к разговору о книгах и их героях. Я обещала сказать о втором мотиве неприятия книг Светланы Алексиевич в интеллектуальных кругах. Я думаю, он в том, что в ее повествовании никогда не выносятся *решения*. И запутанное сознание ее рассказчиков как будто заставляет читателя ходить по замкнутому кругу. Выйти из него кажется делом безнадежным. Но решение, которого ждут от повествования «Времени секунд хэнд», в этом космосе принято быть не может. Оно принимается, скорее, в аналитических трудах, т. е. с отстраненной позиции. О homo sovieticus таких трудов написано немало⁵. Правда, аналитики рассматривают по большей мере не «исповедников» идеологии, не «красных», а «бесцветных», а в них — те искажения человеческого образа, которые принесла жизнь в системе, то, что кто-то назвал «антропологической катастрофой».

Но задача Алексиевич другая: не обобщение, а вникание в глубину каждого отдельного человека. Не все ее собеседники — «красные», в них много разных оттенков. Она ищет собственно человеческое в «красном человеке».

4.

Этим человеческим оказывается в последнем приближении страдание. Страдание такой силы, что оно перекрывает вину и любые «идейные установки». В страдании мы видим у Алексиевич человеческое величие. Больше, чем в любви, — во всяком случае, мне как читателю ее книг так представляется. Любовь, о которой она — вернее, ее герои — рассказывают (в «Чернобыльской молитве» особенно), скорее пугает. Это беспроектное отношение. От нее хочется отвести глаза.

Страдание — и вопрос о его смысле. Вопрос о выходе из этого круга. Вопрос, на который отвечает молчание. Потому что, как я уже сказала, страдающий человек остается одино-

ким. Таким он встречает читателя. Название «Чернобыльская молитва» у книги, где молитва никаким образом прямо не появляется, говорит, мне кажется, о том, что за всем рассказанным может последовать только молитва.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Позднее переиздание первой книги: *София Федорченко*. Народ на войне. М.: Советский писатель, 1990. Подготовка текста и вступительная статья Н.А. Трифонова.

² Приходится — по нынешним временам выяснения национальных отношений — напомнить, что древнерусский — общий источник русского, белорусского и украинского языков.

³ См. об этом и вообще об особенностях русского историзма: David Bethea. *The Shape of Apocalypse in Modern Russian Fiction* (Princeton: Princeton University Press, 1989, 1991).

⁴ *О. Сedaкова*. Наши учителя. Михаил Викторович Панов. К истории русской свободы // Четыре тома. Том IV. *Moralia*. М., 2010. С. 709–719 (интернет-версия: <http://www.olgasedakova.com/Moralia/291>). Также: *О. Сedaкова*. «Залог величия его». К истории свободы в России. <http://www.olgasedakova.com/Moralia/1612>.

⁵ Очень значительной мне кажется недавняя книга А. Эткинда «Кривое горе. Память о непогребенных» (М.: НЛО, 2016). Оригинальный английский заголовок еще выразительнее: «Warped Mourning. Stories of the Undead in the Land of Unburied». Если это не ключ, то один из ключей к советской жизни, в которой господствует запрет на память и скорбь и не успокоенные мертвые присутствуют в любом интерьере и ландшафте.

Священник ИГНАТИЙ КРЕКШИН

Выход за пределы нормы:
философские глоссы
к «Поэзии Осипа Мандельштама»
Пауля Целана

Памяти С.С. Аверинцева

Настоящая публикация не является полным и всеобъемлющим комментарием к радиоэссе Пауля Целана «Поэзия Осипа Мандельштама»*. Автор комментария ставил своей целью рассмотрение прежде всего философского и связанного с ним поэтологического аспектов одного из ключевых литературно-теоретических текстов Целана, помогающего проследить эволюцию его мысли на переходе от «Бременской речи» (1958) к «Меридиану» (1960), в которых сформулированы основные принципы его поэтики. Необходимость философского осмысления эссе объясняется тем, что такие концептуально важные для поэтики Целана понятия

* Радиоэссе «Поэзия Осипа Мандельштама» было написано Целаном по заказу «Северо-Немецкого Радио» (Norddeutscher Rundfunk) и вышло в эфир 19 марта 1960 года. Весь текст, состоящий из прозаических пассажей Целана и стихов Мандельштама, распределен между двумя дикторами. Впервые эссе было опубликовано Р. Дутли: *Celan P. Die Dichtung Ossip Mandelstamms // Mandelstam O. Im Luftgrab. Ein Lesebuch. Mit Beiträgen von P. Celan, P. P. Pasolini, Ph. Jaccottet, J. Brodsky. Hrsg. von R. Dutli. Zürich, 1988. S. 69–81.* В переводе на русский эссе было подготовлено М. Белорусцем: *Целан П. Поэзия Осипа Мандельштама // Целан П. Стихотворения. Проза. Письма. М., 2008. С. 396–416.* Настоящий перевод осуществлен мною по Тюбингенскому критическому изданию Целана: *Celan P. Die Dichtung Ossip Mandelstamms // Celan P. Der Meridian. Endfassung – Entwürfe – Materialien. Hrsg. von B. Böschstein und H. Schmall. Tübinger Ausgabe. Frankfurt am Main, 1999. S. 215–221.* Все стихотворения Мандельштама приводятся по версии американского издания Мандельштама, с которого переводил Целан: *Мандельштам О. Собрание сочинений. Под редакцией и с вступительными статьями Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. Нью-Йорк, 1955.*

как *инаковость* и *чуждость*, *диалогичность* и *актуальность*, *феноменальность* и *человеческое бытие* (Dasein) раскрываются в характеристике поэзии Мандельштама на фоне интенсивной контрверзы с современной Целану философской литературой, и прежде всего с философией Мартина Хайдеггера. Независимо от того, каким бы сложным и противоречивым ни было отношение Целана к Хайдеггеру — а оно складывалось из одновременного почитания и неприятия, — между поэтом и философом установился продолжительный спор-диалог, следы которого прослеживаются как в поэзии, так и в теоретической прозе Целана*.

Поэтому столь важно было обратиться в первую очередь к философскому комментарию данного текста, ибо без этого трудно понять как основные категории поэтики Целана, так и его творческую рецепцию поэзии и поэтики Мандельштама. Разумеется, выбранная форма интерпретации не является единственной и исключаящей все остальные**, но она может быть одним из возможных подходов к постижению встречи двух больших поэтов.

Эта встреча-общение началась с переводов Целаном Мандельштама (1958–1967) и в полной мере раскрылась в стихот-

* О встрече-невстрече Целана и Хайдеггера написано довольно много. Здесь упомянем лишь некоторые из исследований: *Baumann G.* Erinnerungen an Paul Celan. Frankfurt am Main, 1992; *Gellhaus A.* «...seit ein Gespräch wir sind...». Paul Celan bei Martin Heidegger in Todtnauberg. Marbach am Neckar, 2002; *Lemke A.* Konstellation ohne Sterne: Zur poetischen und geschichtlichen Zäsur bei Martin Heidegger und Paul Celan. München, 2002; *France-Lanord H.* Paul Celan et Martin Heidegger. Le sens d'un dialogue. Paris, 2004; *Jamme Chr.* Martin Heidegger // Celan-Handbuch: Leben-Werk-Wirkung. Hrsg. von M. May, P. Goßens, J. Lehmann. Stuttgart-Weimar, 2008. S. 254–258 (с библиографией).

** Наиболее подробный литературно-критический и текстологический анализ эссе о Мандельштаме представлен в следующих работах: *Ivanović Chr.* Das Gedicht im Geheimnis der Begegnung: Dichtung und Poetik Celans im Kontext seiner russischen Lektüren. Tübingen, 1996. S. 321–345; *Celan P.* «Mikrolithen sinds, Steinchen». Die Prosa aus dem Nachlass. Kritische Ausgabe. Hrsg. und kommentiert von B. Wiedemann und B. Badiou. Frankfurt am Main, 2005. S. 196–206 (текст), S. 825–885 (комментарий). См. также: *Lehmann J.* Die Dichtung Ossip Mandelstamms // Celan-Handbuch. S. 164–167.

ворном сборнике «Роза-Никто» (1963) — своеобразном свидетельстве «слияния двух поэтов»^{*}.

Однако эта большая тема остается за рамками данной публикации и будет обстоятельно рассмотрена в свое время.

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

Поэзия Осипа Мандельштама

1-й диктор: В 1913 году в Петербурге выходит тоненький сборник стихов — «Камень». Видно, что эти стихи значимы. Их хотелось бы написать самому, как признаются поэты Георгий Иванов и Николай Гумилев. Однако в этих стихах есть нечто отчуждающе-странное¹. «Что-то, — вспоминает Зинаида Гippiус, бывшая тогда в центре литературной жизни и не привыкшая лезть за словом в карман, — что-то туда попало».

2-й диктор: Нечто отчуждающе-странное, как рассказы-вают многие современники, было и в авторе этого стихотворного сборника, в родившемся в 1891 году в Варшаве, выросшем в Петербурге и Павловске Осипе Мандельштаме, о котором среди прочего известно, что он изучал философию в Хайдельберге и теперь бредит Грецией.

1-й диктор: Нечто отчуждающе-странное, не совсем ладное, нечто нерифмованное. Он вдруг может рассмеяться тогда, когда ожидается совсем другая реакция; он смеется слишком часто и очень громко. Мандельштам чересчур восприимчив, импульсивен, непредсказуем. И кроме того — неопиcуемо пуглив: если, например, на его пути полицейский участок, то он петляет, как заяц.

^{*} Так Н.Я. Мандельштам определила зарождение новой поэзии в процессе перевода: *Мандельштам Н. Воспоминания* // Мандельштам Н. Собрание сочинений. Т. 1. Екатеринбург, 2014. С. 149. Об оценке самой Н. Мандельштам переводов Целана см. мою статью: *Крекшин А. «Это не мой язык»: Вокруг письма Надежды Мандельштам Паулю Целану* // Новый журнал. 2014. № 276. С. 197–207.

2-й диктор: Среди всех крупных русских поэтов, которые переживут первое послереволюционное десятилетие — Николая Гумилева в 1921 году расстреляют как контрреволюционера, а великий утопист языка Велимир Хлебников умрет в 1922 году от голода — эта «заячья душа», этот столь пугливый Осип Мандельштам станет единственным непокорным и бескомпромиссным, «единственным, кто, — как пишет один современный литературовед (Владимир Марков), — никогда не ходил в Каноссу».

1-й диктор: Все двадцать² стихотворений из сборника «Камень» кажутся отчуждающе-странными.

Они — не «музыка слова», не сплетенная из «оттенков» импрессионистическая «поэзия настроения», не «вторая» реальность, в символах превышающая действительное. Их образы противостоят понятию метафоры и эмблемы; они феноменальны³. Эти стихи, в противоположность одновременно рапространявшемуся футуризму, свободны от словотворчества, словосжатия, словоразрушения. Они не являются новым «выразительным искусством»⁴.

Стихотворение здесь — это стихотворение того, кто знает, что он говорит под углом наклона своей экзистенции⁵, что язык его стиха — не «соответствие»⁶ или просто язык, но язык актуализированный⁷, звонкий и глухой одновременно. Этот язык высвобожден под знаком радикальной индивидуации⁸. Но в то же время эта индивидуация помнит о поставленных ей языком⁹ границах, о предоставленных ей языком возможностях¹⁰.

Конечно, место стиха — место человеческое, «место во Вселенной», но здесь, здесь внизу, во времени¹¹. Стихотворение остается — со всеми его горизонтами — подлунным, земным, сотворенным феноменом. Оно — обретший образ язык индивидуума, оно обладает предметностью, противопоставленностью¹², противостоянием, присутствием¹³. Стихотворение стоит в самом времени¹⁴.

2-й диктор: Такими и подобными путями идут и мысли «акмеистов», или, как они сами себя также называли, «адамистов», группировавшихся вокруг Гумилева и его журналов «Гиперборей» и «Аполлон».

1-й диктор: Да, верно, мысли. Но все же не стихи, а если же и они, то довольно редко.

1-й диктор: «'Акцїѣ» — это вершина и зрелость, полностью раскрытый цветок.

2-й диктор: В стихе Осипа Мандельштама воспринимаемое и доступное хочет раскрыться с помощью языка, хочет стать актуальным¹⁵ в своей правде. Пожалуй, в этом смысле мы можем понимать и «акмеизм» этого поэта как овременённый язык¹⁶.

1-й диктор: Эти стихи — стихи воспринимающего и внимающего, обращенного к Являемому, это Являемое вопрошающего и с ним говорящего; они — разговор¹⁷. В пространстве этого разговора формируется то, с кем заговорили, оно становится ясным, оно собирает себя вокруг Я, заговорившего с ним и давшего ему имя¹⁸. Но в этом присутствии то, с кем говорят и которое получило имя, становится неким Ты¹⁹, привносит свою инаковость и чуждость. Уже в Здесь и Сейчас стиха, уже в этой непосредственности и близости выговаривается его отдаленность, сохраняется свойственное ему: его²⁰ время.

2-й диктор: Именно эта напряженная связь времен, своего и чужого, придает стиху Мандельштама то страдательно-безмолвное вибрато, по которому мы его узнаем. (Это вибрато повсюду: в интервалах между словами и строфами, во «дворах», где рифмы и ассонансы, в пунктуации. Все это имеет семантическую значимость.) Вещи подступают друг к другу, но уже в этой общности одновременно встает вопрос о их Откуда и Куда, вопрос, «остающийся открытым» и «не имеющий ответа», вопрос, направляющий в открытое и незанятое, в пустое и свободное²¹.

1-й диктор: Этот вопрос реализуется не только в «тематике» стиха. Он также обретает образ в языке — и именно потому становится «темой». Слово — имя! — проявляет склонность к субстантивации, прилагательное исчезает, преобладают «неопределенные», именные формы глагола: стих остается открытым временем, время может подступить, время соучаствует.

2-й диктор: Вот одно из стихотворений 1910 года:

Слух чуткий парус напрягает,
Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден как природа,
И так же прост как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста;
Твой мир болезненный и странный
Я принимаю, пустота!

1-й диктор: А вот стихотворение 1911 года:

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.

А я вверяюсь их заботе.
Мне холодно, я спать хочу;
Подбросило на повороте,
Навстречу звездному лучу.

Горячей головы качанье,
И нежный лед руки чужой,
И темных елей очертанья,
Еще невиданные мной.

2-й диктор: И еще одно, но уже 1915 года:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладой когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головах царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море Черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1-й диктор: В 1922 году, через пять лет после Октябрьской революции, появляется второй сборник стихов Мандельштама: «Tristia».

Поэт — это человек, для которого язык — это всё, происхождение и судьба, находится со своим языком в изгнании, «среди скифов». «Он», — и на эту первую строку стихотворения, давшего название всему сборнику, настроен весь цикл, — «он изучил науку расставанья».

Мандельштам, как большинство русских поэтов — как Блок и Брюсов, как Белый и Хлебников, как Маяковский и Есенин, — приветствовал революцию. Его социализм — социализм этического-религиозного типа. Он возводит себя к Герцену, Михайловскому, Кропоткину; и не случайно в предреволюционные годы поэт занимался сочинениями Чаадаева, Леонтьева, Розанова и Гершензона. Политически он близок к партии левых социалистов-революционеров.

Революция для него — и здесь проявляется свойственная русской мысли хилиастическая черта — начало Иного, мятеж низов, восстание творения, переворот прямо-таки космического масштаба. Революция переворачивает мир.

2-й диктор:

Прославим, братья, сумерки свободы, —
Великий, сумеречный год.
В кипящие ночные воды
Опущен грозный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы,
О солнце, судия народ.

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые —
Не видно солнца и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

1-й диктор. Горизонты темнеют — расставанье оправдано,
ожидание утрачивается, и воспоминание овладевает
пространством времени. К воспоминаемому Мандельштамом
относится также и еврейское:

Эта ночь непоправима,
А у нас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее —
Баю-баюшки-баю —
В светлом храме иудей
Хоронили мать мою.

Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудей
Отпевали прах жены.

И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян.

2-й диктор: В 1928 году вновь появляется стихотворный том — последний. К вошедшим в него первым двум сборникам добавляется третий. «Нельзя дышать, и твердь кишит червями», — эта строка открывает цикл. Вопрос «Откуда?» становится всё более настойчивым и отчаянным. Поэзия — в одном из своих эссе Мандельштам называет ее плугом — взрывает самые глубинные слои времени, выявляется «чернозем времени»²². Глаз, говорящий и страдающий вместе с Воспринятым, обнаруживает новую способность — он становится провидческим, он сопровождает стих в его бездны²³. Поэт приписывает себя к иному, «самому чуждому» времени.

1-й диктор: 1 января 1924

Кто время целовал в измученное темя —
С сыновей нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось время
В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших —
Он слышит вечно шум, когда взревели реки
Времен обманных и глухих.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного, — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом залиют.

О глиняная жизнь! О умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,

В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.
Какая боль — искать потерянное слово,
Больные веки поднимать
И с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.

Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина...
Снег пахнет яблоком, как встарь.
Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

По переулочкам, скворешням и застрехам,
Недалеко, собравшись как-нибудь,
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Все силось полость застегнуть.
Мелькает улица, другая,
И яблоком хрустит саней морозный звук,
Не поддается петелька тугая,
Все время валится из рук.

Каким железным, скобяным товаром
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы.
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром
Из чайных розовых — как серебром плотвы.
Москва — опять Москва. Я говорю ей: «здравствуй!
Не обессудь, теперь уж не беда,
По старине я принимаю братство
Мороза крепкого и щучьего суда».

Пылает на снегу аптечная малина
И где-то щелкнул ундервуд;
Спина извозчика и снег на пол-аршина:
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.
Зима-красавица, и в звездах небо козье
Рассыпалось и молоком горит,

И конским волосом о мерзлые полозья
Вся полость трется и звенит.

А переулочки коптили керосинкой,
Глотали снег, малину, лед,
Все шелушиться им советской сонатинкой,
Двадцатый вспоминая год.
Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?
То ундервуда хряц: скорее вырви клавиш —
И щучью косточку найдешь;
И известковый слой в крови больного сына
Растает, и блаженный брызнет смех...
Но пишущих машин простая сонатина —
Лишь тень сонат могучих тех.

2-й диктор: Так совершается выход за пределы нормы — в смехе. В том, знакомом нам, «безумном» смехе поэта, в абсурде²⁴. И на пути туда Являемое — в отсутствии людей — ответило: полость конского волоса пела.

Стихи — это наброски Dasein²⁵: согласно им поэт живет.

В тридцатые годы во время «чисток» Осипа Мандельштама арестовывают. Он сослан в Сибирь, его жизненный след теряется. В одной из его последних публикаций, в армянском дневнике, напечатанном в 1932 году в ленинградском журнале «Звезда», мы находим также кое-какие заметки о поэзии²⁶. В одной из этих заметок Мандельштам вспоминает о своем пристрастии к латинскому герундию. Герундий — это страдательный залог причастия будущего времени.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Здесь и в других случаях подчеркнуто Целаном.

² На самом деле, в первое издание сборника «Камень», которого у Целана не было, вошли двадцать три стихотворения (уточнено по: *Мандельштам О.* ПССП. Т. 1. 2009. С. 525; см. также: *Мандельштам О.* Полное собрание стихотворений. СПб., 1995. С. 525).

³ Еще в «Выступлении по случаю получения литературной премии вольного ханзейского города Бремен» (26 января 1958 года) Целан назвал стих «явленной формой языка» (*Celan P. Ansprache anlässlich der Entgegennahme des Literaturpreises der Freien Hansestadt Bremen // Celan P. Gesammelte Werke in fünf Bänden. Dritter Band: Gedichte III. Prosa. Reden. Frankfurt am Main, 1986. S. 186*).

⁴ Наряду с упомянутыми выше импрессионизмом, символизмом и футуризмом, Целан говорит здесь о поэзии экспрессионизма и, в частности, Г. Бенна. В своей Марбургской лекции «Проблемы лирики» (1951) Бенн так сформулировал смысл поэзии экспрессионизма: «Наше устройство — дух, закон которого — выражение, изречение, стиль» (*Benn G. Probleme der Lyrik. Wiesbaden, 1951. S. 40*; этот ключевой для поэтики XX века текст Бенна был хорошо знаком Целану по изданию 1952 года.: *Celan P. «Mikrolithen sinds, Steinchen»*. S. 488, ср. S. 681). Понятие «выразительное искусство» Целан впервые употребляет в набросках к своему докладу «О темноте поэтического», где он замечает: «Стих ни в коем случае не является, как думают некоторые, результатом какого-то „выразительного искусства“» (*Celan P. Das Vortragsprojekt <Von der Dunkelheit des Dichterischen> // Celan P. «Mikrolithen sinds, Steinchen»*. S. 145, ср. S. 147).

⁵ Такую же характеристику, но только уже по отношению к современной немецкой лирике, Целан даст в 1957 году в своем ответе на анкету французского издательства «Флиinker» (опубликовано в 1958 году): «Разумеется, здесь когда-либо является не сам язык, язык как таковой в своей функции, но всегда только под особым уклоном своей экзистенции говорящее Я, вопрошающее о контуре и ориентировании» (*Celan P. Antwort auf eine Umfrage der Librairie Flinker // Celan P. Gesammelte Werke in fünf Bänden. Dritter Band. S. 167, 168*). Чуть позже в «Меридиане», т. е. в своем выступлении по случаю присуждения премии Георга Бюхнера (Дармштадт, 22 октября 1960 года), Целан несколько изменит эту формулировку в хайдеггеровском духе на «под уклоном своего Dasein» (*Celan P. Der Meridian. S. 9*). Действительно, для М. Хайдеггера, трактат которого «Бытие и время» Целан интенсивно читал в 1952–53 годах, бытие человека (Dasein) не ограничивается его экзистенцией, но также включает в себя выводимую из его экзистенции понятность бытия (*Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1993. S. 11–13, 440*; эти страницы были помечены Целаном в принадлежавшем ему экземпляре трактата — см.: *Celan P. La Bibliothèque philosophique. Die philosophische Bibliothek. Catalogue raisonné des annotations établi par A. Richter, P. Alac et B. Badiou. Préface de J.-P. Lefebvre. Paris, 2004. P. 372, 373*). В этом смысле становится понятным изменение, внесенное позднее в текст Целаном: поэт знает из своей экзистенции, что «он говорит под укло-

ном своего Dasein» (ср. уже в этом тексте: «Стихи — это наброски Dasein: поэт по ним живет»).

⁶ Целану близки размышления Мандельштама о природе слова как такового, сознательный смысл которого одновременно является его совершенной формой (*Мандельштам О. Утро акмеизма // Мандельштам О. ПССП. Т. 2. 2010. С. 22–26*). В своей критике символистской поэтики подобия или соответствия, Мандельштам пишет: «Всё преходящее есть только подобие [...] Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Вместо символического „леса соответствий“ — чучельная мастерская [...] Ничего настоящего, подлинного. Страшный контреданс „соответствий“, кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой» (*Мандельштам О. О природе слова // Мандельштам О. ПССП. Т. 2. С. 76–77*). Целану не было знакомо эссе «Утро акмеизма», но он внимательно читал статью «О природе слова», вошедшую в принадлежавшее ему нью-йоркское издание Мандельштама («*Kyrrillisches, Freunde, auch das...*»). Die russische Bibliothek Paul Celans im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Aufgezeichnet, beschrieben und kommentiert von Chr. Ivanović. Marbach am Neckar. 1996. S. 88). Поставленное Целаном в кавычки слово «соответствие» — это в то же время намек на скрытую полемику с Хайдеггером, согласно которому «соответствие», с одной стороны, подразумевает связь или отношение, с другой — язык или речь (*Heidegger M. Einführung in die Metaphysik. Tübingen, 1993. S. 95*). Именно «соответствие» является для Хайдеггера «тем говорением, которое говорит в стихии языка» (*Heidegger M. «... dichterisch wohnt der Mensch...» // Heidegger M. Gesamtausgabe. Band 7. Frankfurt am Main, 2000. S. 194*). Для Целана же смысл поэзии раскрывается в актуализированном языке диалогической философии, что было верно отмечено еще Г. Буром: «Само соответствие — это уже встреча, в которой стих пребывает и становится „беседой“» (*Buhr G.. Celans Poetik. Göttingen, 1976. S. 115; см. также: Lemke A. Konstellation ohne Sterne. S. 236–253, 339, 369–375*).

⁷ Проводимое Целаном различие между «просто языком» и «языком актуализированным», имеет определенное сходство с размышлениями о языке Хайдеггера, раскрытыми им в статье «Исток художественного творения» и в книге «Введение в метафизику» (Целан был знаком с этими текстами уже в 1953–54 годы: *Celan P. La Bibliothèque philosophique. P. 358, 359, 345*). Согласно Хайдеггеру, «язык — это не только и не в первую очередь выражение в звуках и на письме того, что должно быть сообщено», сколько «язык изначально приводит сущее как некое сущее в открытое [...] В силу того, что язык впервые дает имя сущему, такое именование

приводит сущее к слову и явлению». Более того, «сам язык в существенном смысле есть поэзия [...] Язык не потому поэзия, что он — прапоэзия, но поэзия совершается в языке, поскольку он хранит первоначальную сущность поэзии» (*Heidegger M. Der Ursprung des Kunstwerkes // Heidegger M. Holzwege. Frankfurt am Main, 1980. S. 59, 60; ср.: «Язык — это прапоэзия, в которой народ творит бытие»: Heidegger M. Einführung in die Metaphysik. S. 131*). Следует, правда, заметить, что принимая отчасти хайдеггеровскую концепцию становления языка, Целан избегает использования онтологических формулировок философа.

⁸ Иными словами, в актуализированном языке поэт выходит из своей экзистенции, оставаясь при этом в пределах «просто языка», «во времени». Действительно, как справедливо замечает А. Лемке в своем анализе «Меридиана», куда в несколько иной формулировке вошел этот тезис, «индивидуум набрасывает себя самого именно в пределах языка, который открывает возможности и одновременно устанавливает также границы этого открытия [...] Языковое раскрытие и разграничение являются двумя сторонами Dasein» (*Lemke A. Konstellation ohne Sterne. S. 373*). В анализе языка как самораскрытия экзистенции Целан сближается с Хайдеггером, для которого поэзия, среди прочего, принадлежит к способам самовыражения экзистенции: «Сообщение экзистенциальных возможностей расположения, т. е. раскрытие экзистенции, может стать собственной целью „поэтической“ речи» (*Heidegger M. Sein und Zeit. S. 162, ср. S. 16*). Для автора «Бытия и времени» экзистенция «выражает себя как речь», а «выговоренность речи есть язык». «Всякая речь о..., — продолжает философ, — сообщающая в изрекаемом, имеет одновременно характер самовыражения. В речи Dasein себя выражает, не потому что оно как прежде всего „внутреннее“ замкнуто по сравнению со снаружи, но потому что оно, понимаемое как бытие-в-мире, уже „снаружи“. Выражаемое есть именно бытие-снаружи [...], которое есть „высаянность как открытое место“» (*Heidegger M. Ibid. S. 161, 162, 443*). Всякое же «бытие-снаружи» является трансценденцией, причем «трансценденция бытия Dasein исключительная, поскольку в ней лежит возможность и необходимость радикальнейшей индивидуации» (*Heidegger M. Ibid. S. 38*). Очевидно, что в характеристике актуализированного языка как способа выражения Dasein и экзистенции Целан следует Хайдеггеру. В «Меридиане» он уподобит актуализированный язык речи процессу говорения (*das Sprechen*), что эквивалентно хайдеггеровскому пониманию речи — самовыражению (*die Rede*; см.: *Celan P. Der Meridian. S. 9*). Для Целана, как и для Хайдеггера, в языке стиха совершается высвобождение человеческой экзистенции или, как он позднее уточнит в «Меридиане», «выход из человеческого» — именно там, «снаружи», стих ищет и находит свое

место (*Celan P. Ibid. S. 5, 8, 10*). Правда, в отличие от Хайдеггера, Целан избегает использовать понятие трансценденции и предпочитает говорить о высвобождении языка под знаком радикальной индивидуации или, как он по-иному формулирует в своем при жизни не опубликованном докладе «О темноте поэтического», стих «рождается как результат радикальной индивидуации», как никогда прежде находящей в современной поэзии свое выражение. Тем самым стих актуализирует и выявляет человеческое. Более того, стих — это «самореализация языка посредством радикальной индивидуации, т.е. уникальное, неповторимое говорение индивидуума» (*Celan P. Das Vortragsprojekt <Von der Dunkelheit des Dichterischen>. S. 141, 145, 144, 148*). Очевидно, что при всем различии подходов Целана и Хайдеггера к анализу сущности языка оба — и поэт, и философ — едины в своих размышлениях о его феноменологической сущности (о внимательном чтении Целаном разобранных нами цитат из «Бытия и времени» см.: *Celan P. La Bibliothèque philosophique. P. 375, 376, 378*).

⁹ Здесь под языком Целан подразумевает «просто язык» или «соответствие», отличные от языка актуализированного (развернутый комментарий см. в прим. 10).

¹⁰ При переводе этой — синтаксически довольно запутанной фразы — мы исходили из усвоенной Целаном философской посылки Хайдеггера (подробнее см. прим. 7). Если же исходить из лингвистического тезиса, проводящего различие между *langue* (язык как данность общения, *die Sprache*, по Целану — «просто язык») и *langage* (язык как процесс общения, т. е. *die Rede* или *das Sprechen*, речь или говорение, по Целану — «актуализированный язык»), то перевод данной фразы будет выглядеть следующим образом (для большей ясности мы приводим наши дополнения в квадратных скобках): «Этот [актуализированный] язык высвобожден под знаком хотя и радикальной индивидуации, но одновременно сохраняющийся [актуализированный язык] в памяти благодаря установленным для [актуализированного языка] него [просто] языком границам и открывающимся им [просто языком] возможностям». Именно так эта фраза, вошедшая с небольшими изменениями в издание «Меридиана», была переведена на французский: «Non, il s'agit d'une parole (правильно: *langage*! — И.К.) actualisée, déagée, sous le signe d'une individuation radicale, mais en même temps toujours consciente des limites qui lui sont assignées, des possibilités qui lui sont ouvertes, par la langue» (*Celan P. Le Méridien & autres proses. Édition bilingue. Traduit de l'allemand et annoté par J. Launay. Paris, 2002. P. 76*). В нашем переводе мы предпочли философскую трактовку лингвистической потому, что в этом контексте она рельефнее выявляет представление Целана о связи поэзии и языка с экзистенцией человека (в хайдег-

геровском смысле «языка как дома бытия», в котором обитает человек — см.: *Heidegger M. Wozu Dichter? // Heidegger M. Holzwege. S. 306*; о том, что от внимания Целана не ускользнул этот тезис Хайдеггера, свидетельствуют пометки в принадлежавшем ему экземпляре книги «Лесные засеки»: *Celan P. La Bibliothèque philosophique. P. 364*; факсимиле этой страницы воспроизведено у А. Франс-Ланора: *France-Lanord H. Paul Celan et Martin Heidegger. P. 300*).

¹¹ О том, что поэзия принадлежит времени, Целан говорил уже в своей «Бременской речи»: «Ибо стих не лишен отпечатка времени. Конечно, он претендует на бесконечное, он ищет прорваться сквозь время — сквозь него, но не поверх него» (*Celan P. Ansprache. S. 186*). В эссе о Мандельштаме, а затем в «Меридиане», Целан развивает свой тезис об открытости поэзии времени, в котором «у самого стиха всегда только это одно, неповторимое, точное настоящее» (см. ниже, а также: *Celan P. Der Meridian. S. 9*).

¹² Характеристика Целаном поэзии, обладающей «предметностью» (*die Gegenständlichkeit*) и «противопоставленностью», т. е. объектностью (*die Gegenständigkeit*), близка хайдеггеровскому анализу возникновения современной науки и зарождения субъективности. В статье «Время картины мира», которую Целан читал еще в 1953 году (см.: *Celan P. La Bibliothèque philosophique. P. 360*), Хайдеггер видит переход от науки к исследованию в том, что в представлении субъекта бытие сущего сводится к предметности (*die Gegenständlichkeit*): «Сущее больше не является присутствующим, но в представлении оно прежде всего поставленное против, противопоставленное (*das Gegen-ständige*) [...] Так представление стоняет все в единство так противопоставленного» (*Heidegger M. Die Zeit des Weltbildes // Heidegger M. Holzwege. S. 85, 106*).

¹³ В набросках к «Меридиану» Целан замечает, что «настоящее стиха (и это не имеет ничего общего с биографическими данными, стих — это почерк жизни), настоящее стиха — это настоящее личности» (*Celan P. Der Meridian. S. 113*).

¹⁴ См. прим. 11.

¹⁵ Смысл этого хотения «стать актуальным» Целан прокомментирует в набросках к докладу «О темноте поэтического»: «В стихе нечто говорится, но фактически так, что сказанное так долго остается несказанным, пока тот, кто его читает, не даст ему высказаться. Иначе говоря: стих не актуален, а актуализуем», он принадлежит к пределам возможного: «актуализирующее себя — язык, не успеет это свершиться, отступает в область возможного. „Le poème“ [Стихотворение], пишет Валери, „est du langage à l'état naissant“ [— это язык в состоянии возникновения]; итак, *verbum in statu nascendi* — освобождающийся язык» (*Celan P. Das Vortragsprojekt <Von der Dunkelheit des Dichterischen>. S. 151, 130*).

¹⁶ «Овременённый язык» («gezeitigte Sprache») «акмеизма» Мандельштама — это язык *созревший* временем и время выявляющий. Целан употребляет это выражение по аналогии с понятием времени у Хайдеггера: «Временность может *овременяться* в различных возможностях и различным способом» (Heidegger M. Sein und Zeit. S. 304, ср. S. 328). Именно в овременённости заключается, согласно Целану, «феноменальный характер» стиха Мандельштама. Ср. также прим. 11.

¹⁷ Хотя стихи, согласно Целану, и «монотонны» (ибо «никто не станет тем, кем он не является»), они все же с надеждой обращены к «другому», к беседе-встрече с ним (Celan P. Der Meridian. S. 32, ср. S. 169; об одновременной моно- и диалогичности стиха Целана пишет Франс-Ланор: France-Lanord H. Paul Celan et Martin Heidegger. P. 87–94). Именно в пространстве беседы не только совершается формирование самого стиха, который «по своей сути диалогичен» (Celan P. Ansprache. S. 186), но и становление собеседующих Я и Ты. Следует отметить, что уже давно стало общим местом связывать целановскую концепцию диалога с диалогической философией М. Бубера (см., например: Lyon J.K. Paul Celan and Martin Buber: Poetry as Dialogue // Proceedings of the Modern Language Association of America. 86/1. 1971. P. 110–120; Lévinas E. De l'être à l'autre // Lévinas E. Nous propres. Montpellier, 1976. P. 59–66. Об интересе Целана к философии диалога свидетельствует и то, что кроме книг Бубера, в его библиотеке были также тексты Э. Левинаса — см.: Celan P. La Bibliothèque philosophique. P. 467, 468, 497, 498). Однако уже А. Лемке справедливо поставила под сомнение буквальную зависимость диалогичности языка Целана от Бубера: хотя оба — поэт и философ — и сходятся в признании диалогической природы языка, между ними существует значительное различие в понимании *возможности* диалога Я и Ты. На материале «Меридиана», куда этот отрывок вошел с некоторыми изменениями (Celan P. Der Meridian. S. 9, 10), а также на примере «бутылочной почты» из «Бременской речи» — ведь она может и не дойти до адресата (Celan P. Ansprache. S. 186), — Лемке показывает, что целановское ассиметричное понимание отношения Я и Ты, в которое последнее «приносит свою инаковость и чуждость», но главным образом свое «время», отлично от неизбежности «полной встречи» Я и Ты у Бубера (Lemke A. Konstellation ohne Sterne. S. 398–402; симптоматично, что знакомый русскому читателю по «Собеседнику» Мандельштама образ «бутылочной почты», этого несбывшегося диалога, появляется у Целана задолго до его знакомства с этим текстом, т. е. не ранее июня 1961 г., что убедительно было доказано Б. Видеманн: Wiedemann B. Eine Flaschenpost auf Atemwegen: Paul Celans zweite Begegnung mit Ossip

Mandelstamm // Sprachkunst, Beiträge zur Literaturwissenschaft. Jahrgang XXXVI/2005. 1. Halbband. Wien, 2005. S. 69–97).

¹⁸ По справедливому замечанию Х.- Г. Гадамера, это Я относится не только к поэту, но и к каждому из нас, ибо в процессе чтения мы — а значит, и всякое Ты — вовлечены в «Я-образ» поэта (*Gadamer H.-G.*. Wer bin Ich und wer bist Du? Ein Kommentar zu Paul Celans Gedichtfolge «Atemkristall». Frankfurt am Main, 1986. S. 11, 12).

¹⁹ Уже в «Бременской речи» Целан говорит о направленности стихов «на собеседуемое Ты, на собеседуемую реальность» (*Celan P.* Ansprache. S. 186). Однако в силу того, что Ты «приносит свою инаковость и чуждость», полного единства между Я и Ты достигнуто быть не может. Не случайно в процессе подготовки текста «Меридиана» Целан вычеркнет слово «единство» в пассаже о соотношении Я и Ты стиха: «Речь идет о снятии дуальности; вместе с Я стиха устанавливается также Ты; речь идет о таком единстве смотрении-в-единое [...]» (*Celan P.* Der Meridian. S. 152). В этом «смотреии-в-единое», иначе говоря, направленности стиха на единство, не может быть достигнута «полная встреча» в буберовском смысле этого слова (ср.: *Buber M.* Ich und Du. Köln, 1966. S. 121). Именно поэтому справедливее было бы говорить об *интенциональной диалогике* поэзии Целана.

²⁰ Все три указательные местоимения относятся к «Ты», что становится ясно из внесенного Целаном в эту фразу уточнения в «Меридиане», где «Ты» приравнивается к «другому» (*Celan P.* Der Meridian. S. 10).

²¹ Стихи направлены «на нечто открытое, незанятое», отмечает Целан в «Бременской речи» (*Celan P.* Ansprache. S. 186). И для Хайдеггера «сущность поэзии», высветляющей «открытое» и «пустое», достойна вопрошания (*Heidegger M.* Der Ursprung des Kunstwerkes. S. 58, 59; этот отрывок из статьи Хайдеггера был помечен Целаном: *Celan P.* La Bibliothèque philosophique. P. 358, 359). Но что такое это «незанятое» (das Besetzbare)? В набросках к докладу «О темноте поэтического» Целан пояснит, что она связана с актуализуемостью стиха: «Это — также в пределах времени — „незанятость“ (die Besetzbarkeit) стиха: Ты, к которому он направлен, дано ему в дороге к этому Ты. Ты — здесь, прежде чем оно свершилось» (*Celan P.* Das Vortragsprojekt <Von der Dunkelheit des Dichterischen> S. 151). «Незанятость» — это не сам стих, а только его возможность, справедливо замечает Франс-Ланор: *France-Lanord H.* Paul Celan et Martin Heidegger. P. 85, 287, 288.

²² В статье «Слово и культура» Мандельштам пишет: «Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху» (*Мандельштам О.* Слово и культура // Мандельштам О. ПССП. Т. 2. С. 51. Эта фраза была подчеркнута

Целаном в принадлежавшем ему издании Мандельштама: *Celan P. «Mikrolithen sinds, Steinchen». S. 881*). Поэтический образ чернозема послужит Целану для создания стихотворения «Чернозем» («Schwarzerde», 1961), которое войдет в посвященный Мандельштаму сборник «Роза-Никто»: Чернозем, черная / земля ты, мать / часов — / отчаянье: // Из руки и раны / ее тебе при- / рожденное закрывает / чаши твои (*Celan P. Die Gedichte. Kommentierte Gesamtausgabe in einem Band. Hrsg. und komm. Von B. Wiedemann. Frankfurt am Main, 2003. S. 141*). По справедливому замечанию Ж. Чивикова, у Целана, в отличие от Мандельштама, чернозем перестает быть символом плодородия, а становится образом отчаяния: «плодородный чернозем Мандельштама замещается страшной, „очерненной“ историческим опытом земель» (*Čivikov G. Schwarzerde // Kommentar zu Paul Celans «Die Niemandsrose». Hrsg. von J. Lehmann, unter Mitarbeit von Chr. Ivanović. Heidelberg, 2003. S. 170, 171*). Символика чернозема обыгрывается Мандельштамом и в стихотворении «Нашедший подкову» (*Мандельштам О. ПССП. Т. 1. С. 128–131*), переведенном Целаном еще до написания эссе о Мандельштаме (*Celan P. Gesammelte Werke in sieben Bänden. Fünfter Band: Übertragungen II. Zweisprachig. Frankfurt am Main, 2000. S. 131–137*; ср. *Ivanović Chr. Das Gedicht im Geheimnis der Begegnung. S. 232, 235, 238*). Стихотворение Мандельштама «Чернозем» из цикла «Воронежские тетради», впервые опубликованное лишь в 1962 году, Целану известно не было.

²³ В кратком послесловии к сборнику собственных переводов из Мандельштама Целан определяет его стих как место и средоточие человеческого бытия (*Dasein*), которое существует в реальном пространстве и времени: «Тем самым сказано, — заключает Целан, — в какой мере мандельштамовский стих, стих погибшего, вновь появляющийся из своей бездны, имеет отношение к нам, живущим сегодня» (*Mandelstamm O. Gedichte. Deutsch von P. Celan. Frankfurt am Main, 1959. S. 65*).

²⁴ Для Хайдеггера вопрос о предназначении поэзии в итоге разрешается в раскрытии исконной основы коллективного *Dasein*, которой является «земля, а для исторически ставшего народа — его земля, закрытая в себе почва, на которой он покоится [...]» (*Heidegger M. Der Ursprung des Kunstwerkes. S. 61*). Для Целана же этот вопрос остается «открытым», указующим «на открытое и незанятое, на пустое и свободное» — именно туда обращен поэт, сопровождающий «стих в его бездны», где уже нет календарно-исторического времени (о различии концепций поэзии Хайдеггера и Целана см.: *Lemke A. Konstellation ohne Sterne. S. 255–300, 381–396*). Куда важнее для Целана оказывается то, что в стихе совершается *вневременное становление* личности поэта: ведь «настоящее стиха — это настоящее лич-

ности» (*Celan P. Der Meridian. S. 113* — ср. прим. 17). И тогда поэт достигает трансценденции — выходит «за пределы нормы» — в абсурде: тогда стих обретает место, пояснит позднее Целан, «где все тропы и метафоры хотят быть доведены *ad absurdum*», величию которого подобает поклонение (*Celan P. Ibid. S. 3, 10*). Если для Хайдеггера смысл поэзии заключается в обретении стабильной *почвы* исторически ставшего *Dasein* (индивидуального или коллективного), то для Целана — и в этом его основное отличие от *немецкого* философа — поэзия, хотя и есть своего рода «возвращение домой», все же не гарантирует устойчивости человеческого бытия (ср.: *Lenke A. Op. cit., S. 363*). Более того, поиски самого себя оборачиваются для поэта безумием и абсурдом — так для него «совершается выход за пределы нормы».

²⁵ Здесь Целан использует понятие «наброски *Dasein*» (*Daseinsentwürfe*), которое он, правда, оставляет без объяснения. Впервые это понятие появляется у Целана в процессе подготовки доклада «О темноте поэтического» (*Celan P. Das Vortragsprojekt <Von der Dunkelheit des Dichterischen>. S. 151*). Позже оно встречается в основном тексте «Меридиана» и в подготовительных к нему материалах. «Стихи — это наброски *Dasein*», они идут путями, «на которых язык обретает голос, это встречи, пути голоса к воспринимающему Ты, сотворенные пути, возможно, наброски *Dasein*, самопредпосылание (*Sichvorausschicken*) к себе самому, в поисках себя самого... Некое возвращение домой» (*Celan P. Der Meridian. S. 11, ср. S. 43, а также S. 120*). Безусловно, оно сложилось под влиянием чтения Хайдеггера, для которого понятие «набросок» (*der Entwurf*) является одним из ключевых в интерпретации *Dasein*. Вот как он определяет его в трактате «Бытие и время»: «понимание само по себе имеет экзистенциальную структуру, которую мы называем *наброском* [...] Набросок есть экзистенциальное устройство пространства фактического умения быть. И как брошенное, *Dasein* брошено в способ бытия наброска» (*Heidegger M. Sein und Zeit. S. 145*). Одним из способов бытия наброска для Хайдеггера является поэзия. Как «просветляющий набросок», она раскрывает «посреди сущего открытое место», в котором сущее обретает «свечение и звон» (*Heidegger M. Der Ursprung des Kunstwerkes. S. 58*). Именно в силу наброска *Dasein* становится понятным, или, как говорит Хайдеггер, «прозрачным», и может обрести самого себя: «И лишь поскольку бытие этого Здесь (*Da*) обретает свою конституцию благодаря пониманию и характеру его наброска, поскольку оно *есть* то, чем оно становится или не становится, оно, понимая, может сказать себе самому: „стань тем, что ты есть!“» (*Heidegger M. Sein und Zeit. S. 145, 146*). При всем сходстве Целана с Хайдеггером в понимании *функциональной* роли наброска *Dasein* здесь очевидно различие в трактовке обоими его *конститу-*

тивного значения. Набросок Dasein — это не достигнутое состояние, а его «чистая возможность» (выражение Франс-Ланора: *France-Lanord H. Paul Celan et Martin Heidegger*. P. 84). Действительно, как нами уже было замечено, в отличие от Хайдеггера, поэт у Целана едва ли обретет «свою конституцию» в «мучительно-безмолвном вибрато» стиха, едва ли в абсурде сможет он найти устойчивость своего бытия.

²⁶ Имеются в виду очерки «Путешествие в Армению», впервые изданные в 1933 году («Звезда», № 5), а не в 1932 году, как вслед за Г. Струве ошибочно считал Целан (ср.: *Струве Г. О.Э. Мандельштам*. С. 13).

Памяти Ива Бонфуа
(24.06.1923, Тур – 1.07.2016, Париж)



ФИЛИПП ЖАКОТЕ

Приношение Иву Бонфуа*

Сегодня я не могу говорить об Иве Бонфуа иначе, как с глубокой печалью. Нас связывает очень долгая дружба; мы впервые встретились в 1953 году, в тот момент, когда он опубликовал свою первую книгу в издательстве Mercure, а я — мою первую небольшую книгу в серии *Metamorphoses*. И с этого момента дружба с ним была крепчайшим сплавом восхищения и любви — к человеку и к его сочинениям одновременно, потому что всё в нем обладало чрезвычайной цельностью. Что меня утешает, так это то, что в последний месяц его жизни, о котором нельзя не думать, что он был тяжелым испытанием, я смог позвонить ему, а я редко это делал, чтобы его не беспокоить... Что я смог передать ему мои чувства, которые я переживал, получив и читая один из последних его томиков, «Красный шарф», а вместе с ним другие его книги. Я сумел сказать ему, что вижу в этой книге своего рода освящение, подтверждение и осуществление всего его творчества, которое всегда так цельно, будь это критика, переводы или собственно поэзия. И в этой книге, по существу, есть возвращение к детству. Это не триумфаторское завершение, оно скромное. Он возвращается к детству, возвращается к родителям. Он очень редко говорил об этом прежде. И это как-то поправляет и утешает мою печаль и горе.

* Фрагмент записи радиопередачи, посвященной Иву Бонфуа на канале *France-Culture* несколько дней спустя после кончины поэта. Печатается с разрешения автора. — *Прим. ред.*

Когда я думаю о нем, я думаю и об Андре де Буше, еще одном нашем друге, который, к сожалению, умер уже несколько лет назад. В день его похорон я привел цитату из Гельдерлина, поэта, который был так важен для нас: «Снег, как майский ландыш, означающий / Благородство души». И эти слова, «благородство души», сегодня все больше и больше кажутся мне позаимствованными из какого-то мертвого или почти мертвого языка, которые теперь вряд ли кто-нибудь решится произнести вслух. Эти слова приходят мне на ум и в связи с Андре дю Буше, и точно так же — в связи с Ивом Бонфуа. Я имею в виду при этом не возвышенный взгляд с какой-то вершины, а взгляд, который был постоянно устремлен вверх, в самую высоту, с начала их творческой работы до конца. И поэтому есть огромное утешение в том, что можно опереться на два эти творческие мира, на двух больших поэтов современности.

И в эти же дни я получил из Парижа книгу, озаглавленную «Красота мира». Это собрание эссе Жана Старобинского, совершенно изумительных. Эти слова, «Красота мира», с ними почти то же... Кажется, сегодня так больше нельзя говорить, и в том, что такое название смогли дать этому собранию работ великого критика, в которых знание всегда питается необычайной чувствительностью, я вижу еще один знак утешения. Это как помощь в битве с, я бы сказал, удешевлением, оподлением нашего мира. Помощь, которая мне необходима все больше. Я счастлив, что могу принести дань глубокого восхищения сразу трем этим великим людям. Старобинский, к счастью, еще с нами.

Журналист: Филипп Жакоте, Вы сказали: Ив Бонфуа был одновременно поэтом и тем, кто мыслит о поэзии, кто много говорил о поэзии, включая и поэзию других авторов. Что он говорил Вам о Вашей поэзии? Были ли у Вас с ним споры?

Филипп Жакоте: Нет, совсем нет. Я не человек споров... Я думаю, у нас были дружеские отношения, и речи не шло, чтобы как-то противостоять друг другу, нет. Нам больше хотелось беседовать о чем-нибудь совсем другом. Но когда он говорил о других поэтах, он всегда делал это с удивительной глубиной и ясностью.

Журналист: А о чем из его текстов или, быть может, о какой-то книге (помимо «Красного шарфа», уже Вами упомянутого), представительной для его творчества, Вы сегодня особенно думаете?

Филипп Жакоте: Да, есть такие сочинения... Я думаю, «Внутренняя область»... Это одна из прекраснейших книг о поэзии, как он сумел это сделать, и одновременно о живописи ... И, среди поэтических книг, скорее всего, — относительно поздние стихи, как, например, «Выгнутые доски»*.

Перевод с французского Ольги Седаковой

Послесловие

Ив Бонфуа и Филипп Жакоте, давно признанные по Франции, да и во всей Европе живыми классиками, в России стали известны с запозданием. Первая, совсем небольшая книга стихотворных переводов из Бонфуа вышла в 1995 году в московском издательстве Carte Blanche. Марк Гринберг, сделавший эту книгу, стал впоследствии основным переводчиком и стихов, и эссеистики Ива Бонфуа в России. С Бонфуа его связывали многолетняя дружба и сотрудничество**.

* Мы публикуем ниже в русском переводе стихотворение в прозе из этого цикла, давшее ему заглавие.

** Четыре стихотворения из разных книг в переводах Марка Гринберга мы публикуем ниже. Библиография русских переводов сочинений Ива Бонфуа, изданных на сегодняшний день:

Стихи. М.: Carte blanche, 1995.

Лодочка Сэмюэла Беккета // Сегодня. 1996. № 102. 13 июня.

Ничья роза // Знамя. 1996. № 12.

Пауль Целан // Иностранная литература. 1996. № 12.

Невероятное. Избранные эссе. М.: Carte blanche, 1998.

Избранное, 1975–1998. М.: Carte blanche, 2000.

Внутренняя область. М.: Carte blanche, 2002.

Стихи и миниатюры // Мосты. 2004. № 2. С. 349–353.

Пространство другими словами: Французские поэты XX века об образе в искусстве. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. С. 183–207.

Выгнутые доски. Длинный якорный канат. СПб.: Наука, 2012.

Два эссе о Шекспире // Иностранная литература. 2014. № 10.

Первая книга Филиппа Жакоте вышла в 1996 году в издательстве «Русский путь» (переводы В. Ширияева и А. Давыдова, под ред. Никиты Струве). В дальнейшем его эссеистику переводили Борис Дубин и Марк Гринберг, а стихи — Ольга Седакова.

К настоящему времени по-русски вышло уже немало изданий и стихов, и прозы обоих поэтов*. Издана и первая по-русски книга Андре дю Буше, о котором в своем слове говорит Филипп Жакоте, также в переводах Марка Гринберга (Издательство Ивана Лимбаха, 2005).

Прощальные слова Филиппа Жакоте Иву Бонфуа напоминают мне о другой стихотворной элегии памяти друга-поэта, элегии *Виктора Гюго Теофилю Готье*:

Друг, и поэт, и дух! Из нашей тьмы ночной,
Из толков и молвы уходишь ты. Иной,
Нездешней славы луч взошел незаходящий.
Я, любящий тебя, я, в памяти хранящий
Тот дерзостный полет, где я, лишаясь сил,
В крыле души твоей опору находил,
Я, долголетием, как выюгой убеленный,
Хочу прислушаться к эпохе отдаленной:
То наша молодость, сиянье двух аврор,
Борьба и ураган, и восхищенный хор
— На громких поприщах ликующее слово...
И слышу смутный гул великого былого.

Интервью и два рассказа на тему «Гамлета» // Иностранная литература. 2016. № 5.

Век, когда слово хотели убить. Избранные эссе. М.: НЛО, 2016.

* Библиография русских переводов сочинений Филиппа Жакоте, изданных на сегодняшний день:

В свете зимы. М.: Русский путь, 1996.

Стихи. Проза. Записные книжки. М.: Carte Blanche, 1998.

Пейзажи с пропавшими фигурами. СПб: Алетейя, 2005.

[Стихи] // Ревич А. Дарованные дни. М.: Время, 2004.

На краю // Пауль Целан: Материалы, исследования, воспоминания. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2007. С. 11–12.

Прогулка под деревьями. М.: Текст, 2007.

В комнатах садов. М.: Арт-Волхонка, 2014.

* * *

Сын юной Франции и Греции седой,
Ты мертвых почитал с надеждой молодой,
Не закрывая глаз на будущее мира:
Жрец в Аттике, друид у черного менгира,
Брамин у гангских вод — ты крепкою рукой
Лук Фебов оснастил архангельской стрелой.
Ты навещал, как друг, Роланда и Ахилла.
Кузнец таинственный, ты знал, какая сила
Умеет все лучи сплотить в единый цвет.
Закат в твоей душе приветствовал рассвет,
Былое будущему пролагало русло.
Ты в древнем почитал грядущее искусство.
И если кто-нибудь, безвестен, юн и смел,
Свой голос пробовал — как ты его умел
Услышать и принять и верить окрыленье!
Ты знал, что отомстят досадному глумленью
Поруганный Эсхил, осмеянный Шекспир;
Что новым воздухом налитан новый мир:
Искусство движется, себя преобразая
И дух Прекрасного Высоким умножая.
Мы помним твой восторг, когда, взрывая тишь,
Та драма хлынула, как войско, на Париж
И грянул флореаль среди зимы жестокой,
И новый идеал звездой огненноокой
Взошел, горящие нам небеса раскрыв,
И загнан был Пегас, и взнуздан Гиппогрифф.

* * *

Приветствую тебя у гробовой черты!
Иди за истиной, искатель красоты,
По трудной лестнице: во мраке небывалом
Есть черного моста аркада над провалом.
— Иди! Умри! Конец — конечный шаг вперед.
Над бездной вечности ширяющий полет.
Свободный, ты глядишь свободными глазами
Всю суть, всю широту, все взысканное нами:
И мощный вихрь высот, и страшный свет чудес.
И твой Олимп тебе откроется с небес,
С вершины истины откроется химера

Иова самого и самого Гомера,
 С высот Всевышнего — Иегова. Дух, гляди!
 Взлетай и возрастай, пари, сияй! Иди.
 Во мне людская смерть живет благоговенье:
 Сей вход в небытие есть в некий храм введение.
 И, созерцая тех, кто прежде нас уйдет,
 Слежу в их шествии мой будущий исход.
 Я чувствую, мой друг: судьба полна до края.
 Из одиночества я в смерть переступаю
 И полон ясных звезд глубокий вечер мой.
 И что ж, пора. Уж нить, пресыщена длиной,
 Трепещет — и к мечу едва не припадает,
 И вихрь, что вас унес, меня приподнимает.
 Изгнаннику, и мне пора собираться в путь.
 Меня зовут и ждут. Иду! Еще чуть- чуть!
 Не стоит затворять загробные ворота...

Все минет. Минем мы. Всегда, без поворота
 Все клонится. И век, во всех его лучах,
 Соскальзывает в тень и наш уносит прах.
 О, как теперь шумят из призрачного мрака
 Дубы, поваленные для костра Геракла,
 И кони смерти ржут, кусая удила:
 За лучшим из веков хозяйка их пришла. —
 Сей век, сей гордый век, смирявший ветер встреч-
 ный,
 Кончается. Готье! тебя в пляде вечной
 Приветят Ламартин, Дюма, Мюссе... Поэт!
 Живой воды уж нет. Ключа Отрады нет,
 Как Стикса больше нет. И только жнец проклятый
 Сурово движется к полоске недожатой
 И серп его свистит. Должно быть, мой черед.
 Давно уже, судьбу читая наперед,
 Я медлю и молчу, готовый к новоселью,
 С улыбкой у могил, в слезах над колыбелью*.

* Виктор Гюго. Теофилю Готье (перевод с французского Ольги Седаковой).

Это сближение может показаться странным: что дальше от тихой и сосредоточенной музыки Бонфуа и Жакоте, чем шумный и яркий романтизм Гюго? Но при всех очевидных различиях речь идет по существу о том же: о творческой дружбе, об общих ориентирах в современности, о взаимной поддержке:

Тот дерзостный полет, где я, лишаясь сил,
В крыле души твоей опору находил.

Жакоте в своем слове говорит об опоре в совсем другой, чем у романтиков, борьбе с современностью. Его опора, его союзники — Ив Бонфуа, Жан Старобинский, Андре дю Буше. А с чем и за что идет борьба?

Все это имена людей глубочайшей гуманитарной образованности, великих читателей, критиков, переводчиков, людей высокого и тонко культивированного чувства, прошедших большую школу модерна и ищущих того, что можно назвать «классикой в неклассическое время». Не случайно уже при жизни сочинения Жакоте и Бонфуа выходят в золотом издании «Плеяды». Но что я имею в виду под классикой?

Три точки кажутся мне центральными в поминальном слове Жакоте. Это «благородство души», взятое из Гельдерлина, «красота мира» из Старобинского — и горькое наблюдение самого Жакоте о том, что слова эти звучат теперь как «заимствованные из мертвого или почти мертвого языка». Естественно, речь идет о языке не в лингвистическом понимании: то, что имеется в виду, — это некоторый общий для всех ресурс содержаний и форм, в которых выражается человеческое бытие. Слова Жакоте о «почти мертвом языке» заставили меня вздрогнуть. Я не первый раз это слышу. Это и наша тревога. Владимир Вениаминович Биbihин в одном из наших последних телефонных разговоров сказал:

— А вам не кажется, Ольга Александровна, что мы пишем на мертвом языке?

Сергей Сергеевич Аверинцев в свои последние годы много думал об утрате высокого, sublime, в нашей современности, о возможности такого положения дел, при котором уже не найдется мальчиков, которых волнуют «большие слова» Вергилия и Данте. И Гельдерлина — добавим мы, поэта, важ-

нейшего для всех, о ком мы здесь говорим. Речь идет о том, что внимательные наблюдатели современности назвали бы так же, как Жакоте, — *l'avalissement*, снижение, обесценивание, оподление, плохое упрощение мира.

«Большие слова», большие смыслы, великие замыслы, прекрасные жесты — все это становится почти запрещенным общим культурным мнением современности. Это снижение понимается как новая трезвость или новая скромность: кто я, дескать, такой, и кто мы такие, чтобы говорить «большие слова»? Чтобы быть «поэтичными»? Гельдерлин, между тем, считал, что человек (любой человек) именно так и живет: «Достоин, но поэтически живет человек на земле».

Не только внешнее принуждение (плохо понятый демократизм и еще хуже понятый гуманизм, который заключается в том, чтобы не вынуждать человека делать, думать и чувствовать то, что ему не дается само собой, а требует усилий и внутреннего труда), но и внутренний голос, что-то вроде совести запрещает современному художнику говорить «большие слова». Мы как никогда прежде боимся всякого насилия — в форме дидактики, ложного пафоса, открытого проповедничества. То, что в «больших словах» не насилие, а просто сила, а это вещи противоположные, как-то забыто. Это та же разница, что между взглядом с вершины — и взглядом, устремленным вверх, о котором говорит Жакоте. Одним словом, я хочу сказать, что классика — это неприятие бессилия. В основе того *l'avalissement*, о котором говорит Жакоте и в борьбе с которым он видит смысл работы Ива Бонфуа (как и своей, и дю Буше, и Старобинского), как раз и лежит согласие на бессилие.

Другое дело, что классика в неклассическое время должна найти, как говорить эти «большие слова» по-новому. Можно сказать: более молчаливо, более косвенно, более проверенно на чистоту. Требуется, как чувствуют художники, прошедшие школу модерна, некоторый новый аскетизм. Этот новый аскетизм мы и слышим в поэзии Бонфуа и Жакоте (в их отношении к слову, прежде всего) — так же, как в поэзии О. Мандельштама и Пауля Целана. Взыскательный слух современника не простит фальши и пения с чужого голоса, даже если это голос Гельдерлина. Высокое и большое

должно быть предельно своим, каким-то образом тобой лично подтвержденным. Тогда его не назовут словами, заимствованными из мертвого языка. Это живой язык — быть может, труднее дающийся в руки, чем «классическая классика». Но он хочет сказать о том же — о «благородстве души» и «красоте мира».

Ив Бонфуа настойчиво говорил о собственной а-религиозности. Но одно из его прекрасных стихотворений с пасхальным евангельским сюжетом «Noli me tangere» (в итальянском переводе брата Адальберто Майнарди) включено в антологию поэзии XX века «Стихи для литургического употребления», составленной и изданной в монастыре Бозе*.

ОЛЬГА СЕДАКОВА

* Brucia, invisible fiamma. Poesie per ogni tempo liturgico (a cura di Enzo Bianchi e Riccardo Larini). Edizioni Qiqajon, 1998.

ИВ БОНФУА

Стихи

(из разных книг)

Noli me tangere

Колеблется снежинка в прояснившемся
Синем небе: последняя снежинка снегопада.

Словно женщина входит в сад,
И навстречу ей — то, о чем она лишь мечтала:
Этот взгляд, этот простой бог, уже забывший
О своей могиле, весь полный
Чувством счастья, весь
Растворяющийся в синеве мира.

«Нет, — говорит он, — не прикасайся ко мне»,
Но даже слово «нет» сияет светом.

* * *

Прохожий, вот слова. Но я хочу, чтобы ты
Не столько читал, сколько слушал: этот слабый
Голос букв, поглощаемых травой.

Склони слух, сумей расслышать, как пчела
Блаженно пьет сок из наших стершихся имен.
Вьется, летая с этих листьев на иные,
Переноса шелест настоящих ветвей
На те, что купаются в незримом
Золоте, мягко сочащемся сквозь них.

Потом различи еще более тихий
Бесконечный шепот наших теней.
Он поднимается из-под плит, сливаясь

В единое тепло со слепым светом,
Частью которого остаешься и ты,
Ибо сохраняешь способность глядеть.

Внимай с легким сердцем! Безмолвие — порог,
И на этом пороге в тот миг, когда
Неслышно ломается ветка под твоей
Рукой, расчищающей надпись на камне,

Наши забытые имена умеряют
Твою тревогу. И для тебя, в раздумьях
Идущего прочь, «здесь» перетекает
В «там», но все же остается собой.

Воспоминанье

Он казался очень старым, почти ребенком,
Он шел медленно, сжимая в руке клочок
Ткани, вымокшей в грязи. Глаза его, впрочем,
Были закрыты. Не правда ли, думать,
Будто вспомнил что-то, — заблужденье? Рука,
Тянувшая за руку, чтобы сгубить?
Мне все же почудилось, что он улыбался,
Пока не исчез в ночной темноте.
Улыбался? Нет, не может быть, я ошибаюсь,
Воспоминанье — это сорванный голос,
Даже если слушаешь, почти не слышишь.
Но мы напрягаем слух, и так долго,
Что порой проходит вся жизнь. А смерти
Наши метафоры уже не нужны.

Пианист

Он садился за рояль каждое утро,
Поверив когда-то, что сможет расслышать
Звук, изменяющий жизнь. С тех пор,
Стуча в небытие, он ловил этот звук.
Так он шел, ступая по влажной земле.
Музыка слабо светилась у края

Неба, по-прежнему затянутого мглой.
Он думал: там, вдали, копится зарница.
Он состарился. Гроза окружила его дом,
И он играл среди вспыхивавших окон.
Руки на клавишах уводили мечту
С верного пути. Он умер? Нужно встать,
Открыть дверь в темноте, выйти. Не зная,
Начинается день или спускается ночь.

Перевод с французского Марка Гринберга

ВЫГНУТЫЕ ДОСКИ

Человек, стоявший на берегу, возле лодки, был очень высокого, огромнейшего роста. За его спиной сиял, простираясь по речной воде, лунный свет. Ребенок, бесшумно приближавшийся к реке, по легкому шороху догадывался, что неподалеку качается лодка, задевая причал или прибрежный валун. В руке он сжимал медную монетку.

— Здравствуйте, месье, — четко произнес он, но его голос слегка дрожал, потому что он боялся слишком привлечь внимание этого человека, этого неподвижного великана, который был совсем рядом. Но перевозчик, казалось бы отрешенный, уже заметил его, скрытого камышом.

— Здравствуй, малыш, — ответил он. — Кто ты?

— Я не знаю, — вздохнул ребенок.

— Как же ты не знаешь? Разве у тебя нет имени?

Ребенок задумался, пытаясь понять, что бы это могло значить: «имя».

— Я не знаю, — довольно быстро сказал он снова.

— Не знаешь! Но ты же должен знать, что слышишь, когда тебя окликают, когда тебя зовут?

— Меня никто не зовет.

— Тебя никто не зовет, когда пора возвращаться домой? Когда ты поиграл на улице, и приходит время ужина, когда тебе пора спать? У тебя есть отец, мать? Скажи, где твой дом?

Теперь ребенок должен был вновь спрашивать себя, что все это значит: «отец», «мать»; что значит «дом».

— Отец... — промолвил он. — Что это?

Перевозчик присел на валун, рядом со своей лодкой. Его голос, звучащий в ночи, уже не казался таким далеким. Но прежде чем ответить, он слегка усмехнулся.

— Отец? Ну хорошо... Это тот, кто берет тебя на колени, когда ты плачешь, тот, кто приходит к тебе вечером, когда тебе страшно засыпать, и садится у твоей кровати, чтобы рассказать тебе сказку.

Ребенок ничего не ответил.

— Впрочем, часто бывает, что у детей нет отца, — продолжал великан, словно после небольшого раздумья. — Но тогда есть эти молодые, исполненные нежности женщины, которые разводят огонь в печи, устраивают вас перед ней, поют вам песни. Они отлучаются лишь для того, чтобы приготовить еду: и тогда чувствуется запах масла, разогреваемого в чугушке.

— Этого я тоже не помню, — прозвенел тоненький хрустальный голос ребенка. Он подошел к перевозчику, который уже молчал; он слышал, как ровно, медленно тот дышит.

— Мне нужно на другой берег реки, — сказал он. — У меня есть чем заплатить за перевоз.

Великан наклонился, взял его своими огромными руками, посадил себе на плечи, распрямился и сошел в лодку, слегка осевшую под весом его тела.

— Давай-ка, — сказал он, — обними меня сзади и держись крепче! — Одной рукой он придерживал ножку ребенка, другой погрузил шест в воду. Ребенок, вздохнув, порывисто обхватил его шею. Теперь перевозчик мог держать шест двумя руками: он выдернул его из ила, лодка отчалила от берега, раскатистый звук плеснувшей воды раздался в отблесках и тенях лунного света.

Мгновение спустя детский пальчик коснулся уха великана.

— Послушай, — сказал ребенок, — хочешь быть моим отцом? — Но тут же запнулся: его голос прервался слезами.

— Твоим отцом? Но я лишь перевозчик! Я никогда не отхожу дальше двух берегов реки.

— А я останусь с тобой, у реки!

— Чтобы быть отцом, нужно иметь дом, неужели ты этого не понимаешь? У меня нет дома, я живу в прибрежном камыше.

— Я бы так хотел остаться с тобой на берегу!

— Нет, — сказал перевозчик, — это невозможно. Да ты посмотри, что происходит!

А происходит следующее: лодка прогибается все сильнее и сильнее под возрастающим с каждым мгновением весом человека и ребенка. Перевозчик с силой толкает ее шестом, вода достигает краев борта, переливается внутрь, заполняет корпус своим потоком, достигает высоты этих длинных ног, которые вот уже теряют опору на скользких выгнутых досках. Челнок не идет ко дну, он, кажется, будто растворяется в темноте, и человек вынужден спасаться вплавь, все так же держа на плечах вцепившегося в него маленького мальчика.

— Не бойся, — говорит он. — Река не такая широкая, скоро мы выплывем.

— Ну прошу тебя, будь моим отцом! Будь моим домом!

— Все это надо забыть, — шепотом отвечает великан. — Надо забыть эти слова. Надо забыть слова.

Он снова держит рукой ножку ребенка, ставшую уже огромной, и, гребя другой, свободной рукой, плывет в этом бескрайнем пространстве врезающихся друг в друга течений, разверзающихся бездн, звезд.

Перевод с французского Татьяны Ромашиной

Ив Бонфуа, или Вера в силу поэзии

Поэт и мыслитель, выдающийся переводчик (в частности, Шекспира), автор эссе, посвященных поэзии и искусству (Джакометти, Кирико, Шагалу), профессор Collège de France с 1981-го по 1993-го, Ив Бонфуа скончался в пятницу 1 июля 2016 года в Париже. Наследник поэтов XIX столетия (Бодлера, Рембо, Малларме), он занимает центральное место во французской поэзии после Второй мировой войны, наряду с Луи-Рене де Форэ, Андре дю Буше, Жаком Дюпенем и Филиппом Жакоте. В лице Ива Бонфуа мир теряет ярчайшего поэта, имя которого не раз ожидали увидеть в числе Нобелевских лауреатов.

Главное: для Ива Бонфуа поэзия — не литературный жанр, но акт посвящения, который должен, по словам Рембо, преобразить жизнь. Начиная со сборника «О движении и о неподвижности Дувы» (*Du mouvement et de l'immobilité de Douve*, 1953) до «Красного шарфа» (*L'Echarpe rouge*, 2016), Ив Бонфуа не теряет веры в силу поэзии, которая даже в «убогие времена» (Гельдерлин) может принести дар «смысла» миру, находящемуся под знаком удаления божественного. Поэтическое творчество для Бонфуа — не цель в себе, но средство приближения, акт познания, в котором работа над языком неотде-

* Поэт, автор поэтических сборников *L'Ouïe éblouie* (2007), *Balbuciendo* (2012); переводчица на французский Р.М. Рильке, Г. Тракля, П. Целана, Мишель Финк — ученица Ива Бонфуа, посвятившая его творчеству ряд своих исследований («Ив Бонфуа, простота и смысл» (José Corti, 1989); «Музыкальные эпифании в современной поэзии, от Рильке до Бонфуа» (Champion, 2014) и стихотворений, в частности, в поэтическом цикле «Третья рука» (*La Troisième Main*, 2015).

Профессор Страсбургского университета в области компаративистики, Мишель Финк создала исследовательскую школу по изучению творчества Бонфуа, включающую ведущих специалистов Франции в области поэзии (Daniel Lançon, Patrick Werly, Patrick Née, Marik Froidefond и др.).

В настоящее время готовится издание поэтического творчества Ива Бонфуа в серии «Плеяды» в издательстве Галлимар.

лима от духовного поиска сотериологического измерения. Оно зиждется на поэтике «надежды» и «восстановления», выбранных в качестве ключевых слов. Эта вера в поэзию, понятую как возможность взять на себя ношу исторических и онтологических разрывов и дать миру «смысл», который он утратил, ощутима на каждом этапе того, что нельзя назвать иначе, как творчеством-судьбой.

Поэтическое призвание Ива Бонфуа глубоко укоренено в его детстве: он очень рано объявил, что хочет научиться читать, «чтобы писать стихи». Его детство связано с двумя местами — Туром, темным родным городом, и Туаракой, солнечной землей его предков по материнской линии. Эта двойственность определяет всю его поэтическую топологию, создающую напряжение между «изгнанием» и «подлинным местом». В этом напряжении, проходящем сквозь все его сочинения, Бонфуа черпает силу своей поэзии. Переезд в 1943 году в Париж способствует возобновлению поэтического поиска, оживленного интенсивным общением с кругом сюрреалистов и Бретоном. С этим периодом связана двойная поэтическая забота, на разные лады выраженная в его творчестве: борьба с «понятием» (сонсерт) и раскрытие материальной плотности чувственного мира, признанного в его физической непосредственности и элементарной, сущностной очевидности; передача опыта трансцендентного, открывающегося в имманентном (Бонфуа называет это «присутствием»). Он порывает с сюрреалистами в 1947 году, ибо это движение отдаляет его от искомого пути: сюрреализм, с его точки зрения, слишком привержен «гнозису» и предпочитает «надреальное» простоте реального. Ив Бонфуа выбирает путь Рембо, в схожем стремлении «объять» «шероховатую реальность», неотделимую от «простоты» и «смысла» — краеугольных камней его творчества.

Четыре первые книги намечают «стороны света» его поэзии. *Douve* (1953), черно-белый сборник, ставит в центр поэзии испытание смерти. «Вчера царящая пустыня» (*Hier régnant désert*, 1958), поэтическая книга в серых тонах, связывает основы испытания времени с общим пониманием поэтического искусства как «конечного». «Начертанный камень» (*Pierre écrite*, 1965) — книга в красном цвете — отмечает

принципиальный поворот, при котором образ Другого оказывается в сердцевине поэтического слова. Наконец, «В обманчивости порога» (*Dans le leurre du seuil*, 1975) — книга слияния всех цветов — выражает опыт позитивной трансгрессии, дающей возможность, наконец, соединить противоположности (единство и разъединение; тоску и надежду). В таком антиномическом соединении поэт видит единственную возможность сохранить «подлинность слова».

Параллельно Ив Бонфуа продолжает поиск поэзии, раз дающей «смысл», — не только в стихах, но и в прозе, которая более реально основывается на биографических событиях, эпифанических переживаниях путешествий (в частности, в Италию) и требованиях подсознательного. Начиная с *L'Ordealie* (написанной в 1945–1950 годы и опубликованной в 1974-м), прозаическое творчество продолжается в сборниках «Страна за поворотом» (*L'Arrière-pays*, 1972) и «Поперечная улица» (*Rue Traversière*, 1977). Эти книги затем объединяются в «Рассказы во сне» (*Récits en rêve* (1987)), созданные на грани слияния бодлеровских «поэм в прозе» и «рассказов-сновидений» сюрреалистов. «Рассказы во сне», вскоре дополненные «Блуждающей жизнью» (*La vie errante*, 1993), стремятся освободиться от концептуальной логики благодаря писательской манере, объединившей живописное и музыкальное измерения поэтического языка, восстанавливая тем самым глубинное «единство» реального, то плотинское «Единое», которое поэт стремится найти с первых стихов *Douve*.

Выкованное одновременно поэтическое и прозаическое слово позволяет мысли Ива Бонфуа сосредоточиться на нескольких осевых темах. Первая из них — медитация об «образе»*, неотделимая от столкновения в Бонфуа гностика-иконопочтателя и метафизика-иконоборца, борьба, в итоге преодоленная своего рода согласием на «упрощенный» образ. Затем, — медитация о «голосе», т. е. предпочтение вокальной поэзии, которая одна способна найти выход за

* «Я называю *образом* (*image*) связанное и самодостаточное представление, органично связанное со вселенной, которое заменяет собой конечный мир. Завораживающая сила образа состоит именно в этой конечности» (Цит. по книге: *Jérôme Thélot, Poétique d'Yves Bonnefoy*, Genève, 1983, p. 264).

пределы диалектики «концепта» и «образа». На пересечении вопросов об «образе» и «голосе» вырастает медитация об «эросе» и «агапэ», в которой выражается характерное стремление преодолеть традиционную оппозицию между двумя типами любви, установить своего рода мир между «эросом» и «агапэ». Наконец, это медитация о возможности «восстановления» слов и мира силой поэзии, которая приводит Бонфуа к написанию в 2016-м «Красного шарфа», мощного анамнестического и самоаналитического произведения, вращающегося вокруг ключевого понятия «поэтического сострадания». Начиная с «Выгнутых досок» (*Planches courbes*, 2001) до «Настоящего часа» (*L'Heure présente*, 2014) творчество Бонфуа все больше и больше отстраняется от нигилизма и того обета негативности, который словно бы дают многие его современники, благодаря тревожной, но трезвой вере в возможности поэзии. Эта вера находит свое завершение в новой «Защите поэзии» (в разделе «В обманчивости слов» в книге «Выгнутые доски») и в поэме «Настоящий час», в которой звучит мотив завещания: «Настоящий час, не отступай!»*.

Глубоко обращенный к Другому и к иностранной поэзии (в частности, английской и итальянской), неустанно напоминавший о задаче переводчика — «искупить катастрофу Вавилонской башни», Ив Бонфуа в январе 2014 года воздал дань восхищения творчеству Анны Ахматовой. В нем он увидел высочайшее воплощение силы поэзии — способность стать противовесом насилию (личному или исторического характера), которую горячо отстаивал сам Бонфуа. Он имеет в виду ахматовский ответ неизвестной женщине в тюремной очереди у «Крестов», воспроизведенный в первых строках «Реквиема»:

— А это вы можете описать?
И я сказала —
— Могу.

Для Бонфуа это «могу» Анны Ахматовой «на весах бытия» перевесит неисчислимое количество убийств, предательств,

* «Heure présente, ne renonce pas», in: *Yves Bonnefoy*, *L'Heure présente*, Mercure de France, 2001, p. 97.

заклучений, многократно искусственно организованного голода, всего того, для чего Россия тех лет стала “сценой при полностью потушенном свете”^{*}.

Перевод с французского Татьяны Викторовой

^{*} Свидетельство «Oui, je reux» написано для книги «Анна Ахматова и европейская поэзия» (*Anna Akhmatova et la poésie européenne* (Peter Lang: Bruxelles, Bern, Berlin, New York, Wien, 2016), p. 241–243). Книга включает, наряду с ценными исследовательскими материалами о связях ахматовского творчества с поэтикой Рильке, Йетса, Мандельштама; о ее диалоге с Бодлером, Т.-С. Элиотом, М. Цветаевой, — восьмичасовую беседу Н.А. Струве с А.А. Ахматовой в Париже в мае 1965 года. — *Прим. ред.*



ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ



*К 70-летию со дня кончины
митрополита Евлогия*



Из переписки митрополита Евлогия (Георгиевского) в эмиграции

В архивах Епархиального управления при экзархе Вселенского патриарха, возглавляющем Архиерепию русских православных церквей в Западной Европе, сохранился большой фонд, состоящий из переписки основателя епархии и первого правящего архиерея — митрополита Евлогия (Георгиевского) (10.04.1868, с. Сомово, Одоевский у., Тульская губерния — 08.08.1946, Париж). Этот фонд пока недостаточно обработан, он еще находится в стадии описания, но уже можно сделать некоторые общие выводы по его содержанию. Огромное большинство документов этого фонда составлено из писем как официальных, так и личных, адресованных к митрополиту Евлогию в последний период его жизни и церковной деятельности, сначала в Берлине, где он пребывал с апреля 1921-го по декабрь 1922-го, затем в Париже, где обо-

сновался с января 1923-го. Как и следовало ожидать, среди богатств этого фонда писем самого митрополита Евлогия почти нет, сохранились лишь очень редкие черновики или рабочие копии, что и придает им особый интерес. К 70-летию со дня кончины митрополита Евлогия мы подготовили к публикации некоторые из этих документов.

Адресат и автор публикуемых писем — митрополит Евлогий (в миру Василий Семенович Георгиевский) родился в семье бедного сельского священника Тульской епархии. Окончив Белевское духовное училище, проходил курс в Тульской семинарии и в Московской духовной академии, которую закончил в 1892-м. После принятия монашеского пострига и священнического сана он занимал должности инспектора Владимирской духовной семинарии, позже — ректора Холмской семинарии. В 1903–1905 гг. стал епископом Люблинским, викарием Холмско-Варшавской епархии. С 1905 г. состоял правящим архиереем самостоятельной Холмской епархии. В 1907-м был избран членом II Государственной думы от православного населения Холмщины, а с 1907-го по 1912-й состоял членом III Государственной думы, где примыкал к умеренно-правой фракции монархистов-националистов. В 1912-м был возведен в сан архиепископа, с 1914-го архиепископ Волынский и Житомирский. После свержения царского режима он принимал участие во Всероссийском поместном Соборе 1917–1918 гг., на котором был избран членом Священного Синода. В декабре 1918-го он был арестован в Киеве правительством Петлюры и вывезен в Польшу под домашний арест в униатский монастырь вместе с митрополитом Киевским Антонием (Храповицким). После освобождения в 1919-м вернулся в Новороссийск, работал в Высшем Церковном Управлении в Новочеркаске и Екатеринославе. В январе 1920-го окончательно эмигрировал в Сербию, с 1921-го проживал в Берлине, а затем в Париже. Постановлением Высшего Церковного Управления в Симферополе от 20 октября 1920 г. он был назначен управляющим русскими православными церквями в Западной Европе, назначение было подтверждено указом патриарха Московского Тихона (Беллавина) и Священного Синода от 8 апреля 1921 г., а в апреле 1922-го патриарх возвел его в сан митрополита. В этой должности он содействовал возникновению нескольких де-

сятков русских храмов и церковных общин по всей Западной Европе, и уже в середине 1920-х гг. дал благословение на открытие франкоязычных приходов, так как понимал, что второе и последующие поколения эмиграции теряют русский язык и укореняются в странах рассеяния. А для свидетельства о православной богословской мысли, которую в то время искореняли в Советской России, а также для подготовки нужных в эмиграции священников митрополит Евлогий основал в Париже Св.-Сергиевский богословский институт, ректором которого он состоял с 1925 г. до самой смерти. В 1930-м решением заместителя местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) митрополит Евлогий был уволен от занимаемой должности по политическим причинам, что и было опротестовано им перед апелляционным судом Вселенского патриарха, согласно 9-му правилу 4-го Вселенского (Халкидонского) собора. С 1931 г. он пребывал в юрисдикции Константинопольского Патриархата в качестве управляющего временным Экзархатом русских православных церквей в Западной Европе. После окончания Второй мировой войны, поверив, что церковная жизнь в России якобы вернулась к «нормальному» состоянию, он подписал в сентябре 1945-го акт воссоединения с Московской Патриархией (хотя формальное освобождение от юрисдикции Константинопольского Патриархата так и не последовало), а в июне 1946-го принял советский паспорт. Скончался митрополит Евлогий 8 августа 1946 г. в Париже и похоронен в склепе под Успенской церковью при кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, близ Парижа.

Предлагаемая небольшая подборка материалов из архивного фонда митрополита Евлогия, при кажущейся внешней разнородности, имеет внутреннюю тематическую связь. Все публикуемые письма так или иначе отражают восприятие владыкой Евлогием церковных событий как в России, так и за рубежом в первые годы эмиграции (первая половина 1920-х гг.). Они показывают, как очутившийся в изгнании иерарх болезненно относился ко все более усиливающимся разрывам между Московским церковным центром и разными русскими церковными органами, возникшими тогда вне России (в Польше, на Балканах, в Западной Европе, в Америке). Настоящая публикация включает в себя четыре письма:

первое адресовано митрополиту Евлогию архимандритом Тихоном (Шараповым), остальные написаны самим митрополитом — одно патриарху Московскому Тихону (Беллаину), два другим — митрополиту Киевскому Антонию (Храповицкому).

Два первых письма интересны тем, что освещают эпистолярные связи между патриархом Тихоном и митрополитом Евлогием. Известно, что оба иерарха переписывались с 1921 г.* Как правильно замечает Ольга Владимировна Косик, «корреспонденция между двумя иерархами шла через иностранные миссии: Латвийскую, Эстонскую, Финляндскую, Польскую, иногда Чехословацкую. Письма обычно приносили чиновники или курьеры миссий. В пересылке активное участие принимали архиепископ Финляндский Серафим (Лукьянов) и архиепископ Рижский Иоанн (Поммер)»**. Но были и другие оказии, как увидим ниже. Из этой постоянной, хотя и отрывочной, корреспонденции несколько писем митрополита Евлогия к патриарху в машинописных копиях оказались в следственном деле патриарха Тихона, сохраненном в Центральном архиве ФСБ РФ***. Часть ответных писем патриарха Тихона к митрополиту попала другим — косвенным — путем в Государственный Архив Российской Федерации****. Но и те,

* Косик О.В., Переписка Святейшего Патриарха Тихона с русским зарубежным духовенством // Голоса из России. Очерки истории сбора и передачи за границу информации о положении церкви в СССР. (1920-е — начало 1930-х гг.). М.: Изд. ПСТГУ, 2013.

** Ук. соч., с. 135.

*** Следственное дело патриарха Тихона. Сборник документов по материалам Центрального архива ФСБ РФ. / Гл. ред. прот. В. Воробьев. М.: Изд. ПСТГУ, 2000. В этом сборнике опубликовано 5 писем митрополита Евлогия к патриарху (1-е от 4 мая 1921 г., 2-е не ранее 14 мая 1921 г., 3-е от 26 августа 1921 г., 4-е не позднее 21 ноября 1921 г., 5-е от 20 марта 1922 г.).

**** Переписка святителя Тихона патриарха Всероссийского и митр. Евлогия (Георгиевского) (1921–1922) / публ. и комм. Н.Б. Лазарева // Ученые записки Российского Православного Университата им. св. апостола Иоанна Богослова. М.: Индрик, 2000. Вып. 6. С. 94–111. В этом выпуске опубликовано 5 писем патриарха к митр. Евлогию (1-е от 27 марта 1921 г., 2-е от 12 июня 1921 г., 3-е от 29 июля 1921 г., 4-е от 24 декабря 1921 г. — 30 января 1922 г., 5-е от 20 марта 1922 г.) и 2 письма митр. Евлогия к патриарху (1-е от 4 мая 1921 г., 2-е от 26 августа 1921 г.), т.е. те, которые тоже находились в следственном деле патриарха.

и другие письма охватывают лишь период с 1921 по 1922 гг. А в архивах Епархального управления нами было обнаружено еще одно письмо митрополита Евлогия к патриарху, хронологически более позднее — от мая 1924 г., т. е. уже после освобождения патриарха от четырнадцатимесячного домашнего ареста (май 1922 г. — июнь 1923 г.) и его возвращения к управлению вверенной ему Российской Церковью.

Первый публикуемый документ — письмо архимандрита Тихона (Шарапова)*. Оно было написано во время пребывания о. Тихона в Москве в феврале 1922 г. В Советскую

* Архимандрит Тихон (в миру Константин Иванович Шарпов) родился в 1886 г. в Туле в семье служащего. До начала Первой мировой войны он был насельником Почаевской Успенской лавры, которая в то время находилась в подчинении правящему архиепископу Вольнскому, сперва Антонию (Храповицкому), затем Евлогию (Георгиевскому). С самого начала войны молодой иеромонах посвятил себя служению в армии, сперва лазаретным священником, а потом полковым священником на фронте. В начале Гражданской войны он был арестован петлюровцами и отправлен в заточение в василианский (униатский) Бучачский монастырь (Тернопольская область), где пребывал под стражей вместе с владыками Антонием и Евлогием в марте—мае 1919 г. После освобождения он остался на территории Польши и создал братство в Здолбунове с целью защиты православия от притеснений со стороны поляков и сохранения местных православных епархий в юрисдикции Московского патриарха. В связи с этим в начале 1922 г. он предпринял нелегальную поездку в Москву для доклада патриарху Тихону. Вернувшись в Польшу, он был арестован за сопротивление автокефалии и выслан в Германию. В 1925 г. о. Тихону удалось вновь перебраться, теперь уже окончательно, в Россию, и 22 марта того же года он был поставлен патриархом Тихоном во епископа Гомельского. Уже в мае 1925-го он был арестован и находился в тюрьмах Гомеля, Могилева и Москвы. В декабре 1925 г. был вторично арестован, в 1927–1930 гг. сидел в Соловецком лагере особого назначения. В 1931–1934 гг. повторное заключение в лагере. В 1934 г. назначен епископом Череповецким, но сразу арестован и сослан в Самарканд, где находился до 1936-го, когда стал епископом Алма-Атинским, но вступил в управление епархией только в 1937 г. В том же году он был возведен в сан архиепископа. В последний раз арестован в августе 1937-го и заключен в тюрьму в Алма-Ате. 17 октября постановлением тройки УНКВД осужден по обвинению в «шпионской деятельности в пользу иностранной разведки» и расстрелян 10 ноября.

Россию отец Тихон приехал нелегально, под видом дипломатического курьера (в штатском, с бритыми волосами и без бороды), для осведомления патриарха Тихона о положении православия в Польше (где митрополит Варшавский Георгий (Ярошевский) развил тогда активную деятельность по установлению автокефалии), а также о церковных делах русской эмиграции. Судя по всему, о. Тихон пользовался исключительным доверием патриарха Тихона, который тут же назначил его настоятелем Жировицкого монастыря (Западная Белоруссия, тогда на территории Польши) с возведением в сан архимандрита, а также поручил ему ряд важных документов с целью передачи заграничным иерархам. В своих воспоминаниях о. Тихон (Шарапов) пишет: «...выехал [я] из России 3 февраля 1922 года [*должно быть, по юлианскому календарю, то есть 16 февраля по григорианскому.* – Прим. А.Н.] и вывез с собой за границу следующие патриаршие акты: 1) указ о возведении архиепископа Евлогия, управляющего западноевропейскими русскими приходами, – в сан митрополита; 2) ответную грамоту Сербскому Патриарху Димитрию; 3) грамоту Антиохийскому Патриарху Григорию о сирийских делах в Америке; 4) указы и дела по вопросам церковной жизни в Польше и 5) словесный реприманд митрополиту Антонию за карловацкие резолюции...»^{*}.

В публикуемом ниже письме уже встречаются намеки как минимум на три из этих документов: владыку Евлогия поздравляют с возведением в сан митрополита, а также упоминается обмен посланиями между патриархом Тихоном и патриархами Антиохийским и Сербским. Но, на наш взгляд, самое интересное в этом письме – последний абзац, где в конфиденциальном порядке о. Тихон (Шарапов) передает слова патриарха Тихона о том, что хорошо бы добиться от митрополита Антония (Храповицкого) добровольного отречения от Киевской кафедры, поскольку эта кафедра после отъезда за границу митрополита Антония оказалась без должного управления, и пока титул митрополита Киевского оставался за владыкой Антонием, его нельзя было передать другому иерарху, что вызывало немало затруднений для

^{*} См.: Отрывок из воспоминаний иеромонаха Тихона (Шарапова) о его поездке в СССР в 1922 г. // Журнал Московской Патриархии. М., 1998. № 4. С. 82–88.

епархиальной жизни*. Но патриарх Тихон отлично понимал всю «деликатность» этого дела, как пишет архимандрит Ша-рапов, потому что, во-первых, митрополит Антоний пользо-вался огромным авторитетом как в Русской Церкви, как и за ее пределами**, а во-вторых, резкое его увольнение с кафедры могло быть воспринято как лишнее доказательство вмеша-тельства советской власти во внутренние церковные дела вообще и нажима с их стороны на решения патриарха в част-ности. Нам не известно, были ли переданы слова-пожелания

* См.: Мазырин А., *свящ.* Вопрос о замещении Киевской кафедры в 1920-е гг. // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. М.: Изд. ПСТГУ, 2007. Вып. 2 (23), 3(24) и 4(25).

** В письме к архиепископу Иоанну Рижскому от 18 марта 1925 г. сербский епископ Нишский Досифей (Досич, 1878–1945) (впослед-ствии митрополит Загребский, ныне прославлен Сербской Право-славной Церковью в лике святых новомучеников и исповедников) давал такую характеристику огромного авторитета митр. Антония в церковных кругах за рубежом: «Так называемый Синод архиере-ев Русской заграничной Церкви и так называемый даже Собор не что иное, как митрополит Антоний. Он может с правом сказать: “Церковь русская заграничная — *c’est moi*” [*франц.* — это я]» (Архив архиепископа Иоанна (Поммера): Письма из Югославии / *сост. Ю.Л. Сидяков* // Альманах гуманитарного семинара «Русский мир и Латвия». Рига: Seminarium hortus humanitatis, 2011, вып. XXIV, т. 3, с. 25). Однако Досифей сразу добавил: «Лично я стою на сто-роне митрополита Евлогия, и то не по простой симпатии, а по дан-ным документам, которые митрополита Антония характеризуют как нехорошего архипастыря, до крайности эгоистичного и даже по своим убеждениям не весьма православного (его “Катехизис” и его “Учение о спасении” и тому под.). В Церковь ввел политику... Беспощадно относился <к> Святейшему Исповеднику Св<ятого> Православия, блаженнопочившему Патриарху Тихону. Митропо-лит Антоний действовал [...] против Сербской Церкви, несмотря на то, что его сердечно, радушно, братски, с полной любовью приняла эта Церковь. Из всех русских архиереев, которые у нас и которых люблю и всячески стараюсь о них — однако самым симпатичным, самым солиднейшим, по моему мнению, является митрополит Евло-гий. Я его, кажется, хорошо знаю и в настоящее время с ним вместе страдаю за все то, что творится только ради себялюбия» (там же, с. 26).

патриарха митрополиту Антонию*. Во всяком случае, отказываться от титула митрополита Киевского и Галицкого тот не стал и, таким образом, продолжал его носить до самой своей смерти, последовавшей в 1936 г.

Второй документ — письмо владыки Евлогия к патриарху Тихону. Это единственная копия личного письма митрополита к предстоятелю Российской Церкви, сохранившаяся в его парижском архивном фонде. Другие пока не нашлись. Но, как известно, Архивы Епархиального управления — не единственный архивный фонд, где хранятся документы, связанные с канцелярией владыки Евлогия. Оказывается, в 1940 г. большая часть переписки митрополита была передана им самим на постоянное хранение в Русский зарубежный исторический архив в Праге (РЗИА). В конце Второй мировой войны Пражский архив был вывезен в Советский Союз и перешел в секретные фонды ГосАрхива. Сегодня этот фонд митрополита Евлогия находится в ГАРФ-е (ф. Р-5919, оп. 1, 157 ед. хр., 1918–1924)**. Другие материалы из фонда митрополита Евлогия хранятся в Бахметьевском архиве Колумбийского университета (США). Может быть, среди них найдутся еще и другие письма к патриарху Тихону.

Настоящее письмо, которое вводится в научный оборот впервые, содержит многие элементы, интересные с исторической точки зрения. Во-первых, в нем митрополит Евлогий дает патриарху широкий обзор положения церковных дел в конце первой половины 1920-х гг.: он рассказывает о попытках распространения обновленческого движения в среде русской эмиграции, о развитии церковной жизни в Западной Европе и Северной Америке и о проектах ее канонического и административного устройства, о появившихся раздорах в мировом православии в связи с введением так называемого нового (исправленного григорианского) календаря по ини-

* Об этом не упоминает его близкий сотрудник и официальный биограф, архиепископ Никон (Рклицкий) в многотомной книге «Жизнеописание блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого» (Джорданвилл Н.-Й.: Изд. Троицкого монастыря, 1956–1963, в 10 тт.).

** См.: *Гуревич А.Л.* Фонд митрополита Евлогия (Георгиевского) в ГАРФ // XVI Ежегодная богословская конференция ПСТГУ: Материалы. М.: Изд. ПСТГУ, 2006. С. 176–180.

циативе патриархов Константинопольских Мелетия IV и Григория VII. Во-вторых, в этом письме раскрывается имя еще одного — доселе неизвестного — курьера, через которого при оказии проходила корреспонденция между митрополитом и патриархом — англичанина, каноника Джона Альберта Дугласа, который в течение многих лет играл важную роль в деле сближения англиканства и русского православия.

Два следующих публикуемых нами документа являются собственноручными черновыми набросками писем митрополита Евлогия к митрополиту Антонию. Между двумя иерархами переписка, как официальная, так и частная, была довольно интенсивной в период с 1920-го по 1927 г.* Первое письмо не датировано, но, судя по содержанию, оно было написано в первых числах сентября 1923. В нем затрагиваются проблемы церковной жизни в Северо-Американской русской епархии и, в особенности, очередной проект командировки митрополита Евлогия в Америку для ревизии епархиальных дел на месте. Положение в Северо-Американской епархии, где в начале 1920-х гг. возник острый спор между епархиальным архиереем и значительной частью прихожан и клира, было очень сложным на фоне финансовых злоупотреблений и продажи местного церковного имущества. И патриарх в Москве и Зарубежный Синод в Сербии следили за развитием американских дел с тревогой, тем более что обе стороны располагали отрывочной и неполной информацией о происходящем, да еще расстояние не позволяло им действовать соответственно и принимать нужные меры для упорядочения ситуации. Следовало послать на место кого-то достаточно авторитетного и компетентного в церковно-административных делах и с четкими полномочиями. Таким доверенным лицом являлся опытный митрополит Евлогий, и, естественно, именно ему и никому другому было официально предложено совершить ревизию Северо-Амери-

* Эта частная переписка, в которой отразился искренний и открытый тон дружеских взаимоотношений двух главных иерархов русской эмиграции, практически не воспроизводится при публикации писем митрополита Антония, где опубликованы лишь три письма официального характера к митрополиту Евлогию и ни одного от самого владыки Евлогия (см.: Письма Блаженнейшего Митрополита Антония (Храповицкого). — Джорданвилл Н.-Й. Изд. Троицкого монастыря, 1988, 282 с.).

канской епархии. На самом деле, такое поручение ему было дано три раза: сперва самим патриархом Тихоном весной 1921 г., затем решением Высшего Церковного Управления за границей летом того же года, и еще в 1923-м, по постановлению Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей (далее — РПЦЗ). Но каждый раз владыка Евлогий отказывался, опасаясь, что под этим предлогом командировки в Америку Карловацкие епископы пробуют его удалить из Европы и таким образом сместить с должности управляющего западноевропейскими приходами, на которую он получил полномочия от самого патриарха Тихона*. Из этого письма видно также, что митрополит Евлогий не очень тяготел вмешиваться в чрезвычайно запутанные административно-финансовые дела Северо-Американской епархии и еще меньше хотел ссориться с уже находящимся в Нью-Йорке митрополитом Платоном (Рождественским), который уже без того был довольно слабым его союзником в борьбе против претензий Архиерейского Синода в Карловцах.

Второе письмо к митрополиту Антонию тоже без даты, но на основании указанных в нем дат обмена предыдущими письмами можно полагать, что оно было написано в октябре 1926 г.** В нем обсуждается проект пресловутой «Декларации»

* В книге посмертно изданных воспоминаний митрополит Евлогий подробно рассказывает о первой запланированной и несостоявшейся командировке в Америку и о тех мотивах, которые заставили уклониться от этой миссии (Путь моей жизни. Париж: YMCA-Press, 1947, с. 393–394 и 604). Сам патриарх Тихон отлично понимал причины отказа митрополита Евлогия от командировки в Америку, что и видно из его письма к митр. Евлогию от 29 июля 1921 г.: «Знаю, как Вам неудобно ехать по сиим делам и оставлять Берлин, особенно когда в Америке находится м<итрополит> Платон» (Переписка святителя Тихона патриарха Всероссийского и митр. Евлогия, ук. соч., с. 104). О новой попытке со стороны Зарубежного Синода послать его для ревизии Северо-Американской епархии в 1923 г. митрополит Евлогий в своих воспоминаниях не говорит.

** То есть уже после резкого конфликта между митрополитом Евлогием и Карловацкими архиереями в июне 1926 г. относительно канонической юрисдикции Евлогия и его приходов в Германии, что и побудило тогда митрополита Евлогия покинуть заседание Архиерейского собора и пойти на окончательный разрыв с Зарубежным Синодом.

митрополита Сергия (Страгородского) с обращением к советской власти о легализации патриаршей церкви в России. Известно, что весной 1926 г. в надежде на получение легализации Высшего церковного управления митрополит Сергей разрабатывал первый проект декларации о лояльности к советскому государству, но с требованием о невмешательстве гражданских властей во внутренние церковные дела и о выполнении обязательств по отношению к религиозным организациям в соответствии с действовавшей в то время Конституцией СССР. В тексте был также подчеркнут факт, что церковная власть не может нести ответственность за политические выступления отдельных своих членов, в том числе и находящихся в эмиграции церковных деятелей. Как констатировалось в проекте, «всякое духовное лицо, которое не пожелает признать своих гражданских обязательств перед Советским Союзом, должно быть исключено из состава клира Московского Патриархата и поступает в ведение зарубежных поместных православных Церквей, смотря по территории. [...] Отмежевываясь таким образом от эмигрантов, мы будем строить свою церковную жизнь в пределах СССР совершенно вне политики»^{*}.

Именно эти слова вызывали разные толкования в зарубежных церковных кругах, в том числе у митрополита Антония и у митрополита Евлогия, намеки на что и присутствуют в данном письме. Однако первый вариант декларации митрополита Сергия не был одобрен советской властью, ходатайство о легализации было отвергнуто, и митрополит Сергей вскоре арестован. В течение нескольких месяцев, которые он тогда провел в заключении, а затем в первые три месяца после освобождения митрополит Сергей подвергался давлению со стороны сотрудников НКВД (о чем позже свидетельствовал патриарх Алексий II), что и привело к разработке нового проекта декларации с заявлением о полном лояльном отношении РПЦ МП к советскому правительству и советскому общественному строю, а также с более резким осуждением эмигрантского духовенства и его враждебных выступлений по отношению к советской власти. Окончательный вариант

^{*} Губонин М., сост. Акты святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг. М.: Изд. ПСТГУ, 1994. С. 474–475.

этой «Декларации» был опубликован в «Ивестиях» 29 июля 1927 г.* Именно этот текст стал последним камнем преткновения между митрополитом Сергием и зарубежными архиепископами Карловацкого Синода, которые окончательно прервали всякие отношения с Московским церковным центром, в то время как митрополит Евлогий старался еще сохранить хрупкую линию верности к заместителю местоблюстителя Патриаршего престола в рамках объявленной им «аполитичности».

Из настоящего письма видно также, как митрополит Евлогий, всеми силами старавшийся все еще сохранить каноническую связь с Московским церковным управлением, в середине 1920-х гг. остро переживал риск дальнейшего ослабления связей эмиграции с Россией и потери единства с «Матерью Церковью». Об этом, например, он писал также архиепископу Иоанну Рижскому уже в конце 1925 г.: «Я очень боюсь, как бы нам не утратить вовсе связи с Родиной, не оказаться для нее “чужаками”**». Такая озабоченность объясняет дальнейшие, для многих непонятные, колебания митрополита на главных этапах переоценки его взаимоотношений с Московской Патриархией – в 1927, в 1930 и в 1945 гг.

В опубликованном нами письме видно, что еще в середине 1920-х гг. митрополит Евлогий относился с большим пониманием к занятой митрополитом Сергием позиции и был готов на большие уступки, несмотря на то что эта позиция поставила его самого в очень сложную ситуацию. Ради сохранения канонической связи он даже согласился на требование митрополита Сергия подписать обязательство о лояльном

* О процессе подготовки декларации митр. Сергия см.: *Одинцов М.И.* Декларация митрополита Сергия от 29 июля 1927 г. и борьба вокруг нее / Вступительная статья, комментарии и публикация документов // *Отечественная история*. М.: Изд. ИРИ РАН, 1992, № 6; см. также: *Цыпин Владислав, прот.* «Декларация» 1927 г. // *Православная энциклопедия*. М., 2012, т. 14; и более критичеки: *Бычков С.С.* Большевики против Русской Церкви. Очерки по истории Русской Церкви (1917–1941). М.: Изд. Sam&Sam, 2006. С. 319 и сл.

** Из архива св. священномученика архиепископа Иоанна (Помера). Письма и другие документы / *сост. Ю.Л. Сидяков* // *Альманах гуманитарного семинара «Русский мир и Латвия»*. Рига: Seminarium hortus humanitatis, вып. XX, 2008. С. 19.

отношении к советской власти, но в смягченной формулировке, содержащей обещание не использовать церковный амвон для политических выступлений. Но это лишь отсрочило окончательный разрыв. Уже в письме к патриарху Тихону от мая 1924 г. митрополит Евлогий очерчивал границы, которые его архипастырская совесть и забота о своей пастве не могли переступить, тем самым предвещая дальнейшие свои решения: «Мы конечно понимаем, что внутри России Вам, для спасения Церкви, потребовалось признание Советского правительства; но мы-то, зарубежные, как можем его принять? Ведь, вся наша паства самым пребыванием своим за границей являет непримиримую оппозицию этому правительству. Что же, нам идти против своего народа или остаться одинокими, без паствы? Ведь переменить ее взгляды мы не имеем ни возможности, ни права», — писал он.

Как известно, сохранить единство с Москвой митрополиту Евлогию так и не удалось. Летом 1930 г. он был вынужден прекратить связь с заместителем патриаршего местоблюстителя после увольнения его митрополитом Сергием от должности управляющего западноевропейскими русскими приходами по политическим причинам (за участие в межконфессиональных молениях за гонимых во время очередной антирелигиозной кампании в СССР верующих). С 1931 г. владыка Евлогий находился под омофором Константинопольского патриарха. Митрополит Сергей не признал действия митрополита Евлогия законными и наложил на него и подчинившееся ему духовенство прещение, которое, в свою очередь, не было признано Константинопольским патриархом.

Интересно также отметить, что относительно церковного устройства эмигрантских общин при все больших трудностях в установлении связей между эмиграцией и Москвой владыка Евлогий выражает мысль, незадолго до этого начертанную самим митрополитом Сергием в доверительном письме от 12 сентября 1926 г. к некоторым русским епископам, пребывающим в Сербии, которые просили его решить их разногласия с митрополитом Евлогием. Хотя это письмо митр. Сергия не предназначалось для печати, оно было опубликовано в ревельской газете «Последние известия» от 11 февраля 1927 г., но, судя по всему, митрополит Евлогий получил копию ответа митрополита Сергия еще до этого,

уже осенью 1926 г. В этом письме, пронизанном заботой о судьбе Церкви и о каноническом устройстве разбросанных за границей православных, митрополит Сергей отвечал зарубежным иерархам, что ввиду невозможности создания общепризнанного всею эмиграцией церковного центра «то уже лучше покориться воле Божией, признать, что отдельного существования эмигрантская церковь устроить себе не может и поэтому всем вам пришло время встать на почву канонов и подчиниться (допустим, временно) местной православной власти, например, в Сербии — Сербскому Патриарху, и работать на пользу той частной Православной Церкви, которая вас приютила»^{*}.

Точно такую же точку зрения развивает владыка Евлогий и в своем письме к митрополиту Антонию, когда утверждает: «если бы осуществилось ходатайство митрополита Сергея о легализации Русской Церкви на указанных им условиях, то нашим заграничным русским церковным организациям по его велению не оставалось бы другого выхода, как только подчиниться юрисдикции тех Поместных Православных Церквей (Сербской, Болгарской, Греческой, Румынской), на территории которых они находятся». Правда, здесь владыка Евлогий не затрагивает особого положения тех эмигрантов, которые оказались на территориях вне традиционных границ Поместных Православных Церквей. Однако этот аспект принимал во внимание митрополит Сергей в ранее процитированном документе. Об этом он писал довольно ясно и четко: «В неправославных странах, можно организовать самостоятельные общины или церкви, членами которых могут быть и нерусские. Такое отдельное существование скорее предохранит от взаимных недоразумений и распрей, чем старание всех удержать и подчинить искусственно созданному центру»^{**}. Именно этот путь пришлось позже выбирать митрополиту Евлогию для западноевропейских приходов (как и митрополиту Платону для Северо-Американской епархии).

Сведения об упоминаемых в публикуемых документах иерархах и священнослужителях, приведенные в комментариях, преимущественно заимствованы из издания: *Мануил*

^{*} Цит. по изданию: «Письмо митрополита Сергея зарубежным иерархам» // Вестник РСХД. Париж, 1927 (март). № 3. С. 29.

^{**} Там же.

(Лемешевский), митр. Словарь архиереев РПЦ (1896–1965) (Эрланген, 1979–1989, в 6 тт.); Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе (1920–1995). Биографический справочник. (М.: Русский Путь; Париж: YMCA-Press, 2007); а также из интернет-ресурсов. Даты после 1918 г. в комментариях приводятся по новому стилю.

АНТУАН НИВЬЕР

I.

Письмо архимандрита Тихона (Шарапова) к митрополиту Евлогию

26 янв./8 февр. 1922 г. Москва

Ваше Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнейший владыка, милостивейший архипастырь, благословите!

На днях я прибыл в Москву из-за границы для доклада Святейшему Патриарху¹ о наших церковных делах. Святейший поручил мне отправить письма и указы Вам, а равно и послание Святейшему Григорию, Патриарху Антиохийскому² в 2 экземплярах. Приветствую Ваше Высокопреосвященство с возведением в сан митрополита и желаю много лет трудиться на благо Св<ятой> Церкви. Церковные новости пишет Вам Святейший. Он просил Вам написать то, что забыто им, а именно: в Италии, в Риме, есть некий протоиерей Флеров³. Пред Святейшим ходатайствовали о поощрении этого протоиерея и Святейший обещал. Настоящим, чрез меня, Святейший поручает Вашему Высокопреосвященству поощрить о<тца> Флерова тем, чем найдете соответствующим, а именно: возложением митры, если он не имеет, или же назначением в настоятели церкви.

Преосвящ<енный> Дионисий⁴ довел меня до того, что я ушел из Польши. Теперь назначен настоятелем Жировицкого монастыря⁵. Когда я уезжал с Волыни, Толю и Колю⁶ перевели в Дубенский монастырь и гимназию⁷. Теперь Вы не Во-

лынский⁸, а Почаев — ставропигия⁹; м.б. мальчуганов опять начнут перебрасывать. Милые дети: я с ними оч^ень под-
ружился и мне их было жаль. Если устроюсь в Жировицах,
м.б. можно будет для них что-нибудь сделать. Из Польши я
по секрету¹⁰. Напишите Владыке Антонию¹¹, что я ему земно
кланяюсь.

Простите, прошу святых молитв.

Ваш покорный послушник, недостойный Архимандрит
Тихон Шарапов.

PS

В конфиденциальном разговоре Святейший высказал,
что хорошо бы, если бы заграничное Высшее Церковное
Управление занялось на свободе пересмотром «устаревших
канонов» и вопросом «о календаре новом» и вошло бы по сим
вопросам в сношение с Восточными Патриархами. Послание
Патриарха Димитрия¹² я проездом через Ригу получил от ар-
хиепископа Иоанна¹³ и передал Святейшему. Об этом надо
сообщить митр<ополиту> Антонию.

И еще: «Конечно, по-человечески рассуждая, нужно бы
митр<ополиту> Антонию отказать, тогда Михаила¹⁴ на-
значили бы Киевским, а Владимира¹⁵ — Гродненским». Но
это дать понять в самой деликатной форме. А<рхимандрит>
Т<ихон>.

*(Рукопись, 1 л. и об., Архив Епархиального управления, ф. Митр. Евло-
гий, д. Официальная переписка митр. Евлогия, 1922–1924 гг.)*

II.

Письмо митрополита Евлогия к патриарху московскому Тихону (Беллавину)

4–17.5.1924

Ваше Святейшество,

Всемилоостивейший наш Отец и Владыко!

Один из моих друзей — англиканский священник и боль-
шой попечитель нашей Церкви и Вашего Святительства —
всечестный о<тец> Дуглас¹⁶ направляется в Москву, и мне хо-
чется через него послать Вам весточку. Так остро и так болез-
ненно мы переживаем наше одиночество и оторванность от
Вас, а никто не в состоянии отлучить нас от Вас. Как бы нам

хотелось, и как нужно слышать голос Ваш, Ваши указания относительно устройства нашей зарубежной церковной жизни; но мы знаем, что это для Вас почти невозможно, и миримся с этою печальною неизбежностью. Доходят до нас некоторые сведения и о Матери-Церкви Русской, вообще довольно скудные, и часто мало достоверные. «Живая Церковь» наступает на нас. Нам делаются предложения принять ее и тогда нам обещают вечное прощение и водворение в Россию; мы непременно, с негодованием отвергаем эти предложения. И еще недавно архимандриту Иоанну (бывшему) протоиерею Леончукову¹⁷, председателю Свечного комитета, — он мною пострижен и назначен настоятелем церкви в Тегеле, на кладбище под Берлином), — так вот ему Евдоким¹⁸ предлагает стать епископом наших церквей в Германии. Недавно мы, заграничные епископы русские, посвятили во епископа «Берлинского» настоятеля Берлинской церкви — архимандрита Тихона¹⁹, бывшего инспектора Киевской академии, — он будет моим викарием. Простите нас Христа ради, что не просили на сие Вашего благословения; но уже очень сильный был нажим на меня и со стороны прихожан и собратьев архиереев. Если это неуместно Вашему Святейшеству, больше не будем своевольничать; а новому епископу испрашиваем Вашего благословения.

Да не смущается сердце Ваше событиями в Американской нашей Церкви. Митрополит Платон²⁰ вынужден был, чтобы защищать церковное имущество от посягательства Кедровского²¹, временно объявить автономию, а отнюдь не автокефалию своей епархии, ибо ныне по-прежнему молитвенно возносится имя Вашего Святейшества. Несомненно, что при первых изменившихся во благоприятную сторону обстоятельствах, снова американская епархия станет в общее русло Русской церкви. Гораздо более тревожные вести идут из Константинопольского Патриархата. Патриархи бывший Мелетий²² и настоящий Григорий²³, теснимые от своего турецкого правительства, сами теснят нас, представителей Русской Церкви. Последний ввел новый стиль, не согласившись предварительно с другими Восточными Патриархами, которые твердо заявили, что будут держаться старого стиля; затем этот декрет о новом стиле кир²⁴ Григорий, если верить газетам, послал живоцерковному синоду Московскому, а не

Вашему Святейшеству, т.е. вступил в общение с схизматической «живою церковью». А теперь, пишут, предает церковному суду архиепископов Анастасия²⁵ и Александра²⁶ за то, что они не признали «богоустановленной современной государственной власти в России»²⁷. Что это такое? Какое он имеет право судить нас, находящихся в Вашем ведении? И какое ему дело до наших государственных дел? Мы конечно понимаем, что внутри России Вам, для спасения Церкви, потребовалось признание Советского правительства; но мы-то, зарубежные, как можем его принять? Ведь, вся наша паства самым пребыванием своим за границей являет непримиримую оппозицию этому правительству. Что же, нам идти против своего народа или остаться одинокими, без паствы? Ведь переменить ее взгляды мы не имеем ни возможности, ни права. За что же нас судить? Мы обслуживаем лишь религиозные нужды нашей паствы. Можем ли мы считать себя ответственными за ее политические убеждения? Наше ли дело вмешиваться в это?

В заключение я покорнейше прошу Вашего Святейшества дать мне (если это возможно) какое-либо ясное удостоверение, что я являюсь Вашим полномоченным представителем в церковном отношении в Западной Европе или вообще в Европе. Это нужно, чтобы я мог выступать пред иностранными правительствами в защите наших церковных имущественных прав, — тем более, что митрополит Антоний уехал на Афон и не хочет оттуда возвращаться²⁸. Дошло ли до Вас мое сообщение о разделении нашей заграничной церкви на округа (Западноевропейский, Балканский, Китайский, Японский и Американский)²⁹ и о делах в Чехии? Там я только отстаиваю неприкосновенность наших церквей и приходов от посягательств Савватия³⁰, вдохновляемого из Константинополя. К сожалению, этой аванюре приобщился наш епископ Вениамин³¹, которого теперь изгнали из Чехии.

Прошу Ваших св<я>тых> молитв.

Вашего Святейшества нижайший послушник,

митрополит Евлогий

(Рукопись (автограф), 2 л. и об., Архив Епархиального Управления, ф. Митр. Евлогий, д. Официальная переписка митр. Евлогия, 1922–1924 гг.)

III.

Письмо митрополита Евлогия к митрополиту
Антонию (Храповицкому)

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь!

29 августа мною получен указ Архиерейского Синода от 7 августа, с суждениями об американских делах и с предложением мне «ускорить мой отъезд в Америку».

Твердо стоя на выраженном мною Архиерейскому Собору согласии поехать в Америку, я полагаю, что Ваше Высокопреосвященство разделите мое убеждение в том, что выполнение этого намерения возможно прежде всего при согласии на это Митрополита Платона³².

При отрицательном отношении его к этой поездке, как бы ни смотреть на это, ехать в Америку мне представляется не только бесполезным, но и прямо вредным для Церкви.

Во-первых, это угрожает великим вредом миру церковному и может даже привести к открытому расколу, вроде бывшего Польского, что в данном случае лишь губительно для церковного дела.

Что бы ни говорили противники митрополита Платона, но мир в Америке постепенно водворяется, и попытка действовать там сейчас вне связи и соглашения с ним немедленно снова раздует потухающий огонь церковной смуты, на пользу элементов определенно отрицательных и враждебных Митрополиту Платону, авторитет которого, по моему глубокому убеждению, необходимо поддержать для общего блага Церкви.

Приезд в Америку вопреки желанию митрополита Платона грозит опасностью не только лишить всякого значения миссию, опирающуюся на волю Патриарха, но и подорвет авторитет пославшего меня Архиерейского Собора, идти на что я не считаю возможным исключительно по церковным соображениям.

В каком положении окажусь я, прибывши в Америку от имени патриарха и Архиерейского Собора, если фактически Митрополит Платон меня не признает, или будет всеми мерами противодействовать моей работе?

Придется или идти на прямой раскол, зажечь пожар утихающей церковной смуты, поддержав тем самым заведомых церковных бунтовщиков, имена коих не стану здесь называть, или же, пробыв в Америке бесцельно некоторое время, уехать ни с чем.

И то, и другое недопустимо, ибо вызовет церковный соблазн и дискредитирует церковную власть.

Пусть впоследствии даже будут неправильными действия митрополита Платона, если бы он поступил так, но сейчас, при нашем трудном положении за границей, когда так важно, особенно в глазах мирян, наше церковное единение, нельзя вводить в искушение пасомых.

Невозможны такие рискованные шаги, когда нет связи с патриархом, в котором мы могли бы иметь незыблемую для всех бесспорную опору.

Очень жалею, что я не формулировал ясно этого условия на Соборе, но я был уверен, что оно подразумевалось само собою. Первостепенная же его важность выяснилась лишь теперь, когда мною получены из Америки известия от людей, заслуживающих доверия и уважения.

Отрицательное отношение митрополита Платона к моей поездке в Америку основано между прочим на ложной информации (клевета проф<ессора> Глубоковского³³ и др.), и потому я считаю необходимым вступить с ним в переписку о задачах и целях этой поездки.

Сам я по-прежнему убежден, что в Америке довольно дел для рассмотрения их третьим авторитетным лицом.

Помимо ликвидации внутренней смуты, встают вопросы об отношениях к Антиохийскому патриарху, об отношении Американской епархии к общерусскому заграничному церковному объединению, о водворении на Аляску Преосвященного Антония³⁴ и другие.

Кроме указанной причины, задерживающей мой отъезд, есть и другая, о которой я в свое время поставил в известность Архиерейский Собор: это денежная сторона. Вопрос этот я могу поднять лишь после удовлетворительного разрешения первого вопроса.

Наконец, в настоящее время я снова чувствую себя нездоровым. Напряженная, нервная работа последнего года, без

отдыха, способствовала возобновлению прошлогодней моей болезни, требующей серьезного лечения³⁵.

Вот что я нахожу необходимым ответить на присланный мне указ Архиерейского Синода; «сей есть мой ответ востязующим мене», скажу словам Апостола Павла (1 Кор. 9, 3)³⁶.

Испрашивая молитв Ваших, с глубоким уважением и братскою о Христе любовью, имею честь быть Вашего Высокопреосвященства,

митрополит Евлогий

(Машинопись, 4 л. и об., Архив Епархиального управления, ф. Митр. Евлогий, д. Официальная переписка митр. Евлогия, 1922–1924 гг. Без даты, предположительно — первые числа сентября 1923 г.)

IV.

Письмо митрополита Евлогия к митрополиту Антонию (Храповицкому)

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь!

При письме Вашем от 17/30 сентября с.г. я получил копию определения Архиерейского Синода от 27 августа / 9 сентября по поводу обращения м<итрополита> Сергея Нижегородского³⁷ заместителя местоблюстителя Патриаршего Всероссийского Престола к Советской власти о легализации Русской Патриаршей Церкви и проекта его послания к пастве на случай³⁸, если бы таковая легализация состоялась³⁹. Я еще получил из России, из другого источника, эти документы.

Из этих документов ясно, что м<итрополит> Сергей ходатайствует пред советской властью о легализации русской православной церкви (патриаршей) и предлагает на предварительное усмотрение этой власти проект своего послания, с которым он бы обратился к своей пастве, если бы последовало удовлетворение означаемого его ходатайства.

Таким образом, собственно говоря, послания еще нет, а есть только *проект* (так называет эти документы присланный мне экземпляр). К тому обусловленный известным актом советской власти.

Что касается содержания проектируемого послания, в котором митрополит Сергей резко отмежевывается от «политиканствующего» зарубежного духовенства, то в этом месте он вовсе не предоставляет Русской Церкви за границей управляться своим Синодом как угодно, а указывает совершенно определенно, чтобы всякое духовное лицо, которое не пожелает признать своих гражданских обязанностей перед советским союзом, должно быть исключено из списка клира Московского Патриархата и поступает в ведение заграничных Поместных Церквей, смотря по территории, теми же обстоятельствами должно быть обусловлено и существование за границей особых русских церковно-правительствующих учреждений, вроде священного синода или епархиальных советов. Таким образом, если бы осуществилось ходатайство митрополита Сергея о легализации русской церкви на указанных им условиях, то нашим заграничным русским церковным организациям по его велению не оставалось бы другого выхода, как только подчиниться юрисдикции тех Поместных Православных Церквей (Сербской, Болгарской, Греческой, Румынской), на территории которых они находятся, ибо трудно себе представить <2 слова неразборчивы>. Конечно, для нас было бы очень печально потерять связь со своею Матерью Церковью, но что же остается делать представителю всероссийской церковной власти, если мы своим поведением (участием в политике) создаем опасность для государственного положения нашей Церкви, которая должна нести тяжелую ответственность за наши деяния. Лучше пострадать нам, малой части Русской Церкви, чем всей Церкви страдать из-за нас.

Испрашивая молитв Ваших, с глубоким уважением и братскою о Христе любовью, имею честь быть Вашего Высокопреосвященства,

митрополит Евлогий.

(Рукопись (автограф), 2 л. и об., Архив Епархиального управления, ф. Митр. Евлогий, д. Официальная переписка митр. Евлогия, 1925–1926 гг. Без даты, предположительно — октябрь 1926 г.)

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Патриарх Московский Тихон (Беллавин) (19.01.1865, Псковская губерния — 07.04.1925, Москва). Первый патриарх Московский после восстановления патриаршества в России в 1917 г. До этого он

состоял поочередно архиепископом Северо-Американским, Ярославским, Виленским, а затем митрополитом Московским. В бытность патриархом Московским ему пришлось в тяжелых обстоятельствах защищать интересы Церкви перед натиском советской власти, а также бороться против раскольнической деятельности обновленческого движения. С мая 1922-го по июнь 1923 г. находился под домашним арестом в Москве. Прославлен в лике святых исповедников решением Архиерейского собора РПЦ МП в октябре 1989 г.

² Патриарх Григорий IV (Аль-Хаддад) (1859–1928, Бейрут). Православный епископ арабского происхождения, с 1906 по 1928 г. патриарх Антиохийский и всего Востока. После своего избрания он два года не получал признания греческих патриархов Константинополя, Александрии и Иерусалима, в его конечном признании существенную роль сыграла позиция Российской Церкви. В знак признательности он совершил официальную поездку в Российскую империю в 1913 г. и принял участие в торжествах по случаю 300-летия дома Романовых. До своей смерти он относился с глубокой симпатией к Русской церкви и к русскому народу и благосклонно относился к беженским русским архиереям.

³ Протоиерей Христофор Александрович Флеров (06.06.1846, Тверь — 23.02.1927, Рим). По окончании Тверской духовной семинарии служил диаконом в домовых церквях при Министерстве иностранных дел в Санкт-Петербурге (1871–1874), потом был отправлен на церковную службу за границу с определением к посольской церкви в Риме (1874–1907), был рукоположен в священника в 1907 и возведен в сан протоиерея в 1913-м, он временно обслуживал Св.-Николаевскую церковь при странноприимном доме Императорского Православного Палестинского Общества в г. Бари за отсутствием настоятеля в 1922–1925 гг., уволен за штат по старости в 1925 г. Похоронен на кладбище Тестаччо в Риме.

⁴ Епископ Дионисий (Валединский) (04.05.1876, Владимирская губерния — 15.03.1960, Варшава). Епископ Кременецкий, 3-й викарий Волынской епархии с 1913-го, он оказался на территории Западной Украины, отошедшей к Польше в 1920-м, и стал правящим архиепископом Волынской епархии два года спустя. В этой должности он поддерживал линию митрополита Варшавского Георгия (Ярошевского) по установлению независимости Православной Церкви в Польше. После трагической кончины митрополита Георгия в начале 1923-го, он был избран митрополитом Варшавским и предстоятелем Польской Православной Церкви, автокефалия которой была провозглашена год спустя по его инициативе патриархом Константинопольским Мелетием IV, но без согласия Московского патриарха. С 1923 по 1939 г. он содействовал «украинизации»

и «полонизации» православных приходов в границах Польского государства. В период оккупации Польши Германией митрополит Дионисий был арестован немцами, но вскоре освобожден. После установления в Польше коммунистической власти он был заключен под домашний арест и затем отстранен от управления Церковью, не без вмешательства московских политических и церковных властей. В 1951 г. он был окончательно уволен от должности и отправлен на покой в г. Сосновец, близ Катовице.

⁵ Жировичкий Успенский мужской монастырь, самый крупный белорусский православный монастырь, расположенный в деревне Жировичи Слонимского района Гродненской области. После заключения советско-польского Рижского мирного договора в марте 1921 г. монастырь находился в составе Польши. 6 февраля 1922 г. патриарх Тихон назначил о. Тихона (Шарапова) настоятелем Жировицкого монастыря и возвел его в сан архимандрита. В 1924 г. о. Тихон, как один из активных противников «полонизации» Православной Церкви на территории Польши, был смещен с поста настоятеля монастыря, а затем выслан из страны в Берлин.

⁶ Речь идет о двух племянниках митрополита Евлогия — Анатолии Павловиче (Толя) и Николае Павловиче (Коля) Георгиевских, которые в это время оказались сиротами. В начале Гражданской войны озабоченный судьбой двух подстроков дядя выписал их из Москвы и устроил сперва при эвакуированном в Киев Турковицком женском монастыре, затем в Дубенском монастыре на территории тогда входящей в состав Польского государства Западной Украины. В 1924 г. оба брата поступили в русскую гимназию, расположенную в Моравской Тшебове (Чехословакия). После окончания гимназии в 1926 г. Николай вернулся в Западную Украину, а Анатолий продолжил обучение в инженерной школе, как явствует из их писем к дяде-митрополиту (Архив Епархиального управления, ф. Митр. Евлогий, д. Частная переписка митр. Евлогия, 1924–1927 гг.). Позже оба переехали во Францию, а во время Второй мировой войны один из них — Анатолий — жил в оккупированном Париже с официальной пропиской по адресу дяди на улице Дарю 12, при Св.-Александровском кафедральном соборе. Оба племянника присутствовали на отпевании митрополита, совершенном в том же соборе 12 августа 1946 г. Николай Павлович Георгиевский скончался в Париже 7 октября 1978 г. в семидесятитрехлетнем возрасте и был похоронен на пригородском кладбище Тиэ (см.: Русская мысль. Париж, 20 авг. 1979, № 3274). Дальнейшая судьба А.П. Георгиевского нам не известна.

⁷ Имеется в виду Крестовоздвиженский мужской монастырь в городе Дубно (Ровенская область), который в то время был преобразован в пустынь, приписанную к Почаевской лавре.

⁸ В связи с образованием суверенного Польского государства Волынская епархия Российской Православной Церкви оказалась разделена на две части, восточная — под контролем советской власти, и западная — отошедшая к Польше. После того как правящий архиепископ Волынский Евлогий (Георгиевский) вынужден был оставить свою кафедру и уехать за границу, его первый викарий, епископ Владимиро-Волынский Фаддей (Успенский), стал исполнять его обязанности в восточной части Волыни (с кафедрой в Житомире). После ареста владыки Фаддея в конце 1921 г. его заменил во главе Волынской епархии 2-й викарий, епископ Аверкий (Кедров), но уже правящим архиереем. В то же время в западной части Волыни образовалась другая епархия, тоже Волынская, но в подчинении Польской Православной Церкви и с кафедрой в Кременце. На состоявшемся в начале 1922 г. церковном соборе с участием епископов отошедших к Польше православных епархий, епископ Дионисий (Валединский), бывший 3-й викарий архиепископа Евлогия, был назначен правящим архиереем Волынской епархии с возведением в сан архиепископа.

⁹ Под ставропигией подразумевается особый статус, присваиваемый в Православной Церкви некоторым монастырям, которые становятся независимыми от местной епархиальной власти и подчиняются непосредственно предстоятелю Церкви, патриарху или синоду. Почаевская Успенская лавра, доселе подчиненная архиепископу Волынскому, получила такой статус ставропигии в момент образования независимой (сперва на правах автономии) Польской Православной Церкви в 1921 г. и перешла тогда в прямое управление митрополита Варшавского и всея Польши.

¹⁰ На самом деле поездка о. Тихона Шарапова ни для кого не была секретом. О том, что его пребывание у патриарха в Москве происходило не без ведома и соответствующей слежки со стороны агентов ОГПУ, см.: *Губонин М., сост.* Акты святейшего патриарха Тихона..., ук. соч., с. 728.

¹¹ Митрополит Антоний (Храповицкий) (17.03.1863, Новгородская губерния — 10.08.1936, Сремски Карловцы, Югославия). Бывший последовательно архиепископ Волынский (1904–1914), затем Харьковский (1914–1917), он был одним из трех кандидатов (первым по числу голосов) на избрание в патриархи на Всероссийском церковном соборе, состоявшемся в Москве во 2-й половине 1917 г. В мае 1918-го он был избран митрополитом Киевским и Галицким. С мая 1919-го возглавлял Высшее Церковное Управление Юга России на территориях, подконтрольных белым войскам. Он был эвакуирован из Крыма вместе с армией генерала Врангеля в ноябре 1920-го и пребывал в эмиграции, первоначально в Константинополе, а с февраля 1921-го в Сербии с местопребыванием в Сремских

Карловцах. До своей кончины в 1936-м он возглавлял Русскую Православную Церковь Заграницей, сперва в качестве председателя ВЦУ за границей, а после его роспуска по требованию патриарха Тихона в мае 1922 г. в качестве первоиерарха им же учрежденного Архиерейского Синода РПЦЗ.

¹² Патриарх Димитрий (Павлович) (28.10.1846, Крушевац — 06.04.1930, Белград). Первый после восстановления Сербского Патриархата в ноябре 1920 г. Сербский патриарх. Он возглавлял Сербскую Православную Церковь с 1905 по 1920 г. с титулом архиепископа Белградского и митрополита Сербии, а с 1920-го до смерти с титулом патриарха Сербского. В этом качестве именно он в 1921-м пригласил из Константинополя в Сербию членов Высшего Российского Церковного Управления за границей и предоставил русским беженским архиереям свою резиденцию в Сремских Карловцах. В официальном письме от 3/16 марта 1922-го патриарх Тихон поблагодарил его за то, что он предоставил им такой приют (см.: *Губонин М., сост.* Акты святейшего патриарха Тихона..., ук. соч., с. 186).

¹³ Архиепископ Иоанн (Поммер) (06.01.1876, Лифляндская губерния — 12.10.1934, Рига). Православный епископ (с 1912-го), латыш по национальности. В августе 1920 г. он был избран правящим архиепископом Рижской и Латвийской епархии, получившей к этому времени автономию. Однако в управление епархией он вступил лишь через год, когда после долгих переговоров советская власть согласилась на выезд его из России. Человек по характеру энергичный и решительный, он активно содействовал развитию православия в Латвии и выступал в защиту интересов русского меньшинства в стране. В церковные распри русской эмиграции он не вмешивался, стараясь сохранить добрые отношения как с митрополитом Антонием, так и с митрополитом Евлогием, но при этом он настаивал на особом положении самоуправления Латвийской Церкви с теоретическим (но без реальных последствий) сохранением канонической связи с Московским патриархом, в отличие от православных Церквей Польши, Финляндии и Эстонии, отошедших под юрисдикцию Константинопольского патриарха. Архиепископ Иоанн был убит неизвестными лицами в своей пригородной резиденции в ночь с 11 на 12 октября 1934 г. В 2001 г. он был причислен к лику святых священномучеников Латвийской Православной Церковью (Московский Патриархат). Огромная его корреспонденция за период с 1920 по 1934 гг., в частности переписка с митрополитами Антонием и Евлогием, была опубликована Ю.Л. Сидяковым в многосерийных выпусках Альманаха гуманитарного семинара «Русский мир и Латвия» (Рига, 2008–2014) и отдельно в книге «История в письмах. Из архива священномученика архиепископа Рижского Иоанна (Поммера)» (Тверь: Булат, 2015; т. 1, 607 с.; т. 2, 527 с.).

¹⁴ Митрополит Михаил (Ермаков) (31.07.1862, Санкт-Петербург — 30.03.1929, Киев). Правящий епископ Гродненской епархии с 1905-го, был возведен в сан архиепископа в 1912 г. Во время Первой мировой войны вследствие наступления немецких войск на Гродно был эвакуирован в Москву, где проживал в одном из монастырей города до середины 1921 г. К тому времени территория Гродненской епархии оказалась включенной в состав новоучрежденного Польского государства, и архиепископ Михаил уже не смог вернуться на свою кафедру. Поэтому в июне 1921-го патриарх Тихон назначил его «Патриаршим экзархом на Украине, с возведением его в сан митрополита и предоставлением ему прав, принадлежащих митрополиту Киевскому», но титул митрополита Киевского остался за владыкой Антонием (Храповицким). В 1923 г. митрополит Михаил был арестован и пробыл два года в среднеазиатской ссылке, в 1926-м был вторично арестован и снова отправлен в ссылку. По освобождении в следующем году он поддержал декларацию лояльности митрополита Сергия (Страгородского) и наконец официально получил от него титул митрополита Киевского. В этом звании и умер два года спустя.

¹⁵ Епископ Владимир (Тихоницкий) (22.3.1873, Вятская губерния — 18.12.1959, Париж). С 1907-го епископ Белостокский, викарий Гродненской епархии, во время Первой мировой войны эвакуировался в Москву, где участвовал во Всероссийском церковном соборе 1917–1918 гг., после восстановления Польского государства вернулся в Белосток и стал временно управляющим Гродненской епархией за отсутствием архиепископа Михаила (Ермакова) (с сентября 1918-го по август 1922-го), позже он сопротивлялся провозглашению автокефалии Польской Православной Церкви, что и привело к его аресту и дальнейшему заключению в Дерманском монастыре (1923–1924). За защиту канонических прав Русской Церкви в Польше он был возведен в сан архиепископа патриархом Тихоном (30.11.1923). После высылки из страны в октябре 1924 г., он был принят в клир епархии митрополита Евлогия на правах викария для юго-восточного района Франции с местопребыванием в Ницце. Впоследствии он поддерживал позицию митр. Евлогия как по отношению к РПЦЗ, так и по отношению к возглавляемой митр. Сергием (Страгородским) РПЦ МП. После смерти митр. Евлогия он вступил в управление временным экзархатом западноевропейских приходов Вселенского патриарха и на всеобщем епархиальном собрании, которое состоялось в Париже в октябре 1946 г., был избран правящим архиепископом, что и было потом утверждено Константинопольским Патриархатом с возведением его в сан митрополита. Он возглавлял Экзархат до своей кончины, последовавшей в 1959 г.

¹⁶ Каноник Джон Альберт Дуглас (1868 — 03.07.1956, Лондон). Англиканский священник (с 1894 г.), один из главных участников офи-

циальных контактов между англиканами и православными в первой половине XX века. Бывший воспитанник Далидж-Колледжа, он состоял генеральным секретарем Отдела внешних сношений Английской Церкви с 1913 по 1945 г. и в такой должности был в переписке со многими видными православными иерархами, как греческими, так и русскими, в том числе с митрополитом Евлогием, с которым он часто встречался в рамках ежегодных съездов англо-русского Содружества св. Альбания и прп. Сергия. Основатель и издатель журнала «Christian East» («Христианский Восток») с 1920 по 1939 г., он опубликовал ряд книг и статей о православии и о перспективах сближения православных с англиканами (*John Albert Douglas. The Relations of the Anglican Churches with the Eastern Orthodox. London, 1921*). Каноник Дуглас часто помогал Русской Православной Церкви в годы гонений на нее со стороны советской власти и содействовал многим начинаниям, предпринятым как митрополитом Евлогием, так и Архиерейским Синодом в Карловцах. Он был даже награжден грамотой председателя Синода мирополита Антония за его деятельность в деле сближения Англиканской и Православной Церквей (о нем, см.: *Edward Every. Canon John Albert Douglas, RIP // Sobornost. Лондон, лето 1957, с. 496–498*).

¹⁷ Протоиерей Гавриил Иаковлевич Леончуков, впоследствии епископ Иоанн (30.6.1866, Херсонская губерния — 26.12.1947, Париж). По окончании Херсонской духовной семинарии служил на приходах Одессы (с 1899-го), его таланты организатора выдвинули его во главу комитета епархиальных свечных заводов при Святейшем Синоде (с 1916-го), в разгар революционных событий он был командирован в Лондон по делам свечного комитета (1919–1920), но не смог вернуться в Россию и поселился в Париже в 1920 г. В марте 1923 г. митрополит Евлогий назначил его в Берлин к Тегельской кладбищенской церкви и постриг его в монашество в июле того же года с возведением в сан архимандрита, о чем идет речь в здесь публикуемом письме к патриарху Тихону. С марта 1925 г. он состоял наместником Сергиевского подворья в Париже и настоятелем прихода при нем, сперва в сане архимандрита, а с 1935 г. в сане викарного епископа Херсонесского. После смерти владыки Евлогия в 1946 г. он отказался от подчинения Московской Патриархии и остался в юрисдикции Константинопольского патриарха вместе с митрополитом Владимиром (Тихоницким).

¹⁸ Архиепископ Евдоким (Мещерский) (01.04.1869, Владимирская губерния — 10.05.1935, Москва). С 1914 по 1917 г. управлял Северо-Американской епархией, с конца 1918-го занимал Нижегородскую кафедру и стремился наладить отношения с советской властью, объявляя полную политическую лояльность. В июле 1922-го присоединился к обновленческому движению и стал возглавлять Выс-

ший церковный совет «Живой Церкви» в сане митрополита. Был участником обновленческого «2-го поместного собора» в 1923 г. и обновленческого «предсоборного совещания» в 1924 г. Стара-ясь закрепить легитимность обновленческого движения, он тогда же установил связи с Восточными Патриархатами, в первую очередь, с Константинопольским. Он также пытался распространить обновленческое движение среди русских эмигрантов в Европе и в Америке, направляя за границу обновленческих «архиереев»-авантюристов, но без успеха. В начале 1925 г. из-за неудачности его общественно-церковной линии был снят с должности и ушел на покой.

¹⁹ Епископ Тихон (Лященко) (22.02.1875, Воронежская губерния — 11.02.1945, Карловы Вары, Чехия). Бывший инспектор Киевской духовной академии (с 1914 по 1918 г.), в эмиграции сначала в Болгарии с января 1919-го, назначен архиеп. Евлогием на должность настоятеля русской церкви в Берлине в феврале 1921-го. Решением Собора русских архиереев за границей ему было определено стать викарием Западно-Европейской епархии для приходов в Германии. Архиерейскую хиротонию возглавил митрополит Евлогий в Берлине в апреле 1924-го. В июне 1926-го Берлинское викариатство было преобразовано Архиерейским Собором в самостоятельную епархию, и епископ Тихон поставлен правящим архиереем ново-созданной епархии, что привело к разрыву между митрополитом Евлогием и архиереями Карловацкого Синода (01.07.1926). В ответ на такое решение, принятое без предварительного согласования с ним, митрополит Евлогий отстранил епископа Тихона от всех должностей с запрещением в священнослужении (11.07.1926). Но епископ Тихон не подчинился прещению и создал параллельный русской приход в Берлине, который он возглавлял до 1938 г., в то время как большинство русских общин в Германии осталось в ведении митрополита Евлогия (только во 2-й половине 1930-х под давлением нацистов эти приходы перешли из юрисдикции митрополита Евлогия в ведения РПЦЗ). Возведенный в сан архиепископа в 1936-м, владыка Тихон был уволен на покой Архиерейским Синодом два года спустя и переехал на жительство в Сербию. В конце Второй мировой войны он скончался на пути из эвакуации, возвращаясь из Белграда в Германию (о нем см.: *Богданова Т.А., Клементьев А.К.* Жизнь и труды протоиерея Т.И. Лященко, в монашестве Тихона, архиепископа Берлинского // *Православный Путь*. Джорданвилл: Изд. Троицкого монастыря, 2006).

²⁰ Митрополит Платон (Рождественский) (23.02.1866, Курская губерния — 20.04.1934, Нью-Йорк). С 1907 по 1914 г. занимал Северо-Американскую кафедру, по возвращении в Россию был последовательно архиепископом Кишиневским, экзархом Грузинским и

митрополитом Херсонским. В 1919 г. эмигрировал из Одессы в Константинополь, затем в Афины, а весной 1921-го уехал в Нью-Йорк, где снова принял за управление Северо-Американской епархией, что и было подтверждено указом патриарха Тихона от 29 сентября 1923 г. В апреле 1924-го 4-е Всеамериканское церковное собрание провозгласило временное самоуправление епархии до восстановления нормальных отношений с Церковью в России. Два года спустя митрополит Платон вместе с митрополитом Евлогием вышел из состава Архиерейского Синода РПЦЗ (27.06.1926), за что и был отрешен от своей должности Архиерейским Синодом РПЦЗ (31.03.1927), но этого решения не принял и объявил Северо-Американскую митрополию автономной, формально апеллировав к московской церковной власти в своих разногласиях с карловацкими архиереями. После отказа дальше выяснить свою позицию по отношению к заместителю местоблюстителя Патриаршего престола митрополиту Сергию (Страгородскому) в августе 1933-го был отстранен от управления Северо-Американской епархией указом митрополита Сергия с преданием церковному суду, но он этому постановлению не подчинился и продолжал управлять епархией до своей смерти.

²¹ Иоанн Саввич Кедровский (1879, Херсонская губерния — 16.03.1934, Нью-Йорк). Будучи псаломщиком, был направлен на служение в Америку, где был рукоположен в священника архиепископом Алеутским Тихоном (Белавиным) (впоследствии патриархом Московским). После революции начал активно выступать с критикой церковных властей и организовал «Федерацию духовенства и мирян», провозгласившую себя «независимой от имперских директив и законов». За свое поведение подвергся запрещению в священнослужении с исключением из состава духовенства российской миссии в Америке. Кедровский вернулся в Советскую Россию в 1923 г. и принял участие во 2-м обновленческом соборе в Москве в том же году. В октябре была совершена хиротония его (женатого!) во епископа Аляскинского, а через неделю по возведении в сан митрополита он был послан в Америку в качестве представителя живоцерковников. Он повел решительную борьбу против митрополита Платона и через гражданский суд предъявил иск на церковное имущество, ранее принадлежавшее Российской Церкви в этой стране. В своей борьбе за овладение церковной собственностью в США Кедровский достигнул некоторых успехов: например, Св.-Николаевский кафедральный собор в Нью-Йорке находился в ведении обновленцев с 1926 г. по 1943 г. (см.: *Соловьев И., свящ. Раскольническая деятельность «обновленцев» в русском зарубежье // XVIII Ежегодная богословская конференция Православного Св.-Тихоновского гуманитарного университета: Материалы. М.: Изд. ПСТГУ, 2008, т. 1, с. 273–281).*

²² Патриарх Мелетий IV (Метаксакис) (21.09.1871, о. Крит — 28.07.1935, Цюрих). Греческий архиерей, сторонник церковных реформ и экуменизма. Сперва он служил митрополитом в Кипрской церкви, затем занимал поочередно престол Афинского архиепископа (1918–1920), Константинопольского патриарха (1921–1923) и, наконец, Александрийского патриарха (1926–1935). В бытность Константинопольским патриархом, он стал организатором и председателем Всеправославного совещания, проходившего в Константинополе с 10 мая по 8 июня 1923 г., на котором был принят ряд реформ канонического порядка, в том числе переход на так называемый новый календарь (исправленный григорианский). Общая деятельность патриарха Мелетия вызывала противоречивые оценки в православной среде в разных странах: многие критиковали его поспешные реформы, призванные облегчить сближение с англиканами, и его утверждение исключительного права Константинопольского престола на управление всеми приходами так называемой «православной диаспоры». В 1923 г. патриарх Мелетий также вмешался в церковные дела в Польше и предоставил автономию двум бывшим епархиям Российской Церкви — Эстонской и Финляндской, что и вызвало протест со стороны как Московского патриарха Тихона, так и Синода зарубежных епископов.

²³ Патриарх Константин VII (Зервудакис) (21.09.1851, о. Сифнос — 17.11.1924, Константинополь). Он заменил отреченного от Патриаршего престола Мелетия (Метаксакиса) в конце 1923-го, но продолжал его реформаторскую линию: с его благословения новый календарь был применен в литургической жизни Константинопольской церкви в феврале 1924-го. Григорий VII также поддерживал связи с обновленцами в России и призывал патриарха Тихона добровольно оставить патриарший престол, полагая, что таким образом может быть преодолен возникший в России церковный раскол обновленчества. С этой целью он требовал от пребывавших в то время в Константинополе русских архиепископов Анастасия и Александра не помянуть патриарха Тихона и прекратить выступления против большевиков, а также посоветовал им признать новую власть в России, чтобы не повредить взаимоотношениям между турецким и советским правительством.

²⁴ «Кир» перед именем патриарха Григория — это греческое слово «кур» (от древнегреческого «кириос» — «господь»), означающее «господин», «владыка». Традиционно употребляется в официальных актах и посланиях в греко-византийском церковно-административном языке перед именем иерарха: патриарха или архиерея, здесь, подражая административному жаргону документов, полученных от патриарха Григория, митрополит Евлогий придает употреблению этого титула знак легкой иронии, негативно отзываясь о его деятельности.

²⁵ Архиепископ Анастасий (Грибановский) (06.08.1873, Тамбовская губерния — 22.05.1965, Нью-Йорк). До революции занимал поочередно Серпуховскую, Холмскую и Кишиневскую кафедры. С 1919 г. в эмиграции, сначала в Константинополе, где по поручению ВВЦУ и с благословения Константинопольского Патриархата он управлял местными русскими приходами в этом городе (с 15 октября 1920-го). В мае-июне 1923-го принял участие в заседаниях проходившего в Стамбуле по инициативе патриарха Мелетия (Метаксакиса) Всеправославного совещания автокефальных Церквей, но, высказавшись против реформ по вопросам, относящимся к второбрачию клириков, он покинул собрание на шестом заседании, подписав акт с решениями лишь первых четырех заседаний. В конце 1924 г. был направлен Карловацким Синодом в Палестину, чтобы заведовать делами Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, позже был возведен в сан митрополита. После смерти митрополита Антония, последовавшей в октябре 1936-го, он стал председателем Архиерейского Синода РПЦЗ. При наступлении Советской армии в конце Второй мировой войны покинул Сербию и переехал через Чехию и Австрию сначала в Женеву (1945–1946), а затем в Мюнхен (1946–1950). Позднее переехал в США, где продолжал управлять РПЦЗ до своего отстранения от дел и увольнения на покой по старости в 1964 г.

²⁶ Архиепископ Александр (Немоловский) (27.08.1874, Волынская губерния — 11.04.1960, Брюссель). Бывший викарий, а затем правящий архиерей Северо-Американской епархии Российской Церкви, был уволен в 1921 г. из-за административных и финансовых беспорядков в епархиальных делах. Переехав в Европу в 1923 г., поселился в Константинополе, где вместе с архиепископом Анастасием (Грибановским) принял участие во Всеправославном совещании (май-июнь 1923 г.) в качестве представителя русского епископата. После высылки из Стамбула архиепископом Анастасием, в следующем году был назначен Константинопольским патриархом на должность управляющего русскими приходами в этом городе. Четыре года спустя он был в свою очередь уволен от должности Патриархатом. После кратковременного пребывания в русском Андреевском скиту на Афоне, переехал в Брюссель по приглашению митрополита Евлогия на правах викария для Бельгии (начало 1929 г.). После завоевания Бельгии немецкими войсками был арестован за свои публичные выступления против Гитлера и заключен в тюрьму в Аахене (конец 1940 г.), а затем отправлен в Берлин, где сидел под домашним арестом с запрещением совершать богослужения и проповедовать (1941–1945 гг.). После взятия Берлина Советской армией был освобожден и присоединился к РПЦ МП с назначением на должность архиепископа Берлинского (12.10.1945). В 1948 г. вер-

нулся в Бельгию и был утвержден правящим архиепископом самостоятельной Бельгийской епархии в юрисдикции РПЦ МП, возведен в сан митрополита незадолго перед кончиной.

²⁷ Летом 1924 г., заявляя о незаконном вторжении русских беженских архиереев в область компетенции Константинопольской церкви (они якобы расторгли церковные браки пребывающих в Стамбуле эмигрантов из России, что Вселенский Патриархат считал своей исключительной прерогативой в качестве местной Церкви), Константин VII потребовал церковного суда над находившимися в Константинополе архиепископами Анастасием и Александром, пригрозив им запрещением в священнослужении. Стойкий архиепископ Анастасий был вскоре выселен из Стамбула по решению турецких властей за якобы «антитурецкую пропаганду», а более уступчивый архиепископ Александр примирился с Патриархатом, и таким образом ему удалось продлить свое пребывание в городе до 1928 г., когда ему тоже пришлось покинуть пределы Турции.

²⁸ 17 апреля 1924 г. митр. Антоний выехал из Белграда в Сирию и Палестину, где он надеялся получить поддержку у местных Восточных патриархов в своей борьбе против перехода Православных Церквей на новый календарь. По пути он остановился на Афоне, куда прибыл в Великий Четверг (24 апреля). Он пробыл на Святой Горе до праздника Пятидесятницы и уехал в Дамаск в середине июня. После паломничества на Святую землю митрополит Антоний вернулся окончательно в Сербию 15 октября того же года (см.: *Никон (Рклицкий), архиеп., укр. соч., т. 7, с. 41–51*).

²⁹ Речь идет о проекте, составленном митрополитом Евлогием и представленном им на рассмотрение Собора русских зарубежных архиереев в мае 1923 г., с предложением об учреждении четырех автономных церковно-административных округов для заведования местными делами русских церковных общин в рассеянии: Западно-Европейского, Балканского, Дальне-Восточного, Северо-Американского. Хотя проект был одобрен архиерейским собором, только положения, относящиеся к Западно-Европейскому округу, вошли в силу (см.: *Определения Собора Архиереев РПЦЗ от 19 мая — 1 июня 1923 г.: 1) Об автономном Западно-Европейском митрополичьем округе // Церковные ведомости. Белград, 1–15.09.1923, № 17 и 18, с. 1*). Но уже на следующем заседании архиерейского собора в октябре 1923 г. эта система была отменена: «8-ю голосами против 4-х (при воздержавшихся: митрополите Антонии и епископе Тихоне) было постановлено упразднить автономию моего округа, установленную Архиерейским Собором 1923 года. Здесь со всею ясностью сказалось, как неискренно, лицемерно и вынужденно было представление этой автономии, упраздненной через год после ее дарования. Я выступил с решительным протестом, изложенным в моти-

вированном заявлении, — и покинул зал заседаний», — вспоминал об этом митрополит Евлогий (Путь моей жизни, ук. соч., с. 608).

³⁰ Архиепископ Савватий (Антонин Врабец) (03.02.1880, с. Жижков, Богемия, Австро-Венгерская империя — 14.12.1959, Прага). Получив среднее образование в Праге, в 1901 г. отправился в Россию, где окончил Уфимскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию. С 1907 по 1920 г. нес пастырское служение на Волыни, а в 1921 г. вернулся в Прагу. В то время Сербская Православная Церковь уже принялась организовывать церковную жизнь на территории новообразованной республики Чехословакии. Вскоре Сербский Патриархат учредил две епархии: первую — Чешско-Моравскую, с чешским епископом Гораздом (Павликом), а другую — Мукачешско-Прешевскую, с епископом из Сербии. Но почти одновременно в марте 1923 г. Константинопольский патриарх Мелетий IV посвятил архимандрита Савватия во епископа в ответ на прошение от членов так называемого «Чехословацкого общества православных верующих» и сразу возвел его в сан архиепископа «Пражского и всея Чехословакии». В результате таких несогласованных действий разгорелся между Константинопольской и Сербской Православными Церквами спор о канонической юрисдикции и пастырском окормлении православных общин в Чехии и в Словакии. На самом деле, только маленькая группа православных в Чехословакии находилась при архиепископе Савватии в юрисдикции Константинополя, наиболее многочисленной была группа, подчинявшаяся Сербской Церкви. Положение еще усложнилось в конце 1924 г. с приездом в Прагу высланного из Польши русского епископа Сергия (Королева), которому митрополит Евлогий поручил управление церковными общинами русских беженцев в Чехословакии на правах викария, в то время как Архиерейский Синод РПЦЗ поддерживал позицию сербской юрисдикции. Во время Второй мировой войны архиепископ Савватий был арестован немецкими нацистами и отправлен в концлагерь Дахау за то, что крестил пражских евреев. Когда в 1945 г. он вернулся из лагеря в Прагу, новое правительство не допускало его к выполнению своих церковных обязанностей (о нем см.: *Марек А., Бурега Вл., Данилец Ю.* Архиепископ Савватий (1880–1959). Очерк жизни и деятельности выдающегося деятеля Православной Церкви в Чехословацкой республике. Оломоуц: Изд. Университет Палацкого, 2009, на чешском языке).

³¹ Епископ Вениамин (Федченков) (02.09.1880, Тамбовская губерния — 04.10.1961, Печоры, Псковская область). Получив епископский сан в Севастополе в разгар Гражданской войны, возглавлял военное духовенство Добровольческой армии до эвакуации из Крыма, а также первые годы в эмиграции. В этой должности он принял активное участие в создании Высшего Российского Церковного

Управления за границей в Константинополе, а позже заграничного Архиерейского Синода в Сремски-Карловцах, но затем отмежевался от линии митрополита Антония и перешел в юрисдикцию Сербской Церкви с определением на должность настоятеля монастыря Петковица. По просьбе архиепископа Пражского Савватия, находящегося в юрисдикции Константинопольского патриарха, стал возглавлять православную миссию в Подкарпатской Руси (Словакия) на правах епархиального архиерея, с местопребыванием в Мукачеве (с сентября 1923 г. по апрель 1924 г.). Однако был вскоре выдворен из Чехословакии в Сербию и поселился снова в Петковице. По приглашению митрополита Евлогия весной 1925 г. переехал в Париж, где исполнял обязанности инспектора в Свято-Сергиевском богословском институте (с промежутком в 1928–1929 гг., с временным возвращением в Сербию). В марте 1931 г. отошел от митрополита Евлогия из верности митрополиту Сергию (Страгородскому) и основал приход Московской Патриархии при созданном им Трехсвятительском подворье в Париже на улице Петель. В 1933 г. ему было поручено управление Северо-Американской епархией РПЦ МП со званием экзарха и с возведением в сан митрополита (1938). После Второй мировой войны принял советское гражданство и окончательно вернулся в Советскую Россию, где управлял поочередно Рижской, Ростовской и Саратовской епархиями. В 1958 г. уволен на покой и до кончины пребывал в Псково-Печерском монастыре.

³² См. прим. 20.

³³ Николай Никанорович Глубоковский (06.12.1863, Вологодская губерния — 19.03.1937, София), крупный богослов, эзегет, патролог и историк Церкви. Профессор Санкт-Петербургской духовной академии с 1894 г. до ее закрытия в 1918 г., затем преподаватель в Петроградском богословском институте (1918–1921), эмигрировал через Финляндию и Берлин в Прагу (1922 г.), затем в Софию (1923 г.), где ему было предложено занять кафедру Священного Писания Нового Завета. В церковных спорах русской эмиграции он формально был ближе к умеренной позиции митрополита Евлогия (хотя не разделял полностью все его взгляды), чем к линии Карловацких епископов (см. о нем: *Богданова Т.А.* Н.Н. Глубоковский: судьба церковного ученого (по архивным материалам) // *Мир русской византистики*. СПб., 2004, с. 119–171; *Гаврюшин Н.К.* Митрополит Антоний и проф. Н.Н. Глубоковский // *Гаврюшин Н.К.* Русское богословие: Очерки и портреты. Нижний Новгород, 2005, с. 101–103; *Даниленко Б., прот.* Вдали от родины: Последние годы жизни Н.Н. Глубоковского // *Die Russische Diaspora in Europa im 20. Jahrhundert: Religiöses und Kulturelles Leben*. Франкфурт: Peter Lang, 2008, с. 71–117).

³⁴ Епископ Антоний (Дашкевич) (01.10.1874, Волынская губерния — 28.03.1934, г. Казанлык, Болгария). Бывший священник

миссионер на Аляске (1896–1906), затем священник Балтийской эскадры (1906–1917), после революции в эмиграции в Дании, где пользовался покровительством императрицы Марии Федоровной и был избран приходским советом на должность настоятеля Св.-Александро-Невского храма в Копенгагене. Определением Высшего Церковного Управления Российской Церковью за границей в июне 1921 г. назначен епископом Аляскинским, викарием Северо-Американской епархии (23.06.1921), но его хиротония задержалась по разным причинам и была совершена только в декабре 1921 г. в Сремских Карловцах. В начале следующего года он наконец выехал на место служения в США с поручением проведения ревизии Северо-Американской епархии, но там столкнулся с сопротивлением митрополита Платона, который неблагоприятно смотрел на проведение ревизии довольно запутанных епархиальных дел в Америке. Ему все же удалось составить отчет, в котором в крайне неблагоприятном свете была представлена деятельность архиепископа Александра (Немоловского) и митрополита Платона, что привело к осложнению отношений между Карловацким ВРЦУ и американскими иерархами. Отчет был передан через о. Тихона (Шарапова) на рассмотрение патриарха Тихона (об истории ревизии и связанных с ней документов см.: *Ю.Л. Сидяков*. Из архива священномученика архиепископа Иоанна // Альманах гуманитарного семинара «Русский мир и Латвия». Рига: Seminarium hortus humanitatis, 2009, вып. XVIII и XX). Однако заключения этого рапорта не привели ни к каким конкретным последствиям. А уже в начале 1924 г. епископ Антоний был уволен на покой по болезни согласно прошению и вернулся в Европу, где поселился при русской церкви в Шипке (Болгария).

³⁵ У митр. Евлогия часто бывали проблемы со здоровьем, он страдал, в частности, воспалением вен на ногах и болезнью Менъера. В письме к архиепископу Иоанну (Поммеру) митрополит Антоний писал об этих частых недугах в 1925 г.: «Хворает пр<еосвященный> Евлогий, и жалко мне, что у него склероз, малокровие мозга, обмороки и рвота» (Из архива архиепископа Иоанна (Поммера) — Письма митрополита Антония (Храповицкого) к архиепископу Иоанну / *публ. и ком. Ю.Л. Сидякова* // Альманах гуманитарного семинара «Русский мир и Латвия». Рига: Seminarium hortus humanitatis, 2009, вып. XVIII, с. 18).

³⁶ Точная цитата по Синодальному изданию Библии: «Мой ответ востязующим мене сей есть».

³⁷ Митрополит Сергей (Страгородский) (11.01.1867, Нижегородская губерния — 15.05.1944, Москва). Будучи митрополитом Нижегородским и Арзамасским (а с 1934 г. митрополитом Московским и Коломенским), управлял Патриаршей Церковью сначала в качестве заместителя местоблюстителя Патриаршего престола с декабря

1925 по 1936 г. (с перерывом с ноября по март 1927 г., когда он был арестован по обвинению в связях с эмиграцией и в подготовке проведения нелегальных выборов патриарха), затем местоблюстителя Патриаршего престола с 1936 г. по 1943 г., и, наконец, Патриарха Московского и всея Руси с мая 1943 до своей смерти в мае 1944 г. Его линия абсолютной лояльности по отношению к советскому правительству вызвала немало возражений и критики и привела к большим потрясениям в церковной жизни как в самой стране, так и за рубежом, тем более что этот вынужденный путь не предостерегал священнослужителей и остальных верующих от дальнейших преследований со стороны советской власти.

³⁸ Под этими документами имеются в виду «Послание Заместителя Местоблюстителя Святейшего Всероссийского Патриаршего Престола высокопреосвященного Сергия, митрополита Нижегородского и Арзамасского, к православным архипастырям, пастырям и пасомым Московского Патриархата» от 28 мая / 10 июня 1926 г. (см. текст в книге: *Одинцов М.И., сост.* Русские патриархи XX века. Судьбы Отечества и Церкви на страницах архивных документов. М.: Изд. РАГС, 1999, с. 221–223) и «Обращение митрополита Сергия к комиссару Внутренних Дел СССР» от 10 июня 1926 (см. текст в книге: *Одинцов М.И.* Декларация митрополита Сергия..., ук. соч., с. 123).

³⁹ В своем определении от 9 сентября 1926 г. члены Архиерейского Синода РПЦЗ отзывались неоднозначно о первом варианте проекта «декларации» заместителя патриаршего местоблюстителя: «В послании митрополита Сергия мы имеем совершенно свободное (едва ли не первое за 5 лет) письменное выражение воли высшей церковной власти, для нас вполне обязательной. Мы не знаем, какая участь постигнет эту волю от советского правительства в России, но Русская Православная Церковь за границей к этому правительству не имеет отношения, а свободная воля церковной власти для нас не требует санкции советской власти и безусловно обязательна уже потому, что Собор Архиереев и Архиерейский Синод неоднократно о сем постановляли. Приведенными актами Митрополита Сергия церковная власть в России совершенно устраняется от управления Русской Церковью за границей и ограничивает область своего ведения духовными учреждениями внутри России, предоставляя нам управляться с нашим Синодом совершенно самостоятельно. Обсудив означенные документы и приняв во внимание изложенное, Архиерейский Синод Русской Православной Церкви за границей определяет: 1) Послание митрополита Сергия принять к руководству и исполнению, не прекращая духовной связи и возношения имени Патриаршего Местоблюстителя. 2) Считать означенное послание свободным волеизъявлением Всероссийской Высшей Церковной власти и не считаться с могущими последовать в связи с ответом

комиссара Внутренних Дел изменением сей воли. [...]» (цит. по «Протоколу Священного Собора архиереев РПЦЗ, № 4, от 5 сентября 1927 г.»). К окончательному тексту декларации митрополита Сергия от июня 1927 г. реакция Карловацких архиереев была крайне негативной. Определением от 5 сентября 1927 г. требование о лояльном отношении к советской власти было ими отвергнуто «как неканоническое и весьма вредное для Святой Церкви как в России, так и за границей», и было решено «прекратить административные сношения с Московской церковной властью ввиду невозможности нормальных сношений с нею и ввиду порабощения ее безбожной советской властью, лишаящей ее свободы в своих волеизъявлениях и канонического управления Церковью» (там же).

Публикация и прим. проф. Антуана Нивьера

К 120-летию со дня рождения архимандрита Софрония (Сахарова)



Из переписки архимандрита Софрония (Сахарова) с писателем Николаем Боковым

В сентябре 2016 года отмечалось 150-летие со дня рождения преподобного Силуана Афонского и 120-летие со дня рождения архимандрита Софрония (Сахарова), его биографа и ученика. 26 ноября 1987 года решением Священного Синода Константинопольским Патриархатом была совершена канонизация Силуана Афонского. Как ни удивительно, но сохранился дом в селе Шовское Липецкой епархии, в котором родился и жил будущий подвижник. Сейчас в нем обустраивается музей, посвященный преподобному Силуану.

Будущий архимандрит, в миру Сергей Семенович Сахаров (22 сентября 1896 г. — 11 июля 1993 г.) родился в Москве в верующей и состоятельной семье. Его няня, Екатерина, была человеком глубокой молитвы. В первые годы жизни мальчик был слаб и часто болел, но постепенно здоровье его стало поправляться. В юности увлекался живописью. В 1921 году Сергей Сахаров эмигрировал из России; несколько месяцев провел в Италии, затем — в Берлине и Париже. В 1925 году он посту-



Архимандрит Софроний (Сахаров)

пил в Свято-Сергиевский богословский институт в Париже. Однако, учась в богословском институте, не находил того, что искал. Он чувствовал необходимость уйти в монастырь. Вскоре представилась возможность поехать в Югославию, а оттуда — на Афон. Через некоторое время он принял монашеский постриг с именем Софроний в русском монастыре святого великомученика Пантелеимона. Весной 1930 года произошла встреча со старцем Силуаном Афонским, ныне канонизированным Православной Церковью. Преподобный Силуан стал духовником молодого монаха. Наставления преподобного Силуана стали для отца Софрония главной опорой его жизни. 30 апреля 1932 года отец Софроний был рукоположен во иеродиакона. В 1935 году иеродиакон Софроний тяжело заболел. Он был на грани смерти, но по молитвам преподобного Силуана выздоровел. 24 сентября 1938 году отошел ко Господу старец Силуан. Перед смертью он передал отцу Софронию записи, которые легли в основу его книги «Старец Силуан». После смерти духовника отец Софроний с благословения настоятеля монастыря уходит в «пустыню». Он подвизается в Карульском и некоторых других афонских скитах. В феврале 1941 года он был рукоположен во иеромонаха. Вскоре он становится духовником монастыря св. Павла. После войны вместе с группой афонских монахов русского происхождения его высылают с Афона. В 1947 году иеромонах Софроний приезжает во Францию и служит в Свято-Успенской кладбищенской церкви в Сент-Женевьев-де-Буа. Через год, в 1948 году отец Софроний публикует первое, ручное (ронетипное) издание книги «Старец Силуан» в количестве 500 экземпляров. В 1952 году в Париже выходит первое типографское издание книги «Старец Силуан», а через несколько лет — первое издание этой книги на английском языке. Постепенно вокруг отца Софрония собираются ученики, стремящиеся к монашеской жизни. В 1956 году он создает во Франции, на ферме Колара, монашескую общину. Он мечтает об основании православного монастыря, в котором могли бы реализовываться заповеди преподобного Силуана. Основать такой монастырь во Франции не удалось, и в ноябре 1958 года отец Софроний переезжает в Великобританию, в графство Эссекс, где было приобретено имение. Там был создан монастырь святого Иоанна Предтечи. В этом мо-

настыре отец Софроний подвизался до конца дней. Он мирно скончался 11 июля 1993 года в созданном им монастыре. Книги архимандрита Софрония переведены на множество языков мира. Русскому читателю хорошо знакома книга «Старец Силуан». Среди других творений отца Софрония можно упомянуть книги «О молитве» и «Видеть Бога как Он есть». Относительно последней он свидетельствует: «...я там писал целую мою исповедь за всю мою жизнь. Там приведено все самое важное из моей жизни в Боге...».

Николай Константинович Боков (1945 г.р.) — российский поэт и прозаик, ныне работающий во Франции. В 1969 году окончил философский факультет МГУ, в 1970 г. поступил в аспирантуру, но в 1972 г. был отчислен по требованию КГБ. Еще студентом в 1965–1966 гг. был близок к литературной группе «СМОГ». С 1972 г. начали печататься его произведения на Западе под различными псевдонимами, а затем и их переводы на иностранные языки. В 1975 году эмигрировал во Францию. Работал в газете «Русская мысль». В начале 1980-х гг. оставил литературу, жил в монастырях Афона и Святой земли. Вернулся в литературу в 1998 г. Вел рубрику во французском журнале «La Vie» (Париж; до 2002). Награжден премией «Дельмас» Института Франции (2001), член французского ПЕН-клуба. Наибольшую известность получила его повесть «Смута новейшего времени, или Удивительные похождения Вани Чмотанова», опубликованная в «Русской мысли» в 1970 г., а затем вышедшая отдельной книжкой в Париже (на польском была опубликована в подпольном издательстве *Anti/K*, по-немецки выпущена в Цюрихе в 1972 г. издательством *Diogenes Verlag*). Лауреат премии РПЦ за книгу «Зона ответа».

Николай Боков посетил монастырь в Эссексе вскоре после своего обращения и крещения. Свои впечатления и «смущение» от того, что увидел и услышал, он изложил архимандриту Софронию в письме. Настоятель откликнулся пространственным письмом, в котором постарался ответить на все вопросы адресата.

Приносим глубокую благодарность Николаю Бокову за возможность публикации этих писем. В письмах бережно сохранена орфография авторов, а в ответном письме — особенности стиля.

СЕРГЕЙ БЫЧКОВ

1.

Николай Боков — архимандриту Софронию

5 ноября 1984 года

Глубокоуважаемый брат во Христе Софроний.

После долгих колебаний и посовествовавшись с моим духовником, я решил написать Вам о смущении, пережитом в Вашей обители 24–25 сентября сего года.

Прямая причина этого смущения — почитание портрета старца Силуана, как если бы это была икона. Мне сказали, что эти портреты даже освящены. Однако, святая икона неканонизированного лица — это нонсенс.

Таким образом, вместо подлинной и несомненной христианской церковной жизни столкнулся в Вашей обители с необходимостью выбирать между установлениями Православной Церкви — и Вашим личным решением. Это и зародило глубокое смущение.

Мне высказывали аргумент в пользу введенного Вами новшества, — аргумент, принадлежащий, по-видимому, Вам, — а именно, что так всегда начиналось местное почитание подвижника. Однако, во-первых, это почитание должно быть местным, т.е. по месту деятельности подвижника; Вы же учреждаете его почитание в Англии, где старец Силуан никогда не был. Во-вторых, верно, что портреты святого Серафима Саровского, например, распространялись задолго до его канонизации, но Вы знаете, конечно, что до канонизации святой Серафим не изображался с нимбом.

Надеюсь, Вы согласитесь, что высказанное не имеет целью бросить тень на старца Силуана, трудившегося для славы Божией.

Может статься, Вы видите некоторый ущерб в том, что Церковь не установила официального почитания старца Силуана. Однако, нетрудно заметить, что канонизация того или иного подвижника принадлежит к тайнам Божиим, к судьбам Божиим. Так современник святого Серафима Марк из того же Саровского монастыря не был канонизирован и даже не получил известности; однако в откровении монахине Дивеевского монастыря Серафим и Марк предстали вместе, как находящиеся в одной и той же небесной обители. Радуйтесь,

говорит Христос, не тому, что вы можете творить чудеса, а тому, что имена ваши записаны на небесах.

Мое беспокойство углубилось, когда стало ясно, что введенное Вами новшество в иконопочитании не есть изолированное событие: Ваша новая книга называется «Дѣ ком иль э». Возможно, столь гордое название предложило Вам издательство, так часто бывает. Однако, подписали его своим именем — Вы....

Господь наш Иисус Христос да поможет Вам.

Н. Боков

2.

Архимандрит Софроний — Николаю Бокову

16 ноября 1984 года

Глубокоуважаемый брат НИКОЛАЙ,

Благословение и мир Вам от Господа.

Уже немало лет, как я вышел из строя. Мой возраст не малая проблема ни для кого бы то ни было. Я больше не поддерживаю переписку ни с кем. Но Ваше письмо, полученное мною 12-го сего месяца, застало меня серьезно больным. При внимательном чтении его не один раз я вынес впечатление, что Вы сам — страдающая душа. И в силу глубокого сочувствия к Вам я возжелал непременно ответить вам. Моя надежда, что Ваше «смущение» уменьшится и даже может быть, исчезнет.

Начну с конца Вашего письма. Вы пишете: «Мое беспокойство углубилось, когда стало ясно, что введенное Вами новшество в иконопочитании не есть изолированное событие: Ваша новая книга называется “Дѣ ком иль э” (“Бог такой, какой Он есть”). Возможно, столь гордое название предложило Вам издательство, так часто бывает. Однако, подписали его своим именем — Вы...»

О, Вы, чудотворец, обвиняя меня, Вы не написали «названия» моей новой книги корректно. Оно: «ВУАР ДЬЕ тель к'Иль э». («<видеть> Бог<a> как Он есть»). Текст, заимствованный из Евангелия от Иоанна: его Первое послание 3, 2 «потому что увидим Его, как Он есть».

В этом тексте содержится последняя надежда каждого христианина. Почему бы моей книге не иметь подобного ТИТУЛА? Т.е. такого, который выражает и мое последнее чаяние? Если бы я претендовал описать Божество, как Оно есть, то это было бы показателем моего богословского невежества прежде всего, а не гордости. Само сие ожидание спасения от Бога пронизывает другие писания Отцов нашей Церкви. В прошлом веке глубоко чтимый Русской Церковью подвижник, а в конце жизни своей — ставший епископом, Игнатий Брянчанинов писал о сем предмете. И никто не воспринял его писания как возмутительную гордость; наоборот. Я уверен, что Вы не читали моей книги. И этим объясняется неправильное написание титула моей книги и так же совершенно неправильное понимание содержания ее.

Главная идея Епископа Игнатия в том, что все, кто претендует видеть Бога не живя по заповедям Евангелия, ошибаются. Единственный путь видеть Бога «как Он есть» лежит через тотальное покаяние и максимальное усилие пребывать в духе Его заповедей. Именно сие и есть содержание моей книги. Заповеди не противны Естеству Самого Бога. В них дается человеку откровение о том, как Он есть.

Возьмите заповедь блаженства: «Блажени чистии сердцем: яко тии Бога узрят». Как узрят? Как Он есть или как Он не есть? Лично я верю в первое — как Он ЕСТЬ. Конечно, даже и мне, после 55-ти лет монашества открыто, что в Божественном Бытии есть аспект, навеки пребывающий непостижимою тайной — Его сущность. Я вполне корректно говорю это и в моей книге. И если нет никакого богословского основания обвинять меня в гордости за сей Титул книги, то я согласился с тем, что мне было предложено: т.е. с тем, что имеется. Инициатива для сего никак не была моею. Но по существу я не видел доводов против. Вы правы, что все же ответственность ложится на меня. Надеюсь, что когда моя книга выйдет по-русски, и Вы найдете немного времени ознакомиться с ее действительным содержанием, Ваше смущение будет ликвидировано. Этого я и желаю.

Вы первый из всех, кто посетил наш Монастырь, «столкнувшись с необходимостью ВЫБИРАТЬ между установлениями Православной Церкви — и Вашим (т.е. моим) личным решением». Нас посетили и непрестанно посещают и

Иерархи Православных церквей (хочу сказать — различных поместных церквей, в том числе и русских) и Профессора Православных высших школ богословия, и священники, с нами сослужащие Литургию, и Иеромонахи и монахи Святой Горы Афон. Никогда не было и тени какого-либо смущения. Думаю, что Вы еще недостаточно освоились с Историей и практикой вековой жизни нашего Православия.

Последнее: почитание Старца Силуана. Один иерарх Русской Церкви составил полную службу Старцу, как великому святому. И даже акафист ему. (Архиепископ Никодим Воронежский)*.

Он сам прислал мне сии свои труды. Из этого видно, что в недрах Русской Церкви наличествует сия идея. Налицествует она и на Святой Горе Афона. Там два монаха греческих так же составили ему службы. Почитают его мощи (Глава) в Монастыре Святого Великомученика Пантелеимона. Эти мощи хранятся в храме Монастыря. Почему еще нет законченного акта — канонизации, это сложное дело вообще. Но я лично не сделал ничего практического в этой перспективе. Сам я чту Старца, и дальше я не иду.

Икона Старца написана весьма известным иконописцем и богословом иконопочитания Успенским, в Париже. И его икону многие полюбили и просят прислать им хотя бы фотографию. И это не только среди православных в Греции или России, но и в других странах и церквях. Во Франции есть несколько католических монахов и монахинь, возжелавших носить его, Силуана, имя. И это желание удовлетворено их наставниками и даже иерархами.

Книга о Старце известна в следующих переводах: Английский (2 издания и отчасти есть третье: его Писания). Французский (3 издания полного текста. И одно сокращенное). Переведенное на языки Японский и Корейский. Немецкий (2 издания. Первое сокращенное, второе полное). Итальянский (Пока еще одно издание). Сербский (Быть может, есть уже и второе). Греческий (2 издания, готовится третье). Арабский — мне еще недостаточно известный. Знаю, что готовятся переводы на Шведский и Испанский и другие.

* Архимандрит Софроний ошибся. Служба преподобному Силуану Афонскому была составлена архиепископом Харьковским и Богородицким Никодимом (Руснаком) (1921–2011).

Не примите в обиду, если и я пожелаю Вам нечто. А именно: постарайтесь избежать царящей повсюду среди православных тенденции к разделениям, и осуждениям, и распрям и прочему сего порядка.

Подпись

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "А. Софроний". The script is cursive and somewhat stylized, with a horizontal line drawn through the middle of the signature.

Приписка на полях: В 79-м я посетил в Москве Архиеп. ПИТИРИМА (Нечаева) (в его рабочем кабинете). Он предложил мне в подарок висевшую у него на стене икону Старца Силуана «из дерева», очень сложной резной работы одного русского мастера. Я отказался, потому что было бы невозможно пройти на таможне. И я был прав: увидел из опыта.

Публикация Сергея Бычкова

ДАНА ГАШКОВА

Биографический лексикон русской межвоенной эмиграции в Чехословакии

Почти двадцать лет прошло с той поры, когда мы начали в Славянском институте заниматься темой русской эмиграции в Чехословакии в период между двумя мировыми войнами. За это время был собран большой биографический материал, касающийся представителей русской эмиграции, включая аудио- и видеозаписи свидетельств современников, а также описания научной и культурной деятельности эмигрантов. Поэтому в 2012 году было принято решение использовать собранные материалы в качестве исходных данных для составления обширного биографического словаря тех представителей русской эмиграции, которые приехали в Чехословакию и провели здесь остаток своей жизни либо наиболее плодотворные годы.

Работу над словарем русской эмиграции возглавляла Любовь Белошевская. После ее смерти руководящие функции были возложены на Дану Гашкову. В настоящее время вместе с ней над словарем работают Юлия Янчаркова и внештатный сотрудник Славянского института Сергей Гаген. Значительная часть работы по составлению словаря проводится в сотрудничестве с коллегами из университета в Прешове под руководством доцента Любицы Горбулевой. Словацкие коллеги собирают данные о русских эмигрантах, которые жили в Словакии и в Подкарпатской Руси.

Словарь создается одновременно в двух языковых версиях. Книжная версия должна появиться на русском языке. Компьютерная версия словаря на чешском языке появится в рамках исследовательской программы Академии наук Чешской республики «Стратегия 21. Память в век дигитализации: утраченная и обретенная» и будет доступна через Интернет. Компьютерная версия будет периодически дополняться и расширяться.

В настоящее время в работе находится примерно 1300 персоналий, но это не окончательное число, поскольку в ходе работы количество персоналий постоянно меняется. Критерием выбора личности для включения ее в словарь стала, в основном, выдающаяся научная, культурная или политическая деятельность. Здесь упомянуты представители эмиграции, которые в Чехословакии публиковали свои профессиональные работы и статьи в общегосударственных или провинциальных периодических изданиях, а также те, которые получили образование в Чехословакии, но спустя некоторое время переселились за границу и там достигли заметных научных результатов.

В словарь были включены представители различных профессий — литературоведы, писатели, историки, юристы, педагоги, биологи, техники, актеры, художники, врачи, политики и пр. Кроме того, в нем представлены выдающиеся члены разных эмигрантских объединений и обществ. В исключительных случаях здесь появляются имена жен известных представителей чешской элиты. Речь идет, например, о политике Карле Крамарже, враче Кирилле Бездеке, актере Гуго Гаасе или генерале Рудольфе Гайде, которые имели русских жен, имена которых вошли в наш словарь. В словарь включены также эмигранты, которые были после 1945 года высланы в СССР, даже если они не соответствовали вышеприведенному условию. В этом случае мы используем ранее обработанные материалы собрания «Они были первыми» (сегодня этот фонд хранится в Национальном архиве и недоступен).

Принимая решение о структуре словарной статьи, мы стремились обработать по возможности наиболее широкий объем информации, хотя у большинства персоналий не удалось отыскать всех требуемых данных. Кроме основных сведений (имя, фамилия, по возможности отчество, псевдоним, даты жизни и занятие) в отдельных биографиях приводятся образование и профессия в дореволюционной России. Далее мы занимаемся по возможности вопросами участия в Гражданской войне и самим фактом эмиграции (когда эмигрировал, каким путем и когда попал в ЧСР). Присутствует подробное описание образования и по возможности профессиональной деятельности в Чехословакии, а также членство

в русских, чешских и международных научных, культурных и специализированных обществах и организациях. Мы также указываем перемещения в другие страны и деятельность на новом месте. Здесь же приводятся полученные награды и ордена. Следующая часть посвящена членам семьи. Здесь отмечены имена и даты жизни, а также занятия родителей, мужа или жены, и дети, у которых даны точные даты и места рождения и смерти, их профессиональные занятия, по возможности деятельность в эмиграции, даты и места бракосочетаний. Приводится перечень адресов; абзац «Литература» содержит ссылку на уже опубликованную библиографию в ЧСР; приводятся и другие опубликованные работы, изданные на территории ЧСР. Далее следует информация о чешских и заграничных архивах, в которых сохранились материалы о данной личности, и избранная литература.

При подготовке отдельных статей мы опирались, главным образом, на данные архивов, литературу и семейные архивы. Сведения из своего обширного и весьма ценного частного архива, касающегося русской эмиграции, нам предоставляет магистр Анастасия Копршивова. Одновременно мы обратились к специалистам из разных научных и образовательных институций, например, из университета им. Масарика в Брно, Театрального института, Карлова университета, Военно-исторического института.

Из личного опыта могу сказать, что нас приятно удивило общение с представителями природоведческого факультета университета им. Масарика в Брно, куда мы обратились по поводу одного из основателей университетского гербария Георгия Ширяева. Нам не только предоставили все материалы, сохранившиеся на факультете, но и были в прямом смысле слова воодушевлены тем, что кто-то интересуется «их» коллегой. Хотя Ширяев после Второй мировой войны уехал в Германию, на природоведческом факультете о нем до сих пор вспоминают и весьма высоко оценивают его профессиональную деятельность.

Весьма приятные воспоминания у нас остались и от общения с различными специализированными объединениями. Их члены очень охотно помогали нам в поиске неизвестных до сего дня сведений. Например, к нам обратились люди из любительского общества, которое занимается историей

чешского оружейного промысла. Их интересовало место погребения выдающегося русского оружейника Анатолия Залюбовского, который умер во Франции, но перед этим долгие годы прожил в ЧСР. После того как мы отыскиали в картотеке требуемую информацию, они предоставили нам ценные сведения о тех видах оружия, в развитии которых принял участие Залюбовский, и послали нам также копии соответствующих патентов. Одновременно мы договорились о сотрудничестве в отношении прочих эмигрантов, работавших в этой области.

Ценные материалы удастся получить от внуков эмигрантов из их семейных архивов. Весьма плодотворным оказалось сотрудничество с местными органами власти в малых городках и селах, в которых проживали русские эмигранты. В данном случае речь идет, главным образом, о врачах. Нам не только посылают официальные документы, сохранившиеся в отдельных местах, но позволяют нам связаться с современниками и местными летописцами, от которых мы затем получаем дополнительную информацию.

Реакция чешской общественности на расспросы о судьбах русских эмигрантов удивляет своей доброжелательностью. Потомки изгнанников большей частью благодарны за то, что кто-то сегодня занимается их предками. Но также позитивно настроены и те люди, с которыми эмигранты были связаны в повседневной жизни.

Большая часть персонажей русской эмиграции, которая будет представлена в биографическом словаре, занимала в своих профессиональных областях ведущее положение и достигла заметных успехов не только в чешском, ни и зачастую в международном масштабе. Эмигранты внесли вклад в развитие нашей науки, культуры и искусства, участвовали в грандиозных стройках, достигали спортивных успехов. К сожалению, имена этих людей долгое время замалчивались по политическим причинам и таким образом постепенно были либо забыты, либо о них знал только узкий круг людей. Мы надеемся, что наш словарь поможет, хотя бы отчасти, воскресить в памяти их заслуги*.

* Предполагаемая дата выхода словаря — 2020 год. — *Прим. редак-
ции.*



АНКЕТА «ВЕСТНИКА»



Редакция помещает в этой рубрике полученные от наших постоянных читателей ответы на анкету «Вестника», содержащую несколько ключевых вопросов о прошлом, настоящем и будущем журнала. Мы публикуем их в свободной форме, предложенной авторами, включая и ответы, не совпадающие с мнением редколлегии.

Вопросы анкеты:

- 1) *Какие публикации Вы рассматриваете как наиболее значительные на протяжении истории журнала?*
- 2) *Какие материалы, опубликованные за последние годы, вызвали у Вас наибольший интерес?*
- 3) *Каким Вам видится будущее журнала? Какие рубрики стоило бы развивать? Добавить?*
- 4) *Как Вы оцениваете общественную позицию «Вестника»?*

СЕРГЕЙ ЧАПНИН (Москва)

Журналист, издатель, секретарь Содружества в поддержку современной христианской культуры «Артос», главный редактор альманаха «Дары», с 2009 по 2015 гг. ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии»

Самым важным мне представляется сейчас разговор о будущем журнала. Его прошлое было славным, многие издания могут ему позавидовать. И даже если сегодня все быстро забывается, вспомнить историю журнала не так сложно — достаточно просто открыть любой номер, и его лучшие публикации многое скажут современному читателю.

Однако сейчас, во втором десятилетии XXI века, вновь остро стоит вопрос: какое периодическое издание может

стать *трибуной свободной христианской мысли* для русскоязычной аудитории? Совершенно очевидно, что православным интеллектуалам необходимо свободное, честное, независимое издание о богословии и христианской культуре в современном мире.

Многие ждут и даже *жаждут* такого издания. Конечно, в последние два десятилетия появилось множество печатных изданий в России, но, увы, им очень далеко до «Вестника РХД». На наших глазах стремительно развивались социальные сети, и, пожалуй, самые содержательные дискуссии сегодня можно встретить именно там, но этого недостаточно. Слишком узок круг их участников.

Но в последние годы и сам «Вестник», на мой взгляд, сдал многие позиции, в некотором смысле, редакция оказалась в растерянности или, точнее, утратила *остроту зрения* в отношении происходящего в Церкви и в современной культуре. Заметно упование на старый, сложившийся круг авторов и игнорирование новых, порой неожиданных событий, как в церковной, так и в культурной жизни. Но и это детали.

После грандиозного и многообещающего периода, который был назван «церковным возрождением», Православная Церковь в России, несмотря на свой огромный творческий и богословский потенциал, вошла в новый период, который следует назвать *новым молчанием*. Более полувека назад о молчании — *о порочном молчании* — Церкви говорили священник Глеб Якунин и Николай Эшлиман в письме патриарху Алексию (Симанскому). Как журналист и издатель, я вынужден признать, что история повторяется: в современной России, как и в советской России, такой журнал издавать невозможно. Снова русское зарубежье? Да, других вариантов я не вижу. В России такое издание невозможно по целому ряду причин. В последние годы Московскую патриархию, шутя, называют *однопартийной*. К сожалению, в этой горькой шутке есть изрядная доля правды. В Русской Церкви громко и четко звучит только один голос — это голос патриарха Кирилла. В унисон, совсем неотличимо звучат голоса официальных структур и официальных представителей Церкви. Другие голоса, безусловно, тоже есть, но они или молчат, или говорят шепотом. А результат один — они не слышны.

О том, что это довольно болезненная ситуация, свидетельствуют многочисленные скандалы, связанные с Церковью, которых, несмотря на жесткую информационную политику и не менее жесткую цензуру, становится только больше.

Мне не удалось реформировать «Журнал Московской Патриархии» таким образом, чтобы он был и официальным, и одновременно во второй части — свободной площадкой для интеллектуальных и богословских дискуссий. Шанс был, но реализовать его не удалось. Портал Богослов.ру — яркий и серьезный научный интернет-журнал — последние несколько лет еле жив. Интернет-портал Православие.ру чувствует себя вполне благополучно за счет политического и административного ресурса епископа Тихона Шевкунова и выражает позицию консервативной, ориентирующейся на современное монашество части аудитории. Портал «Православие и мир» не является средством массовой информации в традиционном смысле слова — он публикует всех и часто без разбора. Так что это скорее медиаплатформа — т.е. площадка для выражения мнений без внятной редакционной политики. Там может быть опубликован кто угодно. Не случайно в покровителях и спонсорах Правмира — скандальный министр культуры Владимир Мединский.

К сожалению, независимых средств массовой информации нет не только в нише христианских (православных) изданий. Независимые средства массовой информации в России невозможны в силу сложившихся политических обстоятельств.

Вернусь к вопросу, который я поставил вначале: какое периодическое издание может стать *трибуной свободной христианской мысли*? Первая часть ответа очевидна: то, которое будет работать за пределами России, но при этом для русскоязычной аудитории на всех континентах. Без всяких сомнений, во второй половине XX века таким изданием был «Вестник РХД».

Перейду к более сложной и, вероятно, довольно болезненной теме: почему в последние десятилетия «Вестник» постепенно терял свои позиции? И следующий вопрос: возможен ли новый или, точнее, обновленный «Вестник РХД»? Он очень и очень нужен, но вопрос стоит иначе: возможен ли?

Много факторов работают против: вновь умножаются разделения среди православных разных юрисдикций, в том

числе и русской традиции; постепенно уходит то поколение авторов, которые были лицом издания.

Но главное, пожалуй, не это. У журнала уже есть своя большая история, и смелое и свободное переосмысление концепции может вызвать недоумение и даже недовольство тех, кто привык его видеть таким, каким он был последние 40 лет.

Новых самобытных, талантливых церковных авторов: богословов, историков, литературоведов и публицистов, — крайне мало, практически нет. И те, что есть, очень разрознены. Заниматься *собираанием* авторов — важная, благородная, но очень трудная и трудоемкая задача.

Наконец, нельзя не упомянуть организационную и финансовую стороны. Большинство из нас мыслят категориями самиздата или, в лучшем случае, печатного издания конца XX века. Еще двадцать лет назад многие читали православные издания взахлеб, от корки до корки. Это время ушло. Сегодня текстов очень много — идет самая настоящая борьба за читателя, так как он теперь выбирает. Он будет читать только самое нужное, самое интересное, самое оригинальное.

И поэтому сегодня необходимо *новое видение* «Вестника РХД», который понимает и правильно оценивает не только новую ситуацию в Церкви и в современной культуре, но и ту новую информационную и коммуникационную среду, в которой ему предстоит развиваться. В частности, это предполагает и новое понимание аудитории и средств общения с ней. Это предполагает активное использование интернет-сайта, социальных сетей, рассылок, распространения электронных версий журнала через книжные интернет-магазины и т.п. Только так можно достучаться до аудитории, которая тонким слоем размазана по всему миру.

Новое видение предполагает и ясное понимание «Вестника» как, простите, бизнес-проекта. Он должен именно развиваться, а не обрекать себя на скромное, возможно, даже нищенское существование в рамках скромного бюджета.

Я далек от мысли, что редакция выберет путь медленно-го умирания, откажется от каких-либо перемен и, постепенно сокращая тираж, будет уповать на преданность старых читателей.

И если так, то предстоит большая работа по уточнению концепции издания. Надо попытаться увидеть главное и отделить «временное от вечного» применительно к «Вестнику». Важно увидеть свою новую аудиторию, понять, что ее волнует, что она ищет, на что она готова откликнуться. Кто для нее авторитет и кто нет.

В заключение поставлю еще один вопрос: должно ли новое издание быть *правозащитным*? Я бы сказал, да, так как оно должно в меру сил поддерживать и защищать православных интеллектуалов, не важно, в сани они или нет. Многие из них находятся если не в опале, то в довольно двусмысленном положении. Публичность для них — это одно из средств выживания.

И, наконец, последнее. Какими бы решительными и взвешенными ни были действия редакции и ее друзей, изменение концепции — это всегда риск. Действительно, может не получиться. И в наши времена этот шанс довольно велик. Но это означает лишь одно — нельзя останавливаться, надо продолжать поиски. Иначе и не бывает — настоящее, живое издание всегда находится в творческом поиске. Просто бывают периоды, когда он должен быть более интенсивным.

Протоиерей Владимир Зелинский (Брешия)

Дорогой Сергей,

Вы прислали мне Вашу статью с просьбой просмотреть с точки зрения ее дипломатической корректности. Здесь никаких претензий к ней быть не может, даже малейших поводов для обиды Вы не даете никому. Скорее, Вы говорите вещи, которые всем работающим редакторам «Вестника» было бы приятно слышать. Слышать — и соглашаться. Слышать — и возражать. Или, скорее, возражать, соглашаясь.

Речь идет о будущем парижского «Вестника». Образ его выглядит у Вас почти как икона, приблизившись к которой Вы видите, что она не только покрылась пылью, но настолько обветшала, что никакая реставрация ей уже не поможет. Его надо радикально менять. Редакция утратила остроту зрения, ушла в тихое музейное прошлое (а прошлое это: религиозное возрождение столетней давности, опыт первой эмиграции,

которой давно нет, архивы, извлеченные из небытия письма ползузабытых людей, материалы к жизнеописанию давно ушедших деятелей русской культуры, даже великие имена о. Александрара Шмемана и Солженицына, которые тоже вчерашний день...). Да, слишком много «славного прошлого», не спорю, хотя журнал живет не только им. Но именно благодаря ему сложилась идентичность «Вестника», тот корень, из которого он когда-то вырос и от которого питается до сих пор. Было бы неразумно и неблагодарно подрубить его или даже пытаться пересадить на какую-то иную почву.

Но и «славное прошлое» — нельзя не признать — становится естественной границей журнала, за которую трудно бывает выйти. Другая граница — географическая, она же и психологическая; все или почти все активные редакторы «Вестника» пребывают за пределами России и соприкасаются с ней скорее сердцем, чем нервами, скорее виртуально, чем экзистенциально, повседневно, жизненно. Даже я, пишущий Вам, накопив весьма богатый опыт выживания в России советской и перестроечной, уже четверть века живу в Италии, и столь серьезный срок не может не откладываться если не на глубинном, то на «публицистическом» восприятии жизни. А жить в стране, как Вы понимаете, не совсем то, что отдыхать, посещать друзей или приезжать на конференции. Так что поневоле реакции на происходящее в России и на Западе, даже при самой большой близости наших исходных позиций, становятся иными. Так, например, Вы упоминаете о «многочисленных скандалах», связанных с Церковью, которые, конечно, больно задевают тех, кто внутри нее, но зачем «Вестнику», европейскому журналу, обращенному скорее к вечным темам и дорогим воспоминаниям, торопиться в эти скандалы вступать? При этом он, разумеется, не должен отказываться от правозащитной позиции, которую всегда занимал недавно ушедший от нас Никита Алексеевич Струве, причем не только в отношении гонимых православных. Все это означает среди прочего, что, сохраняя наследие журнала, мы, связавшие свою жизнь с Западом, всегда при этом будем нуждаться в авторах, но прежде всего в работающих, т.е. способных, инициативных и умеющих что-то реально делать мощниками из России.

Вы пишете об увядании «Вестника», но, насколько я понимаю, это его неизменное состояние, в котором можно просуществовать еще долго. Если, конечно, средства позволят. У нашего увядания есть и объективные причины, совершенно независимые от позиции журнала. С тех пор как свобода печати пришла в Россию, вес, престиж, образ зарубежных изданий чувствительно умалился, самым важным стало то, что делается и говорится не где-то там, а у себя дома. «Вестник» же в России воспринимается как далекая западная провинция, как слабеющее эхо, доносящееся из минувшего, и когда можно что-то делать в родной среде, хочется говорить полным голосом, а не эхом из страны далече. Но сейчас, как Вы пишете, свободные церковные голоса умолкают, остался только один официальный, хотя свобода слова, на мой взгляд, еще не ушла окончательно. Она еще где-то ютится по углам, она широко гуляет по интернету. Впрочем, и раньше, когда вольные голоса звучали беспрепятственно, я, возможно, по незнанию, не припомню такого церковного органа, где было легко и естественно обсуждать те вещи, которые касаются не какой-то обличительной, но сущностной, реальной жизни Церкви. Был и есть «Богослов ру», но и у него есть, разумеется, свои границы, да и никакой Интернет не заменит того, что можно взять в руки и не только прочитать, но и вступить в какой-то диалог с прочитанным.

Всякий журнал ищет интересных авторов, ограждая себя в то же время от, не скажу графоманов, но писателей неадекватных. Он не изобретает материалы для публикации, но зависит от их поступления и как-то их упорядочивает. А поток таковых материалов, текущий в сторону «Вестника», вовсе не такой полноводный, ибо, повторю, после 91 года в России вся пишущая по-русски заграница как бы отступила в тень. Но сегодня *Трибуна свободной христианской мысли*, как Вы говорите, снова ждет носителей этой мысли и готова, как престарелый отец в евангельской притче, сама отправиться ей навстречу.

Мыслителей мало, но текстов, как Вы говорите, много, и это создает дополнительную трудность. Не уверен, что «Вестник» способен участвовать в какой-либо конкурентной борьбе за читателя. Тем более при активном использовании Интернета и социальных сетей. Редакция не хочет медлен-

ного умирания, но осознает пределы своих возможностей. Но она — не закрытый орден и не состоит из одного человека, она открыта к сотрудничеству и прежде всего с такими людьми, как Вы. Сегодня, когда «земщина» в Церкви почти побеждена «опричниной», где-то должен существовать удел, куда опричнина не может пока дотянуться. Не знаю, что сказать о «бизнес-проекте», о котором Вы предлагаете подумать, полагаю, что это скорее благое пожелание, брошенное в пространство. Насколько мне известно, ни один автор «Вестника» никогда не получал никаких гонораров за свои публикации, а ведь они требовали немалого вложения времени и сил, к тому же в свое время были сопряжены с некоторым риском; все держалось на непреодолимой потребности высказаться. И продержалось десятки лет и не рухнуло до сих пор. Но надежда на то, чтобы выйти из этой идеалистической струи на берег какого-то бизнеса — это даже не мечта. Впрочем, как мы не раз видели, именно мечтатели о невозможном иногда добиваются своего.

Итак, призвание «Вестника» — таково личное мое мнение — размышлять, а не бросаться в ожесточенную полемику по всякому поводу, коих всегда будет предостаточно, не обходить острые углы, но искать понимания со всеми, не обрекать себя на многозначительное умалчивание, но и не коснеть в своей непримиримой обличительности. В конце концов, образ Церкви идеальной, которую мы хотим изобрести — это и детская, и вредная утопия. А реальность, человеческая и церковная, состоит из веры, поиска, открытий и заблуждений. И о ней всегда можно спокойно и дружески поговорить.

Виталий Амурский (Париж)

родился в Москве в 1944 г. Во Франции с 1973 г.

Сотрудник русской редакции Международного французского радио (RFI). Автор 10 книг и многочисленных публикаций в различных русских зарубежных (а с 1991 г. и в российских) журналах и альманахах

1) История журнала чрезвычайно богатая. Говорить о каких-либо конкретных публикациях в нем за многие годы, т. е., выделяя что-то специально, не считая себя компетент-

ным в философских и специальных религиозных вопросах, я не могу. Однако, как человек небезразличный к миру, в котором живу, без колебаний отвечаю — с огромным интересом в разных номерах читал материалы, связанные с историей и судьбами людей, чей духовный опыт, смыкаясь с опытом изгнанников, помогал лучше понять, осмыслить «русскость» вне России.

2) Все те, что касались литературы и искусства, а также затрагивающие темы истории и общественных отношений (в качестве свежего примера могу привести статью свящ. В. Зелинского в журнале № 204 (2015) «Сталин как иллюзия»).

3) Мне кажется, что (не меняя традиционного внимания к фундаментальным проблемам христианства и, в этих рамках, к различным сугубо церковным вопросам) в *Вестнике* следовало бы расширить, а главное, сделать более стабильной и представительной (в том числе и по объему) публикацию работ, касающихся культуры — особенно той, против которой официальная РПЦ в последние годы в разных городах России развернула сама или поддержала развернутые экстремистами кампании, скажем, против ряда выставок искусства, организованных известным коллекционером Маратом Гельманом, или оперы «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета — это 2015 год... Позиция не разделяющей подобного радикализма русской православной интеллигенции, живущей и в самой России и за границей, на мой взгляд, могла бы и даже должна была бы проявиться в журнале должным образом.

Неплохо было бы изменить ныне весьма келейный облик поэзии в «Вестнике», исходя из того, что духовность в стихах не определяется внешними признаками, а заложена в ткань каждого текста. Публикация стихов (пусть даже в относительно скромном объеме), на мой взгляд, должна была бы принять не случайный, а постоянный характер, при этом живущие вне России авторы не должны были бы зависеть от вкуса и, что не исключено, иных интересов кого-либо оттуда.

4) Она представляется мне очень важной. В этом отношении ряд публикаций в № 205 (2016), посвященном светлой

памяти Н.А. Струве, имевшего силу воли остаться верным своим представлениям о духовных ценностях, не однажды в этой связи выдержать нападки (например, со стороны В. Лупана, взявшего под свой контроль уважаемую в прошлом парижскую газету «Русская мысль») — дают надежду на то, что журнал сохранит свое лицо, свою независимость по принципиальным вопросам, как ранее, когда он печатался не в РФ, а во Франции.

АНТУАН АРЖАКОВСКИЙ (Париж)

*французский историк, специалист по русской эмиграции, автор докторской диссертации и монографии о журнале «Путь», книг о православии, о наследии о. Сергея Булгакова, о русско-украинских отношениях; директор Французского колледжа в Москве с 1989 г. по 2004 г., затем зам. директора Французского института Украины. В настоящее время — профессор Колледжа Бернардинцев в Париже**

1) «Вестник РХД» должен поставить своей задачей содействие реформе Православной Церкви, в особенности, русской традиции. Особенностью парижской школы было то, что она предлагала альтернативы чрезмерно институциональному и ретроградному видению православия, которое до сих пор представлено Московским патриархатом. Сила «Вестника» — в этической позиции сопротивления по отношению к реакционной стороне Православной Церкви и всем антиличностным фундаменталистам, каково бы ни было их происхождение. Необходимо ее продолжать и усиливать.

2) У «Вестника» — особая ответственность в проектировании новых альтернативных перспектив для постпутинской и посткирилловской России. Например, можно попытаться предложить варианты возможного воссоздания мирных отношений с соседями, которые подверглись агрессии со стороны России, в частности, с Украиной (стоило бы публиковать в «Вестнике» статьи, объясняющие специфичность

* См. в разделе «Хроника» заметку А. Аржаковского о международном colloquium «Европейцам нужна общая история», организованном в мае этого года.

украинской нации или культуры, свойственной Украине). Можно внести предложения о форме проведения судебного процесса над коммунизмом и посткоммунизмом или поразмышлять о том, как вернуть чувство достоинства русскому народу и излечить его от нанесенных ему глубоких ран; как придать ему вкус к мере и к доверию... Михаил Эпштейн в своей последней книге «От совка к бобку» проводит превосходную критику неофашизма в России, но он не предлагает выхода. Редакция «Вестника» должна приложить максимум усилий для того, чтоб прогнозировать горизонты будущего, не горделивого и не националистического, но реального и вместе с тем дающего надежду.

Перевод с французского Анастасии Илич-Бенке

Ирина Языкова (Москва)

искусствовед, автор книг и статей по иконописи в России и в русской эмиграции. Куратор ряда выставок по русской иконе, в частности, «Современная икона» в Знаменском соборе на Варварке (1989). Автор журналов «Страницы: богословие, культура, образование», «Истина и Жизнь» и «Дорога вместе», соредактор альманаха «Дары»

1) Наиболее значительными мне кажутся публикации из жизни русской эмиграции, документальные, архивные материалы, воспоминания людей, свидетелей XX века, в том числе и история самого Русского христианского движения. Мне кажется, что россияне до сих пор плохо представляют, как жило русское зарубежье. Очень важны в свое время были материалы о жизни христиан, Церкви, гонимой в Советском Союзе. Я читала «Вестник» начиная с конца 1970-х гг.: он помогал нам, христианам, выживать в советское время.

2) За последние годы меня привлекали материалы о матери Марии и парижских новомучениках; статьи о художественной жизни зарубежья; публикация переписки сестры Иоанны (Рейтлингер) и о. Сергия Булгакова и свидетельства о том, что связывает Россию по обе стороны границы, а также Россию и Европу.

3) Мне кажется, лицо журнала сложилось давно, и принципиально его менять не стоит. Журнал уникальный, ему нет аналогов. Но можно было бы расширить диапазон тем за счет аналитических статей. Мне кажется, что опыт XX века до сих пор глубоко не осмыслен нами. Безусловно, важно продолжать публикацию документов, архивов, воспоминаний, переписки... Но хотелось бы, чтоб на страницах «Вестника» появлялись и материалы о сегодняшней жизни зарубежья и России и западного христианства. Например, проблема существования христианства и ислама в Европе.

Пожелание одно: не замыкаться в узкоконфессиональных рамках и кружковщине и постоянно расширять круг авторов.

Сердечно благодарю всех тех, кто издает и публикуется в «Вестнике РХД».



В МИРЕ КНИГ



Пасхальный свет на улице Дарю: Дневники Петра Евграфовича Ковалевского 1937–1948 годов / Сост., предисл. и прим. Н. Росс. Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2014. — 702 с.

Публикацию выдержек из дневников П.Е. Ковалевского следует признать очень ценным вкладом как в историю русского церковного зарубежья, так и в общую историю Русской Церкви XX века.

При этом формат публикации вызывает двойственное впечатление. С одной стороны, сама выборка представляет проблему: в книгу вошли фрагменты дневника, посвященные церковной и церковно-общественной теме, которые составляют, по указанию самого составителя, лишь 10 процентов собственно дневниковых записей. Таким образом произведена селекция, и мы не видим, как соответствующая тематика соотносилась у автора с широкой палитрой реакций на окружающий его мир. В результате читатель получил текст, который является вдвойне «произвольным» — субъективный взгляд автора накладывается на субъективную выборку составителя. И лишь доверие к публикатору, к его чувствительности относительно выделенной темы позволяет забыть об указанной специфике текста. Однако, с другой стороны, полная публикация дневников стала бы в известном смысле неудобочитаемой, а церковная тема растворилась бы в потоке разнообразных авторских реакций, и ее трудно было бы вычленить (хотя и полную публикацию стоило бы приветствовать!).

Эти соображения и претензии (так сказать, научно-формального свойства) с лихвой перекрывает совсем другое:

книга читается как детектив (да простит меня благочестивый читатель), на одном дыхании! Разумеется, не все так ее воспримут. Но те, кто интересуется перипетиями русского церковного зарубежья в судьбоносные межвоенные, военные и послевоенные годы и кто рассматривает эти перипетии как весьма значимые для русского и мирового православия, не смогут не оценить эту публикацию очень высоко.

Что касается самой «прямой речи» автора дневников, то здесь можно отметить несколько моментов.

Быть может, самое важное — это личная вовлеченность автора в описываемые события и процессы. Перед нами — не обзор фактов с комментариями отстраненного наблюдателя, а рассказ о том, что было самой «тканью» жизни и деятельности Петра Ковалевского. Эта «ткань» складывается из самых разных вещей, она является переплетением «нитей», если глядеть со стороны, трудно сопоставимых: храмовый обиход и сложные отношения между церковными «юрисдикциями»; школы, детские лагеря, кружки и — взаимодействие с ведущими представителями русской эмиграции; частные, межличностные (в том числе внутрисемейные) отношения и — первые попытки дружественных контактов между православием и иными конфессиями...

Второе, не менее важное на фоне отмеченного, — позиция автора в эмигрантской среде: на страницах книги он выступает (причем именно синхронически — и в этом ценность дневника) не как член какой-то партии, а как «член» всей русской эмиграции. Возможно, это следствие именно выделения «церковной темы» (мы не видим всего остального), но у читателя создается впечатление, что эмиграция, как бы она ни делилась по разным признакам, была все-таки прежде всего сообществом *людей одной судьбы*. Про них можно сказать «старые русские» — на фоне сообщений о «новых русских» (т. е. советских), которые появляются в дневнике в послевоенные годы. И особенно характерно это различие в сообщениях о церковных деятелях, приезжающих в Париж из СССР: с одной стороны, они несут в себе черты старого духовенства, а с другой, — они уже *другие*, претерпевшие некое «превращение», и с ними не всегда можно найти общий язык.

Немаловажным также является свидетельство автора дневника о том, что в эмиграции границы между так называ-

емыми церковными юрисдикциями были по существу прозрачными — по крайней мере, долгое время. Об этом, кстати, говорит не только «прямая речь» автора, но и обильно представленные биографические справки об упоминаемых в тексте священнослужителях (то, что публикатор снабдил ими текст, — очень уместно и обогащает книгу). Сам автор дневника практически не проводил существенных демаркационных линий между юрисдикциями, хотя и определенно принадлежал к одной из них. Но из текста видно, что границы между «евлогиянами», «карловчанами» и «сергианами» были открыты, и очень многие — как клирики, так и миряне — на протяжении десятилетий свободно их пересекали. Это важно для нынешней историографии, которая нередко описывает церковные разделения в эмиграции как расколы в строгом смысле слова, игнорируя не только конкретные исторические обстоятельства, но и просто «человеческий фактор».

Другая особенность рассматриваемого «эмигрантского» текста состоит в том, что в нем нет более или менее строгой «идеологии». Автор демонстрирует некий обобщенный «национальный» подход к пониманию России, который, по его мнению, неотделим от церковного к ней отношения. Такая позиция автора опять же представляется важным свидетельством, поскольку, судя по всему, ее придерживались многие. И она, конечно, усиливается принципом «Церковь — вне политики», который автор обозначает четко и недвусмысленно.

Это интересный и важный момент. Вопрос о соотношении Церкви и политики был и остается спорным, но в эмигрантской церковной реальности главное — это противостояние советской антицерковности, которое, однако, не должно способствовать уничтожению какой-либо церковности в советском контексте. Сергианство скорее эмоционально противно автору дневника, но церковность — важнее и выше эмоциональных реакций. Здесь своеобразная *диалектика Церкви и мира* в конкретных исторических обстоятельствах — как в эмиграции, так и в Советской России.

В данном случае опять мы сталкиваемся с той же проблемой: исключены другие части дневника, и это не позволяет узнать о более широком взгляде автора на общественные, идеологические, политические и иные аспекты современных ему процессов. Выделение церковной тематики из обще-

го корпуса дневников, увы, не столько проясняет, сколько затуманивает взгляд автора на соотношение политического и религиозного...

В целом опубликованные выдержки из дневников П.Е. Ковалевского являются важным, но в то же время проблемным вкладом в историю русского церковного зарубежья минувшего века.

В них хорошо документированы нюансы внутрицерковных отношений и процессов, а также церковная вовлеченность части парижской (и шире — французской) русской эмиграции. Многие известные лица и события получают новое освещение — опять же скорее в нюансах, связанных как с личной осведомленностью, так и с субъективным видением автора.

В то же время предложенная читателю тематическая выборка лишь утверждает сомнительное с точки зрения реальной истории разделение на религиозное и нерелигиозное. Парадоксальным (или, наоборот, естественным) образом сам опубликованный текст свидетельствует о неуместности и неправомерности такого разделения. Автор дневников, каким он представляется при прочтении книги, — одновременно вполне светский и вполне религиозный человек. Возможно, именно такое сочетание и является важной отличительной чертой той части русской эмиграции, к которой он принадлежал.

Один из «героев» книги — о. Александр Шмеман в пору его парижской юности, и потому уместно сравнить дневники Ковалевского с его опубликованными дневниками. Там мы видим как раз соприсутствие религиозной темы с иными, в том числе общекультурными и «политическими», и это дает тот объем, которого не хватает в рассматриваемой публикации.

Все это ставит вопрос о методологии церковно-исторических исследований, в том числе касающихся истории русского церковного зарубежья XX века. Нужен новый подход, вписывающий церковное в социальное, выявляющий и обозначающий взаимосвязь и даже единство религиозных и нерелигиозных факторов. В данном случае речь идет не только об исторической правде, но и об особом опыте части русской эмиграции, который характеризуется нахождением и актуализацией именно такого единства.

АЛЕКСАНДР КЫРЛЕЖЕВ

Сквозь тернии.
«Чертополох» Максима Кантора —
апология христианского гуманизма
в европейском искусстве

М. Кантор. Чертополох: философия живописи. М. : АСТ,
2016. — 478 с.

«Славянофилам» и «западникам»

Эта книга — негромкое высказывание по темам, которые многим людям, возможно, покажутся слишком отвлеченными в наше беспокойное время. До искусства ли тут, когда вокруг братоубийство, беженцы, вопиющая ложь политиков? Но вопросы, которые поднимает автор, далеко выходят за рамки «чистой эстетики». «Чертополох» — книга о живописи, но прежде всего это книга о человеке. О художнике — человеке, берущемся за кисть, словно за шпагу, о его герое — смертном, униженном, страдающем, но сохраняющем человеческое достоинство и образ Божий. Об общей нашей исторической судьбе, в которой любовь к ближнему и стремление к личной свободе редко соединяются в гармонии.

«Чертополох» — душеполезное чтение для тех сегодняшних «славянофилов», которые тщатся обособить историю и культуру России от Европы, обвиняя последнюю в бездуховности, убогом потребительстве и безбожии. (Увы, сомневаюсь, что она будет прочитана ими.) Вместе с тем, она должна стать необходимой частью интеллектуального багажа тех «русских европейцев», которые привычно воспринимают историю Европы от Ренессанса до наших дней исключительно в терминах «освобождения от религиозных догм». Освобождение (через отрицание) было, с этим не приходится спорить. Но было и другое — дерзновенная попытка воплощения евангельского идеала в культуре. И она, как убедительно показывает Максим Кантор, обнаруживает себя не только в формально «религиозном искусстве» (и может быть, как это ни парадоксально, именно в нем — в наименьшей степе-

ни), но именно в той живописи, которую мы привыкли считать «светской».

Техника и философия

Автора легко упрекнуть в непоследовательности: в книге о масляной живописи огромные куски посвящены Микеланджело и Калло, не писавшим маслом, в главе о Домье — «графическая» часть ожидаемо больше «масляной». Но если не опускаться до мелкой формальной придирчивости, а попытаться охватить замысел целиком, то становится понятно, что масляная живопись для Максима Кантора это не просто «техника», но скорее подход к миру, основанный на бесконечном уточнении высказывания, чуждый всякой декларативности. «Краска перестала быть кроющей, цвет перестал быть локальным, нюансировка чувств достигла такой изощренности, что суждение из декларативного стало философским». И в этом смысле графика Калло или Домье — тоже «масло». Сложность художественного высказывания, доступная масляной живописи, соразмерна сложности главного объекта этой живописи — человека — смертного, грешного, ограниченного существа — несущего в себе безмерный образ Божий. «Усилие, которое однажды совершила европейская культура, противопоставив хрупкий образ иконы — монументальному искусству язычества, было велико. Но еще более великим образом стало создание смертного образа частного человека — поставленного вровень с монументом власти и символом веры».

Однако в рамках христианской культуры, говоря о человеке, невозможно одновременно не говорить о Боге. Обратное также верно: «Художники оставляют портреты как память о людях, но через портрет искусство стран христианской культуры говорит о Творце, вдохнувшем жизнь в образы; зритель всегда помнит, что герой произведения похож на самого Бога». В конечном счете, именно единение смертного, страдающего и одновременно вечного начал, которое мы видим в Богочеловеке Иисусе, становится главным нервом гуманистического европейского искусства, к каким бы сюжетам оно ни обращалось. И расстреливаемый герой Франциско Гойя раскидывает руки навстречу своим палачам, повторяя жест «Рас-

пятия», а умирающий Лаокоон Эль Греко грезит об Апокалипсисе, и даже в «Смерти комиссара» Петрова-Водкина нет-нет да и промелькнет тень «Пьеты»... И одновременно вокруг этого вопроса — о достоинстве человека, его месте в мире, границах его свободы и его познания и его страдания — блуждает все эти века европейская мысль. Трудно не увидеть созвучие между бесконечным уточнением образа на картине у Леонардо или Рембрандта и непрерывным кружением мысли у череды европейских философов-гуманистов. Автор прямо говорит об этом: «...в моем понимании занятие живописью является инвариантом занятия философией», — и проясняет его дальше: «Эразм Роттердамский, буквальный современник рождения масляной живописи, философ Северного Возрождения с его концепцией свободной воли («Диатриба, или Рассуждение о свободной воле») и Лоренцо Валла, философ итальянского Возрождения («Трактат о свободной воле»), есть прямые учителя масляной живописи». Целью искусства становится соединение небесного и земного: «...как мы представляем себе Рай? Художники Средневековья не могли ответить на этот вопрос; мастера Ренессанса сказали определенно: Рай — это лучшее, самое дорогое, самое осмысленное, самое трепетное — что мы способны почувствовать сейчас: это наша способность любить, наша тяга к знанию. Картина выполнила эту задачу: обратила в вечность образ земной жизни».

Объект и метод

Христианская антропология присутствует в книге как бы на двух уровнях — как объект исследования и как метод, более того, как часть авторской интонации. Максим Кантор не просто провозглашает, что «аморального искусства живописи быть не может», хотя и это в наши релятивистские времена дорогого стоит. Сама его манера строить рассказ о разных художниках проникнута той внимательной бережностью к Другому, каким должно быть христианское отношение к человеку. Об этой трепетности в свое время проникновенно писал митрополит Антоний Сурожский: «...каждый из нас представляет собой икону, образ Божий, но мы не умеем этого помнить и не умеем соответственно относиться друг к другу. Если бы только мы могли вспомнить, что перед

нами икона, святыня!.. Это совсем не значит, что такая икона во всех отношениях прекрасна. Мы все знаем, что порой случается с картиной великого мастера, или с иконой, или с любым произведением искусства, с любой формой красоты: любая красота может быть изуродована — небрежность, обстоятельства, злоба могут изуродовать самый прекрасный предмет. Но когда перед нами произведение великого мастера, картина, которая была отчасти изуродована, осквернена, мы можем в ней увидеть либо испорченность, либо сохранившуюся красоту». Максим Кантор видит эту красоту в каждом из своих героев, даже в тех, с кем не согласен. При этом (и это важно), он не опускается до «человекоугодничества», довольно типичного для биографов великих людей, когда автор, полностью слившийся со своим персонажем, готов отпустить ему все грехи. Он трезво пишет о Веласкесе, во многом разменявшем свой выдающийся талант на «лошадиные зады» бездушных парадных картин, о страстной неразборчивости Делакруа, но даже в критике не переступает грани почтительного изумления перед тайной Божьей и человеческой.

Особенно показательна в этом смысле глава о Пикассо, в которой автору, посвятившему «Чертополох» жене, приходится писать о многочисленных женщинах, окружавших героя. Как правило, такие скользкие сюжеты обсуждаются биографами либо с самодовольным «высокодуховным» осуждением (спасибо тебе, Боже, что я не такой, как этот мытарь!), либо с не менее самодовольным пафосом — «талантливый человек имеет право!» Максим Карлович уклоняется от обеих граней пошлости. Он не восхваляет многобрачие, но представляет возможную несправедливость Пикассо Божьему суду, а со своей стороны, лишь высказывается со всей мыслимой деликатностью: «...личная жизнь художника была запутанной, что неудивительно для парижской богемы — но — но невозможно спутать холсты из серии, рожденной отношениями с Марией-Терезой Вальтер, и холсты, посвященные Доре Маар, это две разные истории, прожитые полно, и каждая из них — отдельная жизнь. Невозможно представить, как искренности Чаплина или Ремарка хватало на многие любовные романы — но и допустить, что они фальшивили, тоже невозможно: книги и фильмы тому подтверждение. Если понимать любовь как отношения конкретных людей, связанных

контрактом, это непредставимо; но если понимать любовь как пример единения людей, как сбережение себе подобного, то возможно только так». И дальше: «Пикассо был (в представлении читателей гламурных биографий) Дон Жуаном, менявшим женщин; но он же был (и таким остался на холстах) рыцарем, защищающим Прекрасную Даму».

Важнее же всего для него в художнике не запутанная личная жизнь, а безмерная жалость и сострадание к малым мира сего; то, что у Пикассо «слабый защищает слабейшего». И эта сострадательность, хоть в «Объятиях», хоть в «Гернике», отчетливо выделяет Пикассо из толпы художников, экспериментировавших с формой. Авангардистов в XX веке было много, Пикассо — один.

Вечное Возрождение

Одним из знаков духовного кризиса нашего времени автор видит в утрате искусством целостного образа человека. (То же самое, впрочем, справедливо и для других сторон духовной жизни — политики, философии, науки.) «Чем объяснить то, что в наш век, когда религией людей стала “свобода”, изображения человека сделались уродливыми, дисгармоничными — и утратили антропоморфные черты? Это предельно болезненный вопрос — поскольку ответ на него может быть только один: если вера в Бога заставляла воспроизводить гармоничные черты Творца, то вера в свободу заставляет воспроизводить черты свободы, а стало быть, свобода — уродлива».

Пугающее умозаключение в устах человека предельно свободного и свободомыслящего. Вместе с тем, оно закономерно, как пишет автор в другой главе: «Главное, внушают нам, — это личное самовыражение; главное, внушают нам, — это личная свобода; но стоит назвать личную свободу главным — как делаешься рабом: именно это свойство проще всего отнять, организовав формально свободных индивидуумов в толпы энтузиастов. Нет, не слушайте внушения — это все неправда: личная свобода — это ерунда; главное — это свобода другого! Когда борец за личную свободу отпихивает локтем обездоленного от кормушки — он уже стал рабом, он уже сделал необратимый шаг в направлении пушечного мяса». Трагедия нашего времени — свобода, «освобожденная» от

сострадания и любви. Но в целом вечная разъединенность и конфликт этих двух одинаково важных для человека и человечества ипостасей духа — это ключевой сюжет истории Европы, духовной истории каждого отдельного человека и всего человечества. Редкие моменты в истории духа, когда они находились в гармонии, можно назвать Ренессансами.

Последнее такое Возрождение, по мысли автора, случилось сразу после Второй мировой войны. «Послевоенное двадцатилетие в культуре Европы — по объему реализованного, по обилию оригинальных дарований — явилось последним из европейских Ренессансов. То было сочетание христианской морали и античной гражданственности. В ренессансном понимании, свободная личность есть человек, следующий моральному императиву и одновременно отстаивающий физическую независимость; христианская мораль, вооруженная античным достоинством гражданина, — вот что такое кодекс Ренессанса: стоит поступиться любым из компонентов — и свободная личность получится неполноценной».

Практически сразу же за подъемом начался спад: на смену ответственному и сострадательному искусству послевоенных лет пришло кривляние постмодерна и contemporary art. Но не стоит отчаиваться. Книга Максима Кантора фиксирует беспристрастно, подобно всякой духовной брани: путь европейского искусства все эти столетия был не столько путем от успеха к успеху, сколько дорогой от поражения к поражению. Однако всякий раз, когда искусство становилось окончательно декоративным, «салонным» — появлялся художник или художники, готовые говорить о главном, и евангельский дух христианской Европы вновь и вновь обнаруживал себя в искусстве. Неистребимый, незаглушаемый, упрямый и стойкий, как чертополох. Сегодняшняя действительность и место человека, и место искусства в ней — производят порой удручающее впечатление. Но, возможно, это значит, что мы живем накануне нового Возрождения.

МАРИЯ КОНДРАТОВА

Александр Корноухов. История жизни мозаик капеллы *Redemptoris Mater* с параллельными местами. М.: Омофор, 2016. 184 с. 1000 экз.

Выход этой, для многих долгожданной книги стал настоящим событием, вернее, еще одним звеном в целой цепи событий, в которых переплелись радость и боль, чудо и трагедия. Чудом веет уже от замысла этой мозаики, от самой возможности ее начать. Как пишет в своем предисловии к книге Ольга Седакова: «Эта книга посвящена работе, судьба которой необычайна. Необычен уже сам факт того, что она была принята. Московского мозаичиста, православного художника, приглашают работать в папской Капелле, в самом сердце Ватикана!» Роспись Капеллы в папских покоях Ватиканского дворца была задумана в преддверии Юбилея-2000 и в честь 50-летия иерейского служения Иоанна Павла II. Это было удивительное время: тогда планировалась встреча Папы и Патриарха Алексия II в Граце, так и не состоявшаяся в итоге, — само время, казалось, давало шанс новому сближению Церквей, новому витку в диалоге Востока и Запада. Художник вспоминает: «Предполагалось, что работа в папской Капелле будет закончена в 2000 году, к Миллениуму, который Ватикан праздновал как юбилейный год, год великого отпущения грехов и долгов. Поворот тысячелетий, по замыслу Иоанна Павла II, открывал новую эпоху христианской жизни. Одним из знаков этой новизны был бы конец разделения христианского Запада и христианского Востока, которое продолжается уже второе тысячелетие. Иоанн Павел II предлагал современной цивилизации, которую он называл “цивилизацией страха”, “переступить порог надежды”, сделать решительный шаг в будущее, “открыть дверь Христу”». В этой атмосфере надежды, открытости будущему и церковному единству, удивительным образом совпавшей с вдохновением и творческой зрелостью художника, и создавались эти поразительные мозаики, принадлежащие, по мнению Ольги Седаковой, «к вершинам храмового искусства XX века».

На восточной стене Капеллы художник создал мозаику Небесного Иерусалима, укорененную в традиции и новаторскую одновременно. В центре композиции Богородица

с Младенцем на троне, над Ними Святая Троица, а на всем поле стены за столами по трое пируют в Царстве святые неразделенной Церкви, вместе — и западные, и восточные, и святые древней Церкви, и совсем недавно канонизированные. Вот за одним столом сидят за трапезой св. Франциск Ассизский, св. Клара Ассизская и св. Серафим Саровский, а за другим — св. Василий Великий, св. Бенедикт Нурсийский, св. Сергей Радонежский, неподалеку беседуют св. Вячеслав Богемский, св. Ядвига, королева Польская и св. равноапостольный князь Владимир. Книга составлена так, что можно не только вблизи рассмотреть все лики и детально увидеть общую композицию, но и прочесть краткие цитаты, наиболее ярко характеризующие изображенных святых. Одна из особенностей творческого подхода Корноухова — его любовь к натуральному камню, — в результате мы видим очень современную мозаику, не кричащую неуместным сегодня византийским золотом, но говорящую привычным нам языком, неброским и внятным: голубой мрамор для образов неба, зеленые камни из Китая для трав и зелени, «травертины Ирана, желтые и красные, хранящие в себе тепло прошедших столетий», и белый травертин Рима.

Над этими образами райского пира и единства Церкви, встроенными в архитектуру и переходящими на соседнее с восточной стеной пространство, возвышался удивительный свод, где в центре из голубовато-белого фона проступал лик Пантократора, а сам свод, словно образуя крест, делился на четыре равные части с мозаиками Рождества, Распятия, Преображения и Успения. Свод жил не отдельной жизнью, но продолжался, переходя в мозаику стен и образуя общую архитектурно-художественную композицию Капеллы. И вот тут начинается трагическая часть нашей цепочки событий: замысел художника так и не был реализован, уже готовая мозаика свода была сбита и заменена мозаикой другого художника. Осталась только восточная стена, и диссонансом к ней — новый вариант свода и остальных стен, выполненный другим художником. В книге воспроизводятся фотографии первоначального замысла Капеллы, которые почти чудом удалось восстановить, оцифровать и сделать иллюстрациями этой удивительной книги, восстанавливающей справедливость и неподвластность настоящего искусства времени и

разрушению. Так сама эта книга становится еще одним событием в том «большом времени», о котором любит размышлять художник: в ней мы видим то, чего уже нет, но чего не может не быть, ведь, как известно, «рукописи не горят».

Помимо автора, стоит поблагодарить всех тех, чьими стараниями книга появилась на свет: устную речь художника, рассказывающего историю замысла и размышляющего о путях современного искусства, перевели в письменную книжную речь три редактора — Наталья Лихтенфельд, Светлана Панич и Мария Чепайтите; прекрасные иллюстрации радуют глаз читателя благодаря работе дизайнера Марии Овчинниковой; книга предваряется вступительным словом Ольги Седаковой и завершается послесловием искусствоведа Натальи Лихтенфельд.

НАТАЛЬЯ ЛИКВИНЦЕВА

Marina Tsvetaieva. *Poésie lyrique (1912–1941)*. Двухязычное издание цветаевской поэзии в двух томах. *Poèmes de Russie (1912–1920) et Poèmes de maturité (1921–1941)*, Paris, Edition de Syrtes, 2015.

Когда выпускница Сорбонны, дочь русских эмигрантов Вероника Лосская зимой 1971 г. приехала в дом у метро «Аэропорт» к дочери Марины Цветаевой Ариадне Сергеевне Эфрон, та первым делом спросила: «За Вами никто не шел?».

Ариадна Сергеевна, после шестнадцати лет лагерей и ссылки, не всегда была приветлива и, конечно, опасалась многого. Но французскую исследовательницу приняла, хотя и боялась всего, что могло хоть как-то помешать возвращению наследия матери, которое по капле пробивалось к читателю сквозь чугунную советскую цензуру. Ариадна Эфрон и Вероника Лосская много работали над архивом Цветаевой. «Когда я приходила, Ариадна Сергеевна доставала из шкафчиков тетрадки матери, папки с фотографиями, отдельные страницы архива и все раскладывала на столе... Мне рассказывали, что о моем поведении Ариадна Сергеевна говорила потом: “Такая холодная, такая сдержанная! И, подумайте, ведь она не выкрала у меня ни одного листочка!”», — вспоминала впоследствии Вероника Лосская.

Эти встречи оказали огромное влияние на судьбу Вероники Константиновны. Но началось все на десять лет раньше.

Тогда будущая исследовательница творчества Цветаевой, защитив в Сорбонне магистерскую диссертацию о переписке Чехова с Сувориным, совершенно случайно взяла в руки маленький том стихов, чудом вышедший в оттепельное время в СССР. Булгаков писал, что любовь поразила его в сердце, «...как убийца, как финский нож». Наверное, то же можно было сказать и о впечатлении, которое произвел на Лосскую «звуковой ливень» цветаевских строк. Вероника была взята в плен навсегда.

Несмотря на протесты научного руководителя и пророчества о полном научном тупике, ввиду совершенного отсутствия по тем временам материала для работы, Вероника посвятила Марине Ивановне долгие годы самозабвенного труда.

Последовали издания книг «Марина Цветаева в жизни» и «Песни женщин», подготовка к печати потрясающих дневников сына Марины Ивановны Георгия, которого близкие звали Муром. Наконец, участие в многочисленных цветаевских конференциях, сборниках, исследованиях и семинарах, посвященных русскому зарубежью.

...Да и могло бы ли быть иначе? Вероника Константиновна отпраздновала свадебный золотой юбилей с Николаем Владимировичем Лосским, внуком замечательного философа, создателя русского персонализма Николая Онуфриевича Лосского. Вся жизнь этой замечательной женщины посвящена служению русской литературе.

Сегодня нам как воздух нужны новые примеры связей, объединяющих Россию и Европу, — в науке, истории личных взаимоотношений, в культуре. Одной из блистательных вех стало издание двух объемных томов: «Лирическая поэзия Цветаевой (1912–1941)» — двуязычное издание ее стихов, объемом без малого две тысячи страниц. Все переводы сделаны Вероникой Лосской.

Первый том, «Стихи из России (1912–1920)», открывается предисловием известного слависта Жоржа Нива, представляющего их для западного читателя. Второй том, «Зрелая поэзия», объединяет написанное Цветаевой в зарубежье и в страшные годы после возвращения в СССР. Этот том предваряет статья Татьяны Викторовой, посвященная особенностям переводов Вероники Лосской и связям цветаевского творчества с европейскими поэтами.

Трудно представить, как немыслимую громаду строк Цветаевой — многие из которых берут начало из русских плачей и песнопений — можно было перевести на элегантный французский язык. Стихи Цветаевой — далеко не только известные всем строки о любви, приводящие в восторг не одно поколение российских читательниц. Ее произведения — это прорыв, новые формы, срывающийся ритм... Погружение в цветаевский мир требует огромной работы от любого, соприкоснувшегося с ее творчеством.

Этот двухтомник не только дает возможность представить французским любителям поэзии наследие одной из самых гениальных поэтесс русской земли. Он позволяет

прикоснуться к вершинам русского слова и понять, какое богатство таится в переплетении наших культур.

Здесь и первые стихи юной Марины, составившие ее сборник «Вечерний альбом», потрясший «мэтров» русского Серебряного века; и ее голос из холодной и ледяной Москвы эпохи Гражданской войны; и гениальные стихи, написанные в Чехии и Франции; наконец, разрывающие сердце произведения, созданные после начала Второй мировой войны, когда Марина Ивановна день за днем приближалась к своей гибели.

Глубокая благодарность Веронике Константиновне Лосской за этот невероятный труд и верность памяти несравненной Марине Цветаевой.

Виктор Леонидов

Новое исследование о Мережковском

Д.С. Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор / Ред. Н. Барковская, Л. Луцевич, Й. Люцканов, А. Медведев // *Toronto Slavic Quarterly. Academic Electronic Journal in Slavic Studies*. 2016. № 57. — 424 с. Эл. версия: <http://sites.utoronto.ca/tsq/57/index57.shtml>

21–23 апреля 2016 года в Варшавском университете состоялась юбилейная конференция «Д.С. Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор». Научный форум, приуроченный к 150-летию со дня рождения, 75-летию со дня смерти, 95-летию пребывания в Варшаве знаменитого русского классика, объединил исследователей из одиннадцати стран мира. Как уже видно из названия, конференция носила междисциплинарный характер и была призвана актуализировать различные культурные «амплуа» этой выдающейся личности.

Результаты конференции опубликованы в отдельном тематическом номере журнала «*Toronto Slavic Quarterly*». Надо отметить, что последний научный сборник подобного уровня, опубликованный под заглавием «Д.С. Мережковский: мысль и слово», увидел свет в 1999 году¹. За прошедшие годы мережковское исследование значительно продвинулось вперед, в связи с чем первоочередной задачей авторов сборника явилось освещение «новейших интерпретаций личности и творчества Мережковского в аспекте их функционирования в современном поле культуры»². Причем авторы стремятся создать не просто сборник, содержащий разноплановые исследования, но целостную коллективную монографию, представляющую единую концепцию личности и произведений Мережковского. Такой подход как нельзя лучше соответствует поэтике сочинений самого писателя, который объединял свои произведения в сверткостовые единства. Структура сборника выстраивается с учетом основных проблем, предложенных для обсуждения на конференции, из которых было избрано несколько наиболее актуальных для современ-

ной науки: проблема саморепрезентации и самоидентификации Мережковского, религиозно-философские искания писателя, влияние его творчества на современников, интокультурная рецепция, вопросы, связанные с особенностями визуальной репрезентации личности русского классика.

Раздел первый затрагивает вопросы формирования литературного имиджа Мережковского, которому, по выражению организаторов конференции, «тесно в социальной роли писателя»³. Авторы раздела предлагают новую интерпретацию биографии писателя, основанную на фактах, еще не вошедших в научный обиход, согласно которой Мережковский вел целенаправленную работу по конструированию собственной репутации, нередко прибегая к «саморекламе» и «PR-технологиям». Так, Алексей Холиков рассматривает автобиографическую заметку, составленную по заказу Сергея Венгерова для монографии «Русская литература XX века» и позднее вошедшую во второе полное прижизненное *Собрание сочинений* писателя, как средство реализации стратегии «классик при жизни». С точки зрения ученого, Мережковский, предавая забвению одни факты своей биографии и преувеличивая значение других, стремится сформировать в сознании читателя определенный портрет. Вслед за ним Нина Барковская интерпретирует образ Данте из одноименного трактата Мережковского как своеобразную автопсихологическую проекцию личности писателя-изгнанника, испытывающего по отношению к родине изощренную любовь-ненависть. Исследование Вадима Полонского направлено на изучение стратегии покорения Мережковским европейского литературного рынка конца 1890-х — начала 1900-х годов. По мнению автора, писатель, тонко чувствовавший веяния моды, удачно воспользовался выходом франкоязычного издания романов Г. Сенкевича «Камо грядеши» и Л. Толстого «Воскресение» для продвижения своих произведений. Людмила Луцевич сосредоточивает свое внимание на политических проектах писателя. На примере взаимоотношений с Пилсудским, Гитлером, Франко и Муссолини автор показывает, как Мережковский, стремясь преодолеть рамки собственно литературной деятельности, пробует себя в роли мудрого философа, советника сильных мира сего.

Подобная трактовка биографии Мережковского, на первый взгляд, может показаться излишне осовремененной, но, с

другой стороны, она вполне согласуется с постепенно утверждающимся представлением о Серебряном веке русской литературы как о некоем рукотворном, заранее спроектированном явлении. Весьма необычен используемый авторами инструментарий. Осмысление житетворческих актов в терминах и понятиях поведенческих стратегий с учетом влияния политики и экономики, на наш взгляд, является весьма продуктивным. Работы вполне согласуются между собой и образуют свертхтекстовое единство. Следует также отметить, что авторам раздела удалось органично соединить анализ поэтики художественных и публицистических произведений Мережковского с изучением их прагматической направленности.

Наиболее интересный раздел сборника посвящен изучению религиозно-философских исканий Мережковского. В качестве материала для анализа исследователями были избраны наиболее загадочные и наименее изученные произведения писателя (очерки «Грядущий Хам» и «Кальвин», поэмы «Франциск Ассизский» и «Протопоп Аввакум», роман «Рождение богов. Тутанкамон на Крите»). Предлагаемая подборка демонстрирует спектр основных религиозных интересов писателя: древнегреческие языческие культы, раннее христианство, кальвинизм, старообрядчество, Христианство Третьего Завета.

Елена Андрущенко предлагает совершенно новое и весьма любопытное прочтение очерка «Грядущий Хам», согласно которому хамство понимается как конформизм, неспособность оставаться самим собой под натиском толпы. В итоге в центре оказывается проблема духовной свободы и личного выбора. Охватывающая широкий историко-литературный контекст и отличающаяся глубиной и основательностью, работа *Александра Медведева* сфокусирована на образе св. Франциска Ассизского, который под пером Достоевского, Мережковского, Розанова, Дурьлина становится символом религиозно-философского Ренессанса и неотъемлемой частью мифопоэтики Серебряного века. На примере ранней поэмы и более позднего эссе писателя автор показывает, как Мережковский в зависимости от ситуации использует этот образ-символ для популяризации своего вероучения, наполняя его теми или иными смыслами. Польский литературовед *Уршуля Церняк* исследует попытки писателя установить контакт со старообрядцами и найти в их лице благодарных

последователей своего вероучения. Автор убедительно доказывает, что творчество Мережковского, в частности, поэма «Протопоп Аввакум», вызвало определенный отклик в среде старообрядцев и сделалось частью их фольклора. Собственные выводы исследовательница подтверждает уникальными текстами, используемыми в богослужебной практике старообрядцев штата Орегон (США), которые генетически восходят к поэме Мережковского. Венгерский ученый *Дьердь Золтан Йож*, продолжая ряд российских исследований, касающихся жанрологических аспектов прозы Мережковского, рассматривает особенности функционирования в романе «Рождение богов. Тутанкамон на Крите» элементов мистериального действия. Основным организующим центром текста исследователь считает обряд посвящения, что позволяет квалифицировать произведение как роман-инициацию. Наконец, *Анна Савина* в статье с символическим названием «Полюбить чудовище» рассуждает о причинах, побудивших Мережковского, не принимавшего кальвинизм, написать очерк о жизни и деятельности главного духовного лидера этого течения.

Статьи раздела в полной мере отражают актуальную для отечественного и мирового литературоведения тенденцию к изучению социокультурной функции религии. Все работы призваны подчеркнуть такие основополагающие черты произведений Мережковского, как воцерковленность, стремление преодолеть границы художественного творчества путем внедрения в него элементов различных религиозно-философских практик и утверждения его как части такой практики.

Прочие разделы сборника также освещают проблему рецепции творчества Мережковского, но под разными углами зрения. Третий раздел разрабатывает вопросы творческого диалога между писателем и современниками, а сам Мережковский предстает здесь как «заочный собеседник и объект изображения воспоминания других творцов»⁴. Статья *Марии Цимборска-Лебода* представляет собой фрагмент большого исследования, изучающего взаимоотношения Мережковского с Вячеславом Ивановым на разных этапах их биографий. Опираясь на полемику по поводу стихотворения Пушкина «В начале жизни школу помню

я...», развернувшуюся в статье Иванова «Marginalia» (1912), автор тонко выявляет мировоззренческие и художественно-эстетические расхождения между обоими писателями. Работа *Марии Кишондзер* раскрывает особенности трактовки Мережковским идей и личности Петра Чаадаева. Две последующие статьи представляют различные варианты взаимоотношений Мережковского с представителями молодого поколения писателей Серебряного века, которые изначально воспринимают его в качестве идейного и литературного наставника. *Екатерина Кузнецова*, путем выявления в текстах Андрея Белого образов и мотивов, связанных с метафизикой Мережковского, еще раз подтверждает мысль о том, что на протяжении 1900-х годов поэт испытывает творческое влияние со стороны старшего современника, которое постепенно преодолевается им. Если в поэтической симфонии «Кубок метелей» (1908) основные концепты Христианства Третьего Завета играют ключевую, структурообразующую, роль, то в романе «Серебряный голубь» (1909) они подвергаются ироническому обыгрыванию. Исследование *Тамар Гоголадзе и Нино Миндиашвили*, в котором проводится совершенно неожиданное сопоставление философско-эстетических взглядов Мережковского и его младшего современника грузинского прозаика и публициста Григола Рабакидзе, обнаруживает преемственность между обоими писателями. Любопытные наблюдения содержит статья *Александра Федуты*, построенная на сопоставлении драмы Мережковского «Павел I» (1908) и трагикомедии Всеволода Иванова «Двенадцать молодцев из табакерки» (1936). Литературовед подчеркивает полемический характер пьесы Иванова, который не соглашается со своим предшественником в трактовке личности Павла I и роли народа в историческом процессе. Работа *Ивоны Крыжка-Михновска* реконструирует портрет Мережковского на основании дневников Зинаиды Гиппиус. По мнению исследовательницы, портрет этот, складывавшийся спонтанно, во время акта саморефлексии, значительно расходится с биографической легендой, которую она создает в своих мемуарах, используя стратегию идеализации прошлого.

Работы данного раздела, содержащие тонкие литературоведческие наблюдения, отчасти объясняют странное положение, занимаемое Мережковским в литературном пан-

теоне. Хотя раздел не отличается особой целостностью и не позволяет сделать более глубокие обобщения, приведенные в нем исследования, безусловно, сыграют свою роль в изучении влияния творчества писателя на современную и последующую литературу.

Не ускользнула от внимания исследователей и проблема инокультурной рецепции творчества Мережковского, уже отчасти затронутая в работе Тамар Гоголадзе и Нино Миндиашвили. Ей и посвящен следующий раздел монографии. *Ольга Богданова* указывает на то, что в глазах немецкого читателя первой половины XX века Мережковский представляется, прежде всего, как комментатор Достоевского и автор революционных статей, чем невольно способствует утверждению и распространению мифологемы Третьего рейха.

Йордан Люцканов в своей фундаментальной статье приходит к выводу, что в Болгарии Мережковский в большей степени был востребован как истолкователь русской классической литературы, философ и религиозный наставник, тогда как его художественные произведения публиковались с большим опозданием. Статья сопровождается ценными архивными материалами из переписки Мережковского с болгарским богословом и публицистом Дино Божковым. *Андрей Гордин*, исследовавший латвийскую рецепцию творчества писателя на протяжении первой трети XX века, приходит к прямо противоположному заключению. Среди латвийских читателей Мережковский был известен как основоположник символизма и автор популярных исторических романов, а критики, в основном, уделяли внимание художественной составляющей его произведений. В статье *Джузеппины Джулиано* речь идет о непростой ситуации, складывающейся вокруг Мережковского в Италии во второй половине 30-х годов. Широко пользующийся покровительством Муссолини, писатель, тем не менее, вызывает неприятие со стороны исконной итальянской интеллигенции и, следовательно, не может по-настоящему закрепиться в этой стране. *Алексей Волегов*, чья работа направлена на изучение рецепции творчества писателя в Японии, Китае и Тайване, отмечает, что в этих странах его произведения воспринимают с позиции академического дистанцирования, что объясняется как значительными культурными различиями, так и давлением со стороны властей.

Актуальность этого раздела обусловлена интересом к проблемам компаративистики и межкультурной коммуникации, наметившимся в литературоведении в последние годы. Раздел характеризуется научной новизной и значительно расширяет контекст изучения творчества Мережковского. Умело подобранные статьи, иллюстрирующие литературную ситуацию, сложившуюся в четырех странах Европы на протяжении XX века, дают пищу для широких обобщений и позволяют составить ясное представление о судьбе наследия Мережковского. Некоторое сожаление вызывает тот факт, что авторы не рассматривают художественные отклики на произведения Мережковского и обходят молчанием проблему влияния его философско-эстетических установок на творчество зарубежных писателей.

В последнем разделе рассматриваются не вполне традиционные формы рецепции личности и творчества Мережковского, такие, как визуальная репрезентация и литературная пародия. *Гражина Бобилевич*, используя метод интермедийального анализа, исследует портретные изображения Мережковского, относящиеся к разным периодам жизни и выполненные в различных жанрах: художественная фотография, живописный портрет, акварель, карандашный рисунок, карикатура, шарж. Ей удастся выявить комплекс устойчивых визуальных деталей, сопровождающих изображения писателя и наделенных символическими смыслами. Стоит особо отметить, что данная статья обладает хорошей теоретической базой и четким терминологическим аппаратом, которых, как правило, лишены такого рода работы. В центре внимания *Вячеслава Крылова* находится такое интереснейшее явление, как литературная пародия. С его точки зрения, оно представляет собой сложную форму рецепции творчества писателя, которая, с одной стороны, повторяет стиль его произведений в утрированном виде, а с другой — выражает негативное отношение автора к пародируемому явлению. Исследователь выделяет в русской культуре рубежа XIX–XX веков три основных типа пародийной рецепции личности и творчества Мережковского. В целом данный раздел можно считать приятным дополнением к сборнику, которое, без сомнения, вызовет живой интерес читателей.

В заключительном очерке предпринимается попытка осмыслить материалы конференции в духе социологии ли-

тературы Бурдые⁵. Однако с нашей точки зрения попытка применить чужеродную терминологию к уже готовым исследованиям выглядит не совсем корректно. Многие выводы сформулированы туманно и не вполне подтверждаются конкретными работами. Безусловной похвалы заслуживает анализ раздела «Инокультурная рецепция», отличающийся глубиной и прозорливостью⁶. Довольно смелым жестом является публикация в Приложении к сборнику эпиграмм на участников конференции, написанных *Александром Федотовым* и звучавших во время заседаний. Это свидетельствует о готовности авторов к самоиронии и самокритике.

Конференция в очередной раз подчеркнула сложность и противоречивость феномена Мережковского, объединяющего в себе крайний практицизм и идеалистические порывы, склонность к позерству и верность религиозным истинам, неутолимую жажду деятельности и неспособность воплотить свои идеалы на практике. На наш взгляд, этот утвержденный, но до конца не признанный классик порой напоминает персонажей галереи «лишних людей» русской литературы, во всяком случае сборник дает пищу для таких толкований. Надеемся, что журнал «Toronto Slavic Quarterly», содержащий материалы конференции, будет интересен не только специалистам, но и широкому кругу читателей, желающих приблизить и осмыслить фигуру этого выдающегося писателя, критика, философа и религиозного деятеля.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Д.С. Мережковский: мысль и слово / ИМЛИ РАН; Редкол.: В.А. Келдыш и др. М.: Наследие, 1999. 347 с.

² *Барковская Н., Луцевич Л., Люцканов Й., Медведев А.* Вместо введения: конференционная концепция // Toronto Slavic Quarterly. Academic Electronic Journal in Slavic Studies. 2016. № 57. С. 9. Эл. версия: <http://sites.utoronto.ca/tsq/57/index57.shtml> (дата обращения 8.11.2016).

³ Там же. С. 7.

⁴ *Люцканов Й.* Вместо заключения: итоги и перспективы (§3) // Там же. С. 408.

⁵ Там же. С. 401–407.

⁶ Там же. С. 409–411.



ХРОНИКА



Съезд РСХД в Луази

7–9 октября 2016 года в местечке Луази под Парижем состоялся очередной ежегодный съезд ACER-MJO, наследника РСХД. Участники неизбежно будут сравнивать этот съезд с прошлогодним, бурным и как бы чрезвычайным. В прошлом году съезд прошел в разгар конфликта архиепископа Иова (Геча) со многими клириками и мирянами Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе. Движение оказалось вовлечено в этот конфликт, и на съезде 2015 года в Жамбилле активно обсуждалась ситуация в Архиепископии (см. заметку о прошлогоднем съезде в № 204 «Вестника»). Решительный протест Движения, на съезде и вне его, сыграл свою роль в том, что в ноябре 2015 года Синод Константинопольского патриархата принял беспрецедентное в истории Архиепископии решение: переместив Иова (которому Константинополь с помощью манипуляций и обеспечил победу на епископских выборах 2013 года) на почетную, но не пастырскую должность внутри патриархата.

Нынешний съезд был рабочим и традиционным по порядку. Он вызвал большой интерес: в момент максимального присутствия в Луази находилось около ста участников (из них приблизительно 20 — дети). Движение, хотя в его названии по традиции фигурируют студенты (*Action chrétienne des étudiants russes*) и молодежь (*Mouvement de jeunesse orthodoxe*), включает людей всех возрастов, и состав участников это отражал. Преобладали, как обычно, движенцы из Франции, внушительным было представительство Брюс-

сельского прихода Архиепископии, кроме того, присутствовали отдельные участники из Германии, Великобритании, Швейцарии и Венгрии.

В качестве темы съезда был избран вопрос: «Опоздало ли православие на поезд современности?» Помочь разобраться в нем были призваны главные докладчики, прибывшие из двух разных центров мирового православия, — богослов и философ из Афин *Хараламбос Вендис* и журналист, издатель и церковный писатель, многолетний главный редактор «Журнала Московской патриархии» *Сергей Чапнин*. Еще одним приглашенным гостем был настоятель православного прихода в Амстердаме священник *Сергий Овсянников*, который принял активное участие в дискуссиях съезда.

Гость из Афин выступил с сообщением об ответственности Церкви перед миром. Он весьма критически и пессимистически отозвался о той позиции, которую Церковь заняла в современном мире. Его доклад вызвал много вопросов и откликов среди присутствующих. Редакция надеется опубликовать выступление Хараламбоса Вендиса в одном из ближайших номеров «Вестника».

Сергей Чапнин попытался дать общую картину пути, пройденного Русской церковью за последние 25 лет. Эта картина тоже не была радужной. Особенное беспокойство выступавшего вызвал тот факт, что в России в последние годы складывается своеобразная «гражданская религия», где важное, но подчиненное место отведено «православию» без Христа и Евангелия. Сергей Чапнин заявил о важности опыта Движения для России и высказал несколько дружеских, критических замечаний в адрес «Вестника». Его дополненный новыми соображениями отзыв о «Вестнике» мы публикуем в этом номере журнала.

Помимо двух докладов, программа съезда включала работу дискуссионных групп, заключительный «круглый стол» о роли Движения и вечер памяти ушедшего от нас в этом году Никиты Алексеевича Струве, одного из старейших движенцев и многолетнего издателя «Вестника», которому посвящены многие материалы этого номера. На вечере памяти с рассказом о Никите Алексеевиче, «дедушке Движения», выступил нынешний его председатель *Кирилл Соллогуб*. Затем секретарь редакции «Вестника» *Татьяна Викторова* представи-

ла 205-й номер журнала — последний выпуск, составленный под руководством Никиты Алексеевича и вышедший уже после его смерти. Наконец, *Даниил Струве* познакомил собравшихся с выходящим 160-м номером журнала *Messenger Orthodoxe*, основанного много лет назад Никитой Алексеевичем в качестве параллели «Вестника РХД» и предназначенного для тех, кто предпочитает читать по-французски.

Присутствовавшие на съезде члены редколлегии «Вестника» в перерывах между заседаниями провели несколько коротких встреч, на которых обсудили содержание ближайших номеров, практические вопросы издания журнала и его общую концепцию.

В заключительный день съезда его участником был *архиепископ Иоанн (Ренето)*. Утром он председательствовал на воскресной литургии движенцев в церкви поместья Луази, а затем вместе со всеми отправился на завтрак, выслушал доклад Сергея Чапнина и принял участие в заключительном «круглом столе» о роли Движения. В конце «круглого стола» владыка Иоанн заявил о своей поддержке идей и деятельности Движения, сообщил, что хочет стать его членом, и поинтересовался, кому можно заплатить членские взносы. Это был своего рода символический жест, указывающий на то, что взаимоуважение и сотрудничество, которые были характерны для отношений Движения и архиепископа при владыке Гаврииле Команском (скончавшемся в 2013 г.), восстановлены.

Съезд прошел в Луази, по-видимому, в последний раз, поскольку Католическая церковь, которой принадлежит поместье Луази (большой дом с парком), намеревается продать его. Съезд был очень живым. И через 90 лет после основания Движения его миссия, сформулированная его отцами-основателями как «воцерковление жизни», остается более чем актуальной. Смысл и задачи Движения нуждаются в постоянном соотношении с реалиями сегодняшнего дня. Радость общения единомышленников, которая была характерна для этих трех октябрьских дней, не должна переходить в триумфализм: работы много, нивы давно побелели, а работников мало. Нужно пожелать Движению не угашать духа (1 Фес. 5, 19).

«Гамлет в мини-версии»: о театре-тексте на перекрестке мнений

В конце июня этого года в помещении РСХД состоялась постановка «Гамлета» в версии Григория Лопухина и группы актеров-движенцев в возрасте от 18 до 74 лет. Мы предлагаем отклики режиссера-постановщика, актера и зрителя, позволяющие воссоздать концепцию, особенности исполнения и восприятия спектакля, в надежде, что этот опыт будет интересен русскому читателю и постановщикам Шекспира в России.

Точка зрения постановщика

Театр — не терапия. Это один из основных постулатов, на котором я основываюсь, когда предлагаю театральные курсы, будь то для взрослых в РСХД или для молодежи в других местах. Театр сам по себе еще не благо. Он приносит свои плоды в результате реализации долгосрочного проекта на основе работы с текстом. При этом большая часть театральных занятий нацелена на достижение освобождающего, творческого влияния театрального действия, которое должно оказаться *in fine* терапевтическим, как будто сам факт любой активности не окажется уже сам по себе попыткой выражения, безусловно благодатной для любого индивидуума.

Театр — вещь полезная и благая уже потому, что это акт коллективного творчества и он позволяет миру существовать, пусть и в мимолетной форме. Все другие рассуждения — а их можно свести примерно к следующему: развитие спонтанности, непринужденности, борьба с застенчивостью, умение уверенно чувствовать себя и т.д., — являются, мне кажется, всего лишь недостаточным знанием того, что представляет из себя работа над театральным проектом. Добавим также, что подобные подходы имеют тенденцию отрицать старую как мир реальность, называемую театром, а именно тот факт, что, по словам драматурга Мишеля Винавера, «каж-

дый значительный театральный текст отнюдь не паразитирует на театральном акте, но может его основать»^{*}.

Я попытаюсь обосновать это мнение, рассказав о замысле и эволюции постановки одного из самых значительных текстов не только театральной практики, но и мировой литературы.

Рождение студии, зарождение проекта

Создание студии *Фронтальная Кампания* выросло из более широкого движения в РСХД-ДПМ (Движение Православной Молодежи). В течение нескольких лет мы пытаемся преобразовать эту Ассоциацию в активный культурный центр высокого уровня. По просьбе Игоря Соллогуба я открыл курсы в марте 2016 года, с десятком учеников в возрасте от 18 до 74 лет.

Необходимость регулярного присутствия на репетициях, а также требование спонтанности сократили количество учеников до шести. Теперь можно было начинать нашу особую педагогическую программу. Отметим, что среди учеников были люди с совершенно разным театральным опытом, но это не имеет значения: в театре главную роль играет личная заинтересованность и личная работа.

При выборе литературного подхода к театру — подхода через текст — особое внимание следует обратить на дикцию. Речь идет не о каких-то пережитках давно позабытой эпохи или традиции, а о том, чтобы предоставить актеру-ученику полный набор средств, чтобы он мог найти свой собственный свободный подход к тексту.

И для работы над дикцией не существует другого метода — какого бы возраста ни были члены группы — кроме как снова и снова отрабатывать александрийский стих Расина, в рамках определенных правил.

Сегодня мы совершенно отвыкли от прослушивания стихов, и рефлекс метрики чужды для большинства из нас. Но я хотел сохранить в работе именно это ощущение странности и непривычности и через это искоренить тот ужасный, хоть и неизбежный рефлекс, каким стал поиск естественной и наивной игры.

^{*} *Vinaver, Michel, Le Compte-rendu d'Avignon, des mille maux dont souffre l'édition théâtrale et des trente-sept remèdes pour l'en soulager, Actes Sud, Arles, 1987. P. 36–37.*

Гамлет за 30 минут?

Каждый режиссер, решивший поставить пьесу, вырабатывает сценическую версию, адаптацию. Если ставить *Гамлета* в интегральном варианте, продолжительность пьесы будет примерно 4 часа 30 минут. Довольно редко сокращенный вариант может вписаться в полтора часа. Но можно подойти к тексту как к матрице с бесконечными возможностями. Наша ставка была предельно проста: сыграть *Гамлета* за полчаса, имея в распоряжении минимум средств и минимум актеров, учитывая при этом кратчайшие сроки работы. Постановка должна быть не пародией, не упрощенной версией, но подлинной пьесой. Нам хотелось, чтобы публика, выйдя со спектакля, могла сказать: «я только что увидел версию *Гамлета*».

Эта попытка родилась из осознания того, что самая известная пьеса Шекспира остается в то же время самой неизвестной, т. е. хуже всего известной. Достаточно вспомнить об ужасающем и очень распространенном смешении между сценой с черепом Йорика (акт IV, сцена II) и монологом «Быть или не быть» (акт III, сцена II). Многие воображают себе Гамлета, декламирующего свой известный, но непонятный монолог с черепом в руке. Таким образом, монолог ожидается публикой с самого начала представления и оказывается моментом, сосредоточивающим на себе все внимание, в ущерб другим аспектам текста и другим монологам. Именно поэтому наша афиша представляет перечеркнутый череп: мы не будем показывать то, что вы уже знаете.

Год назад я создал первую версию этой пьесы под названием *Гамлет для детей*. Эта версия была написана с помощью метода, которым я руководствовался и в дальнейшем: нить повествования представляется публике голосами разных актеров, вступающими один за другим.

Например, первая сцена:

«Актер 4: Вот уже два месяца, как король умер, его сын Гамлет

Актер 2: Я — Гамлет

Актер 3: тонет в печали... уже два месяца

А 2: **вот уже два месяца, как умер,.. нет, не два, не столько, невозможно**

А 1: Его дядя Клавдий

А 5: брат его отца

А 2: **который так же похож на моего отца, как я на Геракла**

А 3: Я Клавдий

А 1: захватил корону своего брата

А 5: и женился на супруге брата Гертруде

А 2: О, Небо и земля, мне ли об этом вспоминать?

А 6: Я Гертруда

А 3: на отчаяние Гамлета

А 2: **Всего лишь через какой-то месяц, не успев еще износить свои башмаки, она вышла замуж**

А 3: Гамлет, не позволяй мольбам твоей матери пропасть втуне.

А 2: **Животное, и то подождало бы дольше**

А 6: Оставь свои траурные одежды

А 5: Как так происходит, что над тобой всегда сгущаются тучи?

А 3: Будьте новым сыном

А 2: Немного больше племянником и меньше сыном, чем ты хочешь

А 3, А 1, А 5: это общеизвестно: все живое должно однажды умереть

4, 1: перейти от природы к вечности

А 2: Да, госпожа, общеизвестно

Все (кроме 2): Но почему же тогда эта смерть кажется тебе особенной?

А 2: Вы говорите «кажется», госпожа? Я не знаю слова «кажется»

Дело не только в моем костюме, черном, как чернила, милая мать,

И не в привычных темных одеждах траурных церемоний,

Не во всхлипывающих вздохах стесненного дыхания,

Нет. Ни обильный поток, проистекающий из глаз,

Ни сумрачное выражение лица

— все это лишь формы, модусы и силуэты скорби —

И они не могут изобразить мне света. И правда, ОНИ ЛИШЬ КАЖУТСЯ

Все это всего лишь действия, которые человек может сыграть

А 6: Не дай потеряться мольбам матери, останься с...

А 2: прерывая ее. Госпожа, я буду вам повиноваться изо всех сил».

Три разных источника текста пересекаются между собой: жирным шрифтом отмечены слова Гамлета из первого монолога (акт I, сцена 2), подчеркнуты те реплики, которые взяты из отрывка, предшествующего данному монологу, наконец, все остальное — просто повествование, которое я написал, как можно проще, опираясь на факты и оставляя в стороне комментарии и интерпретацию.

Весь интерес состоит в том, чтобы способствовать созданию связей между этим холодным повествованием и монологом Гамлета. Повествование провоцирует возникновение слова у Гамлета. Комментарий о трауре Гамлета, который не прекращается уже два месяца, приводит стих «Вот уже два месяца, как умер, нет, не два, не столько, невозможно». С точки зрения синтаксиса, фразы вплетаются одна в другую. Так, слово «дядя» соотносится с дополнением во фразе, взятой из монолога.

Рассказывая о генезисе текста, хочу отметить, что я работал, не имея перед собой оригинала. Я пытался рассказать историю, и как только мне вспоминался какой-то стих — просто по ассоциации идей или по созвучию с каким-то словом, я позволял себе вставить его в повествование. Этот метод был применен на протяжении всего текста, как только мне представлялось возможным переплести слова монолога и повествование.



Во второй части приведенной выше сцены я переплел реплики Гертруды и Клавдия, распределив их между всеми актерами, задействованными в сцене. Таким образом я хотел создать асимметрию между чрезмерным трауром Гамлета и беспечностью, почти радостью остальных придворных (см. фото). Так как двор является одним целым, мне показалось естественным ввести хоровую речь, которая уже присутствует в повествовании, но особенно проявляется в этой драматической ситуации.

С точки зрения педагогической, разорванное повествование этой первой сцены, работа над которой отняла больше всего времени, привело нас к двум главным вопросам — вопросу ритма, столь же важного, как и дикция, и к вопросу отказа от логической связности.

Уточним: когда я говорю о разрыве, я пытаюсь привести актеров к мысли, что театральное представление не должно сводиться к обедненному кино. Мы слишком привыкли верить во всемогущество последнего, и забываем, что повествование в театре является одновременно более богатым и более простым: рассказ, ведомый несколькими актерами, отсылает нас к вневременному контексту устного рассказа: рассказчик повествует, и аудитория его слушает.

Несмотря ни на что — ни на разрыв повествования, ни на сосуществование повествования с драматическим воплощением Гамлета, — геометрия рассказа представляет структуру. Конечно, сцена не иллюстрирует ситуацию, она не является фотографией того, как могла бы проходить жизнь Гамлета. В конечном итоге, сцена представляет трагедию Гамлета, как это мог бы сделать рассказчик. Что касается ритма, речь идет о том, чтобы, как и для александрийского стиха, привести актера к техническому исполнению партитуры, чтобы избежать неизбежных вопросов: «как произнести эту реплику?», «как я должен представить ее в соответствии с мыслями моего персонажа?» и других неотступных монстров из искусственных мифов об актерском мастерстве. Добавлю также, что над сценами, в которых доминирует ритм, работа должна быть сугубо коллективная: достаточно одной забытой детали, одного неверного шага, и все здание рухнет.

Монолог: за пределами фанатичного воплощения

Таким образом, главной задачей было освободиться от фанатичной идеи воплощения актера в персонаж. Как мы видели выше, «Я Гамлет», «Я Гертруда» позволяют обойти этот вопрос, прямо объявляя персонажей публике. Так, принца Датского смогли играть несколько актеров, в монологе или сценах. Введение приема «объявления» («Я такой-то») позволяет также перейти к сущности сценической условности. Этот концепт невозможно обойти стороной: Мейерхольд сумел отлично использовать его. Однако вездесущность приводит иногда к перенасыщению символами, которые уже не несут смысла, а просто демонстрируют, что постановщик знаком с природой сценической условности. Тысячи нарочито выстроенных элементов, кажется, говорят нам: «Посмотрите, как я люблю театр и насколько я осведомлен о его всемогуществе».

На первом этапе работы я предполагал придумать какой-то свой предмет для каждого персонажа. Однако впоследствии стало очевидным, что этот элемент абсолютно лишний. Текст самодостаточен, он сам создает очевидность. Вот последняя сцена спектакля, которая наглядно указывает на дистанцию по отношению к слишком упрощенной формуле: актер — персонаж.

«А 2: Тогда,

А 1: Гамлет в агонии

А 2: Я Гамлет

А 3: Я Гамлет

А 6: Я Гамлет

А 1: Я Гамлет

А 5: Я Гамлет

А 4: Я Гамлет

А 5: Вы

А 6: Вы так бледны

А 1: И дрожите от этого события

А 4: Простые зрители

А 3: Или немые статисты этой пьесы

А2: Если бы у меня было время

А 5: Но этот жестокий сержант

А 4: Смерть

А 6: Добросовестно исполняет приказания

Все: О!

А 1: Я мог бы вам сказать

А 3: Но оставим это

А 4: Я умер

А 2: Сильный яд торжествует над моим духом

А 6: Все остальное

А 5: Все остальное

А 4: Все остальное

А 1: Все остальное

А 3: Все остальное

Ad lib

А 1: Молчание»

И все же в это чрезвычайно ритмичное и оживленное повествование регулярно вкрапляются целые монологи, без купюр, во всей их длительности и, я бы сказал, протяженности.

Если бы мы решили оставить только повествование, с добавлением нескольких реплик, театр был бы сведен по сути к «ускоренному просмотру» Гамлета, что было бы, скорее, пародией. У нас же, напротив, сохраняется работа над ритмом и над текстом, с той лишь разницей, что смысл и ритм производятся здесь актером.

Подобная работа над монологом имеет огромный педагогический потенциал, и ее интерес в том, чтобы показать зрителю все богатство монологов пьесы, упразднив первый и слишком знаменитый монолог — «быть или не быть», который заслонял бы собою все остальные.

Начиная с этого момента, единственный императив для актера не в том, чтобы воплотить определенную идею Гамлета, но в том, чтобы позволить публике услышать текст, или, точнее: представить публике собственный путь к смысловым глубинам текста.

Это как бы обнажение усилий актера и постановщика, чтобы придать тексту форму, наиболее подходящую для создания смысла. Не экзегеза для публики, а наш отчет о работе, проделываемой над текстом, в определенный момент этой работы. Мгновенный снимок длящегося размышления.

В этой перспективе текст получает способность снова и снова создавать для актера игру, потому что речь идет не о том, чтобы найти какой-то конечный смысл, и не о том, чтобы создать окончательный образ.

Так выстраивается, и для актера, и для постановщика, осевая задача театра, ориентированного на текст: вечное обновление нашего отношения к миру. При этом совершенно не нужно делать из Гамлета наследника театральной революции XXI века или какой-либо другой искусственной актуализации текста. Достаточно текста и работы над ним до пота.

Григорий Лопухин

Перевод с французского Анастасии Илич-Бенке

Точка зрения актера

Мы попросили Илью Асланова, одного из участников проекта, описать собственный опыт. Он решил, что проще всего это сделать в форме воображаемого разговора с самим собой.

Таинственный Вопросатель: Здравствуйте, Илья.

Илья Асланов: Здравствуйте. Чем обязан такой чести?

ТВ: Мне бы просто хотелось задать вам несколько вопросов по поводу роли, сыгранной вами в пьесе «Гамлет: в мини-версии».

ИА: Ну что ж, задавайте, мой друг.

ТВ: Это был весьма дерзновенный замысел, воплощенный в жизнь Григорием Лопухиным: переписать для спектакля текст «Гамлета». В эту новую версию вошли повествовательные отрывки, в которых слово распределялось между всеми актерами, а также длинные монологи, взятые непосредственно из самой пьесы. Как вы работали над этими двумя аспектами постановки?

ИА: Конечно, работа с ритмом резко различалась в зависимости от того, повторяли ли мы монологи или же шла нарративная часть. В случае повествования — это была настоящая работа с механикой. Каждый актер старался следовать общей динамике целого и при этом очень внимательно относиться к репликам партнеров, чтобы не затормозить общий ход машины. Это не просто, потому что даже малейшая

ошибка сразу нарушает целостность, и приходится все время оставаться на предельной степени внимания. Сама перекройка текста этих отрывков Григорием Лопухиным задумана и сделана именно с оглядкой на нас, на группу актеров-любителей вроде нас, потому что она и в самом деле позволяет уловить всю важность ритма в театре. Повторение при этом обретает дидактическую ценность.

Во всяком случае, мне больше нравится работать над монологами с более органической и свободной ритмической конструкцией. Когда идут репетиции, всегда возникает соблазн воспроизвести еще раз те же эффекты. Но беспрерывное повторение одних и тех же слов, жестов и даже одних и тех же хитроумных находок неизбежно навеивает скуку. Скука такого повтора как раз и вынуждает освободиться, освоиться с текстом, сделать его живым. То, что казалось игровой находкой, кажется затем утомительным и надоевшим, и тогда мы начинаем исследовать все поле открывающихся перед нами возможностей. Григорий Лопухин научил меня ежедневной работе с текстом, читать его каждый день в любой ситуации, чтобы научиться распознавать все его тонкости и оттенки. Могу рассказать по этому поводу один анекдот. Однажды вечером после репетиции мы с Григорием Лопухиным думали, как нам лучше вернуться домой. На ходу я начал разыгрывать монолог Клавдия, в котором он жалуется на свою участь, так, словно эти слова произносит бомж. И вдруг смысл слов стал мне гораздо яснее. И тогда я начал приставать с этими словами к прохожим, хватать их за руки, произнося все тот же монолог Клавдия. Этот опыт очень обогатил мою игру и очень помог мне в дальнейшем.

ТВ: Авторская обработка пьесы вынуждает вас играть сразу нескольких персонажей. И кто вы тогда больше? Гамлет или Клавдий?

ИА: Мне кажется, это неверная постановка вопроса. Я не идентифицирую себя с теми персонажами, которых играю. Я ни в коей мере не испытываю их эмоции. Я считаю, что к этому вопросу нужно подходить с технической точки зрения, нужно понимать, с помощью каких приемов легче убедить зрителя, что на сцене тот или иной персонаж. На сцене мы видим лишь знаки того или иного чувства, а не сами чувства. Мое удовольствие от игры зависит от того, насколько я усвоил эту

технику. Что же касается вопроса, кого я играю с большим удовольствием, Гамлета или Клавдия, то ведь оба эти героя могут предоставить достаточно нюансов для того, чтобы получить одинаковое удовольствие и от той, и от другой игры.

ТВ: Но вы ведь сами сказали, что нужно освоиться с текстом, сделать его живым. Разве это не противоречит вашему утверждению, что мы не испытываем эмоции персонажей?

ИА: На мой взгляд, сделать персонажа живым не равнозначно тому, чтобы жить вместо него, это значит максимально аккумулировать все возможности персонажа, так чтобы их густота приближалась к густоте реального человека. Это разбивает одностороннее впечатление от его эмоций.

ТВ: Почему вы решили сделать эту постановку в рамках РСХД?

ИА: Я задал себе тот же вопрос, когда Григорий предложил мне принять участие в этом проекте. Я согласился почти случайно и лишь потом понял, что побудило меня согласиться. Прежде всего, я знал, насколько серьезно относится к делу Григорий, он верит в свои проекты и все силы отдает на то, чтобы их реализовать. Затем, мне очень понравилось, как мы работали с александрийским стихом, когда учили отрывки из Расина. Григорий придерживается концепции, по которой самое главное — следовать ритму. Мне очень не нравится, когда актеры нарушают этот ритм, эту музыкальность, и читают стихи, как прозу. И наконец, в РСХД у меня всегда есть чувство принадлежности к определенной общине. У нас установились очень глубокие дружественные связи с теми людьми, с кем мы встречались в лагере, и я ощущаю, что эта глубина отношений мне очень сильно помогла. Ведь гораздо приятнее работать с людьми, которые знают, что вы из себя представляете. И мне показалось важным конкретизировать эти связи, эти тесные отношения вокруг общего проекта. Поэтому хорошо, если в РСХД поддержат такие начинания. Наше Движение живет и действует еще и в области культуры. И чем больше будет таких начинаний, чем разнообразнее они будут, тем живее будет РСХД. А объединяться вокруг общего дела мы учились уже в лагере или в течение года в ходе работы с детьми.

ТВ: То есть вы думаете, что такой театральный эксперимент следует продолжить? Как вы считаете, в каком направлении будут развиваться эти занятия?

ИА: Может быть, стоит вплотную заняться уже собственно религиозной тематикой. Это и было изначальным замыслом режиссера. Можно также провести занятия для подростков и детей. Мне кажется, было бы также полезно сыграть за пределами Оливье де Серр, перед совершенно незнакомой публикой, а не только перед теми, кого мы знаем. Это привнесло бы в нашу работу больше серьезности. Посмотрим, что из этого получится. Что же касается Движения в целом, то я думаю, что надо расширять количество таких инициатив в самых разных художественных областях, в музыке, литературе, пластических искусствах.

Илья Асланов

Перевод с французского Натальи Ликвинцевой

Точка зрения зрителя Присутствие Гамлета

Декорации — это еще не театр: украсить пространство — еще не значит подготовить его к постановке. Тогда как наоборот: замысел, продолженный жестом, сам акт появления на свет, постановки, будет сразу не только сигналом для участников, нередко его следы сразу же отражаются и в пространстве.

Постановка «Гамлета: в мини-версии» в рамках РСХД, на Оливье де Серр, началась не с загромождения пространства иллюзией величия, что стало бы ложным ходом даже в замке Эльсинор или при дворе датского короля. Мы входим не столько в декорации, сколько в напряжение разворачивающегося акта, который самим рождением уже начинает одаривать пространство. Неподвижные силуэты актеров отбрасывают тени, которые подчеркивают их присутствие и сами возникают, словно призраки, на фоне стен тесной комнаты и заговаривают еще раньше актерских реплик. Возможно, комната эта опустела как раз накануне, она еще не совсем пуста, она продолжает свидетельствовать о тех многочисленных жизнях, которые могли бы здесь протекать: у стены справа книжный шкаф, книги за его стеклянными дверцами — как эхо библиотеки; в левом углу под потолком притаилась икона, и это привносит сюда литургические нотки. Создается впечатление чего-то древнего и в то же время общего, древнего и общего одновременно. И главное, в центральной фоновой

стене шесть закрытых дверных створок создают навязчивую идею, что все это — лишь часть (совсем небольшая?) чего-то большего, что нас словно выслали в эту самую часть.

Но куда выслали, или убежищем от чего стала эта высылка, мы сначала угадываем почти на уровне ощущений. По дрожи, пробегающей по ожидающим актерам. То, что разыгрывается здесь в церемонии без прикрас, должно быть тайной, пока в нее не вторглись, и скоро перестанет ею быть. Ведь у драмы не бывает кулис. И сразу же нас оповещают: это трагедия Гамлета.

«Трагическая история Гамлета, принца датского, в кратком представлении, которое займет меньше получаса и будет разыграно несколькими актерами»: замысел почти столь же лаконичен, как и адаптация шекспировской трагедии Григорием Лопухиным, труд, делающий каждое мгновение поучительным и ощутимым. Но и этим дело не ограничится: ведь самую длинную шекспировскую пьесу сокращали уже почти столько же раз, сколько было попыток ее поставить. Так еще в 1960-е Шарль Марович тоже создал из пьесы подобный полчасовой «коллаж», распределив реплики и авторскую речь между актерами: на этот опыт опирается и версия Григория Лопухина. Но здесь примечательно, как за такой малый промежуток времени трагедия успевает открыться и закрыться и как в ней расставлены акценты простым и чистым повторением кратких реплик: знак того, что краткость здесь связана не с количеством, а с ритмом; дело не столько в том, чтобы обобщить, сколько в том, чтобы показать. Кто-то однажды определил язык принца Гамлета, особенно в монологе «Быть или не быть», как «рапсодию разорванных образов», нанизанных друг на друга и сталкивающихся друг с другом. С помощью этого рапсодического языка, языка самого героя, и разворачивается перед зрителем уже не сама драма, и не портрет героя, но что-то вроде «портрета драмы» Гамлета.

В историческом и символическом плане «Гамлет» часто ассоциируется с рождением европейской субъективности, которую долго еще преследовала фигура ее героя. Трагедия личности, конечно, налицо, и тем более, может быть, оттого, что здесь она еще не успела оформиться раз и навсегда: «Я Гамлет», — скажут, по очереди, актеры. Ведь на замысел «Гамлета: в мини-версии» повлияла и сама идея сжатого пространства и времени,

вынуждающая к ускоренной речи, и педагогическая установка: раз уж «Гамлета» играют актеры-любители, то лучше постараться избежать ситуации, когда героя воплотит всего лишь один из них. Коллективно и в отведенном им времени они покажут нам трагедию полифонически, как бы сквозь театральный волшебный фонарь, в сверкании обрывков рассказов и монологов, — ничего не упущено в этой постановке, где само упущение становится как бы основополагающим элементом «Гамлета». Потому что для краткости в театре не обязательно сокращать протяженность спектакля. Точность, которую актеры выработали на репетициях, вроде бы и не видна, но именно на ней покоится равновесие оркестровки, уже не скрывающейся от глаз зрителя (все, кто знаком с постановщиком, успели это заметить), — но что же тогда в «Гамлете» из режиссерского реквизита осталось скрытым? Идея, что спонтанность или инстинктивное воплощение не предшествует в театре *техническому* осуществлению смысла, материальной реализации дискурса, буквально разделенного между телами, здесь весьма ощутима. А значит, длительность в «Гамлете: в мини-версии» почти такая же, как бывает в четверостишии или в стихотворной строке: она возникает в экономичности, перемежающей насыщенное и стремительное хоровое повествование — «настоящими» монологами, в которых рассказанные темы вдруг как бы успевают умолкнуть и превратиться в фигуры и ощущения. Времени хватает не то чтобы на возврат к безграничному смыслу пьесы, но на то, чтобы напомнить о нем в этой компактной версии, дать если и не трактовку всех тем, то хотя бы их перечень.

С тех пор как Гамлет прочно поселился в нашем воображении, чтобы оживить его присутствие, там уже не нужно, в самом деле, тратить четыре с лишним часа и разыгрывать все сцены. Он и так является, как наваждение, и у пространства его драмы уозсть черепа, в котором пульсирует тоска, возникая при любом удобном случае. Здесь трупше, столь же непрофессиональной, как и та, которой Гамлет доверил свое «дело», удалось развернуть перед нами тридцатиминутное пространство, эту резонансную тень, в форме которой улавливается что-то человеческое и в которой постоянно обнаруживает себя смысл игры как театрального представления и обучения ему.

ТАНКРЕД РИВЬЕР

Перевод с французского Натальи Ликвинцевой

Европейцам нужна общая история

Коллоквиум в Колледже Бернардинцев

в Париже

20 и 21 мая 2016 года в Колледже Бернардинцев прошел коллоквиум под названием «Новое повествование о Европе. Становление европейского самосознания через призму множественных взглядов»^{*}.

Коллоквиум готовился в течение трех лет и был проведен под патронажем Европейской комиссии, в сотрудничестве со многими европейскими учреждениями и университетами, при участии около тридцати историков из 17 стран Европы.

Оригинальность подхода состояла в том, чтобы предложить открытое и не претендующее на окончательность повествование об истории европейского самосознания.

Прежде необходимо было напомнить, что термином «европейское самосознание» обозначается конкретно существующая реальность, и ее многоплановая история сегодня необходима европейцам для того, чтобы почувствовать себя единым целым и вместе справиться с теми задачами, которые ставит перед ними современность.

В этой перспективе на коллоквиуме упоминались три значимые фигуры современности.

«Обращение к народам Европы» Барака Обамы, произнесенное 25 апреля 2016 года в Ганновере, ставило своей целью предложить выход из кризисных ситуаций, в которых оказался европейский континент, начиная с русско-украинской войны и конфликта России и Европы, и заканчивая риском «брексита» и наплывом мигрантов с Ближнего Востока. Речи американского президента показывают, насколько важно для европейцев встретить взгляд со стороны, чтобы осознать самих себя как принадлежащих одной цивилизационной единице: «Я обращаюсь к вам, народы Европы, не забывайте, кто вы такие. Вы — потомки борьбы за свободу <...> Вы — Ев-

^{*} Сборник материалов конференции только что вышел в парижском издательстве Salvator: Antoine Arjakovsky (dir.), *Histoire de la conscience européenne*, Paris, 2016.

ропа, единая в своей многоликости. Ваши идеалы сформировали современный мир, и ваша сила — в единстве»^{*}.

Европейцам необходима общая история не только потому, что они формируют некое единство в глазах всего мира, но особенно потому, что без общих ориентиров они могут потерять свою идентичность. Это утверждение было сделано Херманом ван Ромпеем в Риме в 2011 году, в то время когда он был президентом Европейского союза. Он объяснил, что права человека не могут сами по себе являться базовой ценностью, на которой строится Европа. «Это означало бы соотносить человека исключительно с самим собой, а значит, неизбежно ограничить его, отделить, изолировать». Делая вывод, Херман ван Ромпей выражает мысль о том, что европейцам нужна «некая собственная душа», которая состояла бы в том, чтобы удержать и закрепить их достижения: равенство женщин и мужчин, политическая демократия, разделение государства и церкви, правовая интеграция в поликультурные общества. Он полагает, что именно любовь является фундаментом для примирения науки и самосознания. Итак, европейцам необходимо, как указывал еще Кьеркегор, обрести «добродетель любви, превосходящей время».

О том же говорил Папа Франциск в своем заявлении на Совете Европы 25 ноября 2014 года, а затем в Европейском парламенте в Страсбурге во время своего первого визита в столицу Европы. Он убежден, что только поиск исторической правды поможет выйти из тупика индивидуализма, угрожающего Европе. Чтобы идти к будущему, нужно прошлое. Необходимы глубокие корни. И еще необходима смелость, чтобы не прятаться перед вызовами настоящего. Нужны память, смелость, здоровая и человеческая утопия. Папа-аргентинец итальянского происхождения обладает достаточным опытом, чтобы объяснить заседающим в Европейском парламенте, что «корни питаются истиной, которая и является пищей, или живительным соком любого общества, стремящегося быть по-настоящему свободным, человеческим

^{*} <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/04/25/remarks-president-obama-address-people-europe>; см. также: <http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/26/the-guardian-view-on-obamas-hanover-speech-a-welcome-endorsement-of-european-unity-and-values>.

и солидарным». С другой стороны, по его словам, чтобы наступила истина, нужно воззвать к сознанию.

* * *

Обсуждения в ходе коллоквиума в Колледже Бернардинцев позволили проверить и подтвердить метод анализа истории, опираясь на разные точки зрения. Происходили настоящие словесные поединки между историками разных интеллектуальных, культурных и национальных традиций. Вместе с тем, именно в этих спорах выявились структуры, которые являются общими для европейского самосознания.

В частности, можно отметить споры между Люк ван Миделаар (Голландия) и Тая Вовк ван Гаал (Словения) о политическом значении исторического дискурса о европейской истории и о риске его инструментализации. Нора Репо (Финляндия) и Филипп Пуарье (Люксембург) выразили различные мнения о роли и месте ислама в истории европейского сознания, в частности, об уроках, которые можно вынести для современности.

Винсен Дюжарден (Бельгия) и Йоанна Новицки (Польша) составили два полярных повествования о создании Европы. Так, для Дюжарден 1945 год означает конец Второй мировой войны и начало создания Европы, в то время как для Новицки, конец Второй мировой войны наступил по-настоящему только в 1989 году, с падением Берлинской стены, и начало Европы наступает с интеграцией, в 2004 году, большинства европейских стран бывшего социалистического блока.

Все обсуждаемые темы показали, что история — наука живая, незаконченная, возобновляющаяся. Благодаря такому открытому, уважительному и аргументированному подходу постепенно выявляются точки соприкосновения различных мнений и ключевые моменты в определении некоторых структурных составляющих европейского самосознания.

Оригинальное видение европейцами единства в различиях уходит корнями в далекое прошлое. Неудивительно, что сегодня оно стало девизом Европы. Это видение соединяет в себе греческую любовь к универсальности, римское уважение к равночестности всех граждан, и иудео-христианское представление о трансцендентном Боге, Творце, едином и троичном, всемогущем и любящем.

История европейского самосознания также характеризуется постоянным колебанием между правовым государством и империалистическим видением мира. С одной стороны, европейцы установили различие между светской и церковной властью, попытались привлечь религии к участию в общем благе, были в поиске такой политической системы, где, при равенстве всех граждан, вертикальность власти позволяет превзойти различия. В то же время, наряду с любовью европейцев к свободе, история Европы знает и проявления колониального насилия, и неприятие инаковости.

Нет никакого сомнения в том, что для европейского самосознания характерны творческий порыв и любовь к научным открытиям. Для Жана-Франсуа Матейн европеец — это тот, кто пытается смотреть дальше. Именно эта характеристика всегда отличала его от других народов на протяжении всей истории, начиная с персов и других азиатских племен, несмотря на их географическую близость. В соответствии с мифом о похищении Зевсом богини Европы в Тире, европеец должен выделяться из своих соседей, вбирая самое лучшее.

Наконец, история европейского самосознания позволяет выявить оригинальную и амбивалентную концепцию любви и пола как основы равенства мужчин и женщин, а также их взаимодополняемости. Так, в течение веков сексуальность, осознанная и сублимированная, воспринималась как источник творчества. Любовь Данте к Беатриче — это путь в вечность. В то же время сексуальность обращалась в источник невроза и патологии в том случае, когда она подавлялась, достаточно вспомнить легенду о Тристане и Изольде и Шахерезаду.

АНТУАН АРЖАКОВСКИЙ

Перевод с французского Анастасии Илич-Бенке

Вечер памяти отца Сергия Гаккеля в Санкт-Петербурге

28 сентября 2016 года в музее Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге прошел вечер памяти протоиерея Сергия Гаккеля.

Вспоминая в приветственном слове о встречах с о. Сергием, директор музея Нина Ивановна Попова отметила, что его свидетельство о вере никогда не было направлено «в лоб». О том, что Бог есть, Церковь Христова существует и в Ней обретается Путь, Истина и Жизнь, свидетельствовал сам облик священника, его речь и поступки.

Бела встрече Юлия Валентиновна Балакшина — председатель Свято-Петровского братства, ученый секретарь Свято-Филаретовского института, доктор филологических наук. Батюшка несколько раз встречался со Свято-Петровским братством во время своих визитов в Петербург. Так как Отец Сергей был профессиональным литературоведом, специалистом по творчеству Александра Блока, в ходе одной из таких встреч Юлия Валентиновна расспрашивала его о концепции изучения творчества поэта. В этой связи она вспомнила о том, что о. Сергей обратил внимание на написание в поэме «Двенадцать» имени Иисус с одной «и», предположив на этом основании, что Блок имел в виду скорее двойника Христа, чем Самого Спасителя.

Большинство гостей вечера никогда не видели о. Сергия в жизни. Для них, благодаря замечательному питерскому режиссеру-кинодокументалисту Валентине Ивановне Матвеевой, продолжительное время снимавшей фильмы о митрополите Сурожском Антонии (Блуме) и православии на Британских островах, состоялся первый публичный показ 40-минутного интервью о. Сергия о создании и жизни Сурожской епархии. В свое время только маленький кусочек из этого интервью вошел в фильм «Встреча». Зал в глубоком молчании внимал рассказу священника о православии в Великобритании: о службах в подвале, молитвах на английском языке, отношениях с РПЦЗ, православными греками, англиканами и другими конфессиями. Словом, обо всем, что

составляло и составляет повседневную жизнь православия в Европе. И что совершенно незнакомо большинству жителей России, даже православных. Облик и голос священника — соединявшего в себе искреннюю веру и высокую культуру — очаровал публику. «Вишенкой на торте» стал показ нескольких черно-белых кадров из семейной хроники, со свадьбы о. Сергия. Зрители увидели прекрасную молодую пару: еще безбородого Сергея Гаккеля, настоящего денди, и его милую жену Кристину. А с ними — гладко выбритого молодого и красивого иеромонаха Антония (Блума). К сожалению, сама Валентина Матвеева не смогла быть на вечере по причине болезни.

После просмотра видеоинтервью Ю.В. Балакшина коротко познакомила присутствующих с биографией о. Сергия. Даже для давних знакомых батюшки в этом сообщении



*Отец Сергей Гаккель в день канонизации матери Марии
в вышитом его облачении. Париж, 2004 г. Фото А. Бурова*

содержались небольшие открытия. Так, некоторые впервые услышали, что мама о. Сергия стала монахиней.

О совместном участии в экуменических встречах вспоминал консультант ВСЦ протоиерей Владимир Федоров. «Я не могу назвать себя другом, но с первых секунд знакомства я всегда чувствовал к о. Сергию глубокую симпатию и полное доверие», — сказал о. Владимир. «Если наши оппоненты в церкви опасаются модернизма, то мы с о. Сергием остро чувствовали угрозу обскурантизма и угасания творческого духа», — подытожил свое выступление протоиерей.

Выступление автора этих строк было посвящено, главным образом, событиям 1997 года. В январе этого памятного года о. Сергей Гаккель участвовал в конференции «Богословие после Освенцима и Гулага. Иудео-христианский диалог» в Петербурге. Он единственный представлял Русскую православную церковь с первого и до последнего мгновения форума. Только позже к нему присоединились отцы Георгий Кочетков, Владимир Федоров и Георгий Митрофанов. В условиях тяжелого психологического давления о. Сергей мужественно выступал за развитие диалога и расширение православного участия в нем. А в июне 1997 года, когда в результате провокации о. Георгий Кочетков и 12 его активных прихожан были отлучены от причастия, о. Сергей первым пришел на помощь. В условиях бойкота со стороны почти всех светских и «церковных» СМИ, для защиты от клеветы, о. С. Гаккель предоставил слово о. Георгию в эфире радиостанции Би-би-си. Благодаря его инициативе, в защиту гонимых выступили митрополит Сурожский Антоний и Совет Церквей Великобритании.

Я говорил о канонизации матери Марии, свидетелем которой в Париже в мае 2004 года мне посчастливилось стать. Вспоминал, как служил о. Сергей в вышитом святой «народном» красно-белом облачении, как радостно обнимался с дочерью о. Дмитрия Клепинина Еленой, весело крича: «Получилось! Получилось!», как в конце дня он, усталый, послушно позировал для фото в этом облачении, вышитом матерью Марией.

Благодаря чудесам современной техники и Владимиру Викторову участники вечера смогли увидеть видеосюжет интервью ответственного секретаря редакции «Вестника РХД», доцен-

та Страсбургского университета Татьяны Викторовой. Живой и искренний рассказ Татьяны об о. Сергии как о друге, сотруднике и духовнике вызвал неподдельный интерес гостей вечера. Многие отметили, что, вспоминая о. Сергия, к концу интервью казавшаяся очень усталой Татьяна ожила буквально на глазах у зрителей.

Журналист и поэт Татьяна Вольтская живописала путешествия с о. Сергием по Англии и Северо-Западу России. Особенно ее тронуло совместное посещение Казанской церкви в Вырице. Едва переступив порог храма, о. Сергей исчез и через мгновение материализовался уже перед престолом. Это было очень органично. И как-то сразу стало ясно, что среди многочисленных занятий о. Сергия Гаккеля главным делом его жизни являлось священнослужение.

Завершил вечер кузен юбиляра, известный петербургский музыковед Леонид Евгеньевич Гаккель. По словам Леонида Евгеньевича, о. Сергей был одним из тех, кто оказал решающее влияние на становление его личности. Леонид Евгеньевич дополнил образ о. Сергия несколькими яркими мазками: батюшка никогда не предупреждал о своем появлении и не пользовался дверным звонком, предпочитая стучать кулаком в дверь. Вечером одного из дней работы январской конференции 1997 года Леонид Евгеньевич отвел о. Сергия в Мариинский театр на концерт Мстислава Ростроповича. Когда они зашли за кулисы, Мстислав Леопольдович и о. Сергей без лишних слов обнялись как старые друзья. Заканчивая свою речь, Леонид Евгеньевич не удержался от похвалы в собственный адрес: «Однажды мне удалось поучаствовать в добром деле, инициатором которого был не о. Сергей, — улыбнулся он, — а я: устроить с помощью Гергиева визит для семьи английских Гаккелей в Ковент-Гарден, где они раньше никогда не были из-за дороговизны билетов».

После окончания вечера памяти публика еще долго не хотела расходиться. Даже Нина Ивановна Попова изменила своей привычке исчезать сразу после приветственного слова. Несмотря на проблемы со здоровьем, она осталась до конца встречи. По мнению большинства участников, на протяжении всего вечера явственно ощущалось присутствие о. Сергия Гаккеля.

АЛЕКСАНДР БУРОВ

Рождение перевода. Рождение диалога

Вечер в YMCA-Press с Ж.-Л. Бакесом и Е. Белавиной

«Почтовые лошади просвещения», — писал когда-то о переводчиках Пушкин. Служение высокой цели делает их незаметными, почти прозрачными, главное — доставленный груз. Несмотря на то что именно через перевод почти всегда происходит первая встреча с другой страной и формирование основных представлений об иных народах, обычаях, временах, переводчик чаще всего остается в тени.

Однако в последнее время интерес к этим самоотверженным и влюбленным в свою работу людям начинает расти.

Встреча с переводчиком может открыть не только иностранную литературу, но и помочь иначе взглянуть на родную. Именно таким событием стал вечер с Жаном-Луи Бакесом и Екатериной Белавиной, организованный Татьяной Викторовой в культурном центре при издательском доме YMCA-Press 21 октября 2016 года.

Участники вечера — два преподавателя-филолога, казалось бы, принадлежат к противоположным переводческим школам.



*Татьяна Викторовая, Екатерина Белавина, Жан-Луи Бакес.
Париж, YMCA-Press, 21 октября 2016 г.*

Знаменитый переводчик Жан-Луи Бакес, почетный преподаватель Сорбонны, посвятивший всю жизнь сравнительному изучению французской и русской литературы, автор книг о русской поэзии, истории французского стиха и риторики, представляет особую школу перевода, вызывавшую прежде бурную полемику. Глубокое знание русского языка, точность и верность стилю в его переводах звучат на великолепном французском языке, не скованном формальными приращениями — «финальными звоночками» рифм. Ж.-Л. Бакесу принадлежат переводы Гомера, Гесиода, Шиллера, Пушкина, Блока, Ахматовой и др.

Екатерина Белавина, автор диссертации «Поэтика Поля Верлена и проблема творческого воображения» (2003), преподает французскую литературу на филологическом факультете МГУ им. Ломоносова. Поэт, член МГО Союза писателей России, переводчик, исследователь французской и русской поэзии XIX–XXI вв., она входит в жюри Леруа-Болье и Ваксмахера, премий за лучший перевод, учрежденных посольством Франции в Москве. Помимо практических и лекционных занятий, Екатерина Белавина руководит семинаром «Поэтика и фонетика», в котором поэтический язык рассматривается в свете знаний современной лингвистики. Эта переключка с ОПОЯЗом не случайна, ведь Роман Jakobson учился в свое время именно на филологическом факультете МГУ. Кстати, Ж.-Л. Бакес в студенческие годы приезжал на стажировку на тот же факультет.

Среди переведенных Екатериной Белавиной писателей — П. Верлен, М. Деборд-Вальмор, А. Моруа, Л. Арагон, и авторы наших дней, такие как Ф. Жакоте, Э.-Э. Шмитт, Ж.-М. Мольпуа и др. В своих переводах Екатерина особое внимание уделяет форме, соблюдению слоговой длины строки, альтернансу, «музыке стиха».

Однако основой творческого диалога было общее для обоих внимание и бережность к языку оригинала, как к драгоценности, и убежденность, что произведение раскрывается во множественности переводов, как сказали бы сегодня — объемно, в «3D».

По словам Екатерины Белавиной, перевод возникает зачастую как желание остаться подольше с любимым текстом и пережить в родном языке то же, что пережил автор.

В течение вечера на русском и французском языках прозвучали поэтические строки Лермонтова и Блока в переводах Ж.-Л. Бакеса; Верлена и Жакоте — в переводе Е. Белавиной. Главным открытием стали стихи Екатерины Белавиной в переводах Жана-Луи Бакеса, которые она называет заметками на полях своих филологических штудий.

Знакомство переводчика Бакеса с поэтом Белавиной началось со стихотворения, посвященного их общей теме — высокому искусству:

Рождение перевода

Naissance d'une traduction

Убийство собственного «Я», Короткий обморок «в другого»,	On tue son propre «moi» Pour un instant on s'évanouit dans l' «autre».
Слова иного жаждут слова, Переливаясь за края Иноязычья бытия.	Les mots ont soif d'autres mots. Ils passent par-dessus la digue Que la vie met entre les langues.
И против них нельзя бороться, Ты пишешь сгустками эмоций.	Contre eux on ne peut pas lutter. Tu écris avec des émotions coagulées
Их музыка — уже твоя.	Et leur musique est déjà la tienne.

Перевод с русского Ж.-Л. Бакеса

В этой форме диалога был построен весь вечер. Беседа касалась особенностей русской и французской поэтики и сложностей, возникающих при переводе, этапам становления переводчика, влиянию учителей и переводческих семинаров.

Вечер завершился неформальным общением гостей, среди которых были как известные специалисты по русской литературе, так и юные студенты-слависты, лишь осознающие свой путь и научное призвание.

Такие очаги общения, взаимопонимания и взаимоприятия особенно важны в нынешние непростые в области российско-европейских отношений времена. Необходимо, чтобы появлялись новые переводы, создающие прочные и реальные связи между культурами и людьми.

МАРИЯ КОНДРАТОВА

Два освящения

В июне 2016 года в Санкт-Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме прошли выставка и конференция, посвященные матери Марии (Скобцовой). В самом конце работы конференции ведущий профессор Свято-Филаретовского института Александр Михайлович Копировский неожиданно объявил: в ближайшем будущем пройдет два освящения во имя матери Марии. Часовни и храма. Часовня — в Финляндии, близ Хельсинки. Храм — во Франции, в лагере РСХД (ACER-MJO).

Финляндия

Если поездка на «французское» освящение была запланирована: мы получили официальное приглашение и собирались пару недель поработать в лагере в качестве добровольных помощников, — то известие о «финском» освящении было совершенным сюрпризом. Но ведь Финляндия гораздо ближе к Санкт-Петербургу, чем Франция: уложимся в один день. Мы посмотрели друг другу в глаза — в них было написано три слова: мать Мария зовет. Едем!

26 июня, четверг, ранняя утренняя маршрутка. К полудню мы уже в центре Хельсинки. Освящение часовни пройдет на территории православного культурного центра «София». Это пригород: конечная станция метро, дальше автобус или 40-минутная прогулка по живописному побережью Финского залива. Мы прибыли заблаговременно. Тишина. Никого. Характерных следов окончания строительства тоже нигде не наблюдается. Словно мы что-то перепутали. Гуляем, ждем, потихоньку собираются финны. Тревога нарастает — знакомых лиц не видно. Знали, что о. Хейкки Хуттуннен приехать не сможет — занят в Брюсселе, но надежда, вопреки рассудку, все же теплилась — а вдруг. Служить, конечно, по-фински, начали в домовый церкви центра «София». Предстоял митрополит Хельсинкский Амвросий (Яскеляйнен). Сооружение часовни во имя св. Марии Парижской — его инициатива и забота. Собралось около десятка священнослужителей и 80 мирян. К освящению была написана икона святой, новой

иконографии. В центре иконы в монашеском одеянии изображена в полный рост мать Мария, вдали видны очертания Эйфелевой башни, в клеймах — эпизоды ее жития.

После молитвы крестный ход покинул храм и двинулся в лес с пением. Всё по-фински. А мы-то ведь, кроме «Господи помилуй!», ничего не понимаем. На службе выручает знание чинопоследования, но проповеди ожидаем с беспокойством. Однако не теряем надежды — мать Мария не оставит. Слова песнопений звучали на фоне удивительной тишины, лишь изредка «нарушаемой» пением птиц, шелестом деревьев и плеском воды. Мы шли к часовне. Она — маленькая, деревянная, с крылечком и куполочком — удивительно гармонировала с окружающей природой.

И вдруг одна дама рядом со Светланой что-то быстро говорит вполголоса соседке по-русски! Вот оно, не оставила мать Мария. Улучив момент, Света просит помощи; «Приехали из Питера, хочется понять, что говорят, — поможете?» В ответ: «Конечно, попробуем!» Начинаем молиться у часовни. Читают Евангелие. Владыка произносит слово. Затем освящает икону. Оказывается, ее несла автор. Икону кладут на аналой, можно приложиться (правда, часовня вмещает одновременно не более 15 человек). После молитвы всех богомольцев приглашают к трапезе: скромный финский шведский стол. Мы уже разговорились с нашими переводчицами. Они родом из российской глубинки. Давно живут в Хельсинки. И вдруг одна из них говорит: «Ой! Так мы же виделись в Питере. Я же была на конференции о матери Марии. Специально приезжала. Ну, надо же!»

За трапезой объявилась и еще одна участница конференции — директор Института Финляндии в Санкт-Петербурге Элина Кахла. Она представила нас владыке и попросила рассказать о выставке ранних художественных работ матери Марии, представленных этим летом в Петербургском музее Анны Ахматовой, с тем чтобы те, кто окажется в Питере, непременно посетили экспозицию. Всего через пару недель Светлана провела экскурсию для группы гостей из Финляндии. Элина Кахла — автор труда о святых православных женщинах и очень чтит мать Марию. Написала небольшой очерк о ней для православных финнов.

Элина — известный переводчик русской литературы на финский и прекрасно говорит по-русски. Она познакомила нас с автором иконы Майлой Мякинен. Майла спросила: действительно ли мать Мария после смерти дочери провела несколько дней в храме. Мы рассказали то, что прочли в книге Доминик Десанти: мать Мария, узнав о смерти Гаяны, уехала в основанное ею общежитие для туберкулезных больных в Нуази-ле-Гран и находилась там месяц, запершись в комнате. А во время панихиды в храме она простерлась на полу. «Может быть, я это включу в свою икону», — сказала на прощание художница.

Вечерняя маршрутка увозила нас обратно. А в памяти осталась удивительная тишина и ощущение благодати, наполнявшие часовню святой преподобномученицы Марии Парижской в православном культурном центре «София» близ Хельсинки.

Франция

А «французское» освящение было совсем другим. Как вступление оркестра после скрипки. В разгар лета в лагере полно народу: 150 детей и около 30 взрослых. На праздник освящения приехали ветераны РСХД: дедушки, бабушки и родители нынешних юных движенцев. В окрестных городках были заняты все гостиницы, на полянках по соседству выросли палатки. Для освящения движенского храма прибыл сам архиепископ Хариопольский Иоанн (Ренето). Храм во имя небесного покровителя Движения св. равноапостольного князя Владимира был освящен уже давно, со времен переезда лагеря в 1980-х. Но в последние два года проводился ремонт: построили крыльцо с широкими дверями, поменяли крышу (старая совсем прохудилась), подновили фрески. И решили: освятить не только во имя св. князя Владимира Крестителя Руси, но и во имя преподобномученицы Марии Парижской, движенки, которую во Франции очень любят и чтят.

Владыка Иоанн это намерение поддержал и даже сам захотел поговорить с детьми и молодежью о ней и о ее пути. Встреча проходила в храме. На солее расположились владыка, Александр Викторов и Лидия Оболенская-Д'Алуазио. Владыка говорил о матери Марии и ее служении. Лидия —

о св. Владимире. Удивительно, с каким вниманием дети, сидя прямо на полу (они обычно именно так слушают проповеди в храме), впитывали эти слова. Бывший председатель РСХД Александр Викторов, бессменный хранитель и устроитель лагеря, поблагодарил поименно всех помощников по ремонту храма.

Потом служили Всенощную. Спускали флаги и готовились к литургии. А литургия утром была необыкновенная. Предстоял Владыка, а сослужили о. Даниил Кабаньольс, о. Иоанн Гейт, о. Сергей Соллогуб, о. Николай Гаригу и диакон Ришар Во. О. Христофор Д'Алуазियो* молился с народом. Пел весь храм. Причащали из нескольких чаш.

Праздник закончился веселым обедом, традиционным футбольным матчем, пением русских песен (детьми, не говорящими по-русски)... Мать Мария собрала и объединила американцев, бельгийцев, итальянцев, русских, французов, швейцарцев... Было ощущение продолжающейся Пятидесятницы — того праздника, с которого началась история Русского студенческого христианского движения.

СВЕТЛАНА И АЛЕКСАНДР БУРОВЫ

* Номер уже верстался, когда мы получили радостное известие — в канун Рождества Христова владыка Иоанн (Ренето) снял запрет на служение с о. Христофора Д'Алуазियो, наложенный архиепископом Иовом (Геча). Поздравляем о. Христофора, его семью и прихожан!



IN MEMORIAM



Памяти Марии Владимировны Лосской-Семон *13.05.1934 – 8.06.2016*

8 июня 2016 г. скончалась Мария Владимировна Лосская, дочь Владимира Николаевича Лосского и Магдалины Исааковны Шапиро, родившихся в России в начале прошлого века.

Владимир Николаевич Лосский был старшим сыном философа Николая Онуфриевича Лосского и внуком Марии Николаевны Стоюниной, основательницы известной гимназии в Петербурге, и Вл. Стоюнина, литературного критика. Семейство Лосских было изгнано из России в 1922 г. на так называемом «философском пароходе » вместе с цветом русской интеллигенции.

Магдалина Исааковна Шапиро была родом из еврейской либеральной семьи, высокообразованной и музыкальной. Сама М.И. не только свободно говорила на немецком, английском и русском, но и знала наизусть пьесы Шекспира и стихи Гете и Рильке. Семья была в родстве с философом Львом Шестовым и с поэтессой Раисой Блох-Горлин и ее мужем Михаилом Горлиным, литературным критиком: оба погибли в нацистских лагерях. Семья Шапиро сначала эмигрировала в Китай и Японию, затем в Берлин, Вену и Братиславу, и, наконец, очутилась в Париже. М.И., видимо, под влиянием разных христианских школ, где она училась, крестилась в возрасте 16 лет.

Родители М.В. Семон познакомились в конце двадцатых годов на Сергиевском подворье.

Семья Лосских устроилась в самом центре Парижа. М.В. всегда говорила, что их последняя квартира на улице острова Святого Людовика (дом 6), где недавно повесили табличку в честь Владимира Лосского, была не только местом исключительных встреч, но и постоянной радости: Владимир Николаевич и Магдалина Исааковна принимали у себя выдающихся французов-интеллигентов, многие из которых были католиками.

Такой семейный бэкграунд, где привязанность к православной вере была неотделима от уважения к католической религии французской земли, избранной и любимой, несомненно, оказал сильное влияние на судьбу М.В. В годы обучения на русском отделении филологического факультета Сорбонны она встретила будущего супруга, Жан-Поля Семона, который впоследствии стал выдающимся лингвистом.

Исследования самой Марии Владимировны главным образом сосредоточились вокруг творчества Льва Толстого, которому она посвятила свою докторскую диссертацию «Женщины в творчестве Льва Толстого» (изд. Славянского Института в Париже, 1984). Работа была награждена премией Французской Академии.

В творчестве Толстого М.В. Лосская обращала внимание на то, что сам писатель отвергал в своих религиозных сочинениях, но, по мысли М.В., словно против своей воли, передавал, благодаря своему искусству, космическое и священное восприятие мира. Ту же черту М.В. обнаружила и у других русских писателей. Она опубликовала на эту тему книгу «Святыня и кощунство: анализ русской литературы XIX и XX века» (YMCA-Press, 2002). Адресат последней книги — французский читатель, которому М.В. хотела передать свое видение великой русской литературы и свидетельство о христианской вере.

Это желание *передавать* останется прежде всего в памяти о Марии Владимировне. Она всегда стремилась поделиться с собеседником своей любовью к искусству и литературе. В этой любви она видела тот дар, которым можно делиться с близкими, детьми и внуками, верующими и новообращенными в православном Париже. Это проявлялось во встречах,

порой с незнакомыми людьми в автобусах или магазинах; в разговорах, которые незаметно касались самых заветных вопросов бытия.

М.В. скончалась скоропостижно и перед смертью просила всех не забывать ее в своих молитвах.

ЕЛИЗАВЕТА СЕМОН ДЕ РУСИ,
старшая дочь Марии Владимировны

Перевод с французского Вероники Лосской

Об архимандрите Викторе (Мамонтове)*

Отец Виктор Мамонтов был похож на ожившую икону. Иконный образ неподвижен — но почему-то было совершенно ясно, что, выйди этот образ к нам, у него были бы такие движения рук, такой шаг, такая улыбка, как у отца Виктора. Конечно, я имею в виду прежде всего образы рублевского письма. Что, заговори этот образ, его голос звучал бы, как у отца Виктора: удивительное звучание, в котором нет ни йоты насилия или вторжения в слух собеседника. Это звучание скорее приглашало в себя, чем устремлялось к тебе. И приглашало очень бережно, «на расстоянии двух свобод». Формулу о двух свободах отец Виктор любил и часто повторял: так должны строиться, говорил он, отношения между человеком и человеком, взрослым и ребенком, человеком и Богом. С детьми у отца Виктора были самые доверительные отношения. Звери и растения отвечали ему взаимностью. Где-то у меня хранится его фотография с моим котом Шарлем на плече: они смотрят друг на друга с тихим восторгом. Есть фотография в азаровском саду, на которой он смотрит на старую антоновку и на Федю Василюка, собирающего с нее яблоки: о. Виктор явно хочет помочь Феде собирать яблоки и не свалиться с дерева, а яблоне — отдавать их и держать Федю. О. Виктор собрал и издал молитвы старца Силуана — наверное, этот образ святости был для него самым близким. И, конечно, о. Тавриона Батозского, у которого он проходил ученичество.

Каждый, кому довелось видеть отца Виктора вблизи, согласится: он был воплощенным благословением. Ты видел в нем самую милость Божию, обращенную к тебе лично. Когда он передавал тебе какую-нибудь конфету за столом, это чувствовалось не меньше, чем когда он помазывал елеем на соборовании.

Мы встретились впервые в Италии, в монастыре Бозе, на конференции, посвященной русской святости. Он первым подошел ко мне и заговорил, сказал, что давно меня (то

* Текст памяти отца Виктора (Мамонтова) (1938–2016) был опубликован на интернет-портале «Православие и мир» (Правмир.ру) 8.11.2016.

есть мои сочинения) любит. Я помню его смешную фразу. Заметив некоторое замешательство гостей из России перед трапезой (был какой-то постный день), он сказал: «Я давно понял, что есть можно все кроме табуреток». Все знают, что сам он при этом почти не ел, и его желание относительно еды за трапезой в его приходе в Карсаве было, чтобы она была разноцветная. Он угощал: «А теперь вот этого зеленого возьмите! И вот этого желтого!» В Бозе в то время жил греческий епископ на покое, и за столом он сказал: «А его (о. Виктора) мы не отпустим! C'est un bijou!» И еще бы: приглашенные делали доклады о русской святости, а отец Виктор был сама эта святость, с головы до пят. Владыка Антоний Сурожский тоже в свое время приглашал о. Виктора перебраться к нему в Лондон. Может быть, и другие его приглашали... Но о. Виктор отказывался: он не хотел оставить «своих».

С тех самых пор, с Бозе, мы постоянно поддерживали связь с о. Виктором. Он с посыльными присылал мне гостинцы: латышский сыр, копченых рыбешек, кедровые орешки. На орешках он особенно настаивал, велел мне есть их каждый день. «Они добавляют то, чего не хватает во всей остальной еде», — уверял он.



Архимандрит Виктор (Мамонтов) и О.А. Седакова. Москва, Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». Первая международная конференция по наследию митрополита Антония Сурожского. Сентябрь 2007 г.

Мы склонны думать, что человек такого рода, почти бесплотный, погруженный в иное и лучшее, отвлечен от обыденности. От своей — да, но от обыденности другого, как я увидела по отцу Виктору, совсем нет. В гостях у меня он мимоходом задал мне несколько странных вопросов: как я плачу за квартиру и еще что-то в этом роде. Через некоторое время у меня появилась Марина Копылова, его духовная дочь, и сказала, что батюшка поручил ей помогать мне в практических вещах. Видимо, из моих ответов он понял, что у меня это плохо получается. И жизнь моя — с Мариной — переменялась.

Его тихость обладала укрощающей силой. Однажды я пришла на его выступление в Москве из коммунального ада. У меня прорвались трубы в квартире, соседи снизу справедливо бушевали, а сантехника вызвать человеческими силами было невозможно. В разодранных чувствах я поднималась по лестнице. И тут в громкоговорителе раздался голос о. Виктора. Говорил он о Достоевском, но это несущественно. От одного его голоса весь ужас, гнев и отчаянье у меня внутри исчезли. Я думаю, своей тишиной он мог укротить любую бурю, внутреннюю и внешнюю.

Я могла бы еще много рассказать о его удивительных благодеяниях. Но пока кончу на таком. Однажды он навестил меня в Азаровке и почему-то захотел пройтись по поселку (коттеджному поселку, который недавно там появился). Владельцы коттеджей тогда только начинали «возвращаться в церковь». Но вид отца Виктора, который шел, почти не касаясь земли, и излучал совершенно нездешнюю благожелательность, впечатлил их. Многие выходили из-за заборов, хотели его увидеть поближе. О. Виктор каждого благословлял и благодарил: «Спасибо, что вы так хорошо относитесь к нашей Оле!» Я не сразу поняла, что он благодарил за будущее.

Отец Виктор любил, как он говорил, божественный дар свободы. И он ей обладал в высшей степени, свободой чад Божиих. Для него не было своих и чужих. Все перегородки для него мало что значили. Как у него это получалось — понять так же трудно, как то, что можно войти «дверем затворенным». Потому что двери у нас в самом деле затворены, и замки повешены, и установлено видеонаблюдение.

Дорогой отец Виктор, не забывайте нас, пожалуйста!

ОЛЬГА СЕДАКОВА



Александров Виктор Владиленович (Будапешт, Венгрия). Род. в 1968 г. в Орле. Закончил истфак МГУ, учился на отделении средневековых исследований в Центральноевропейском университете в Будапеште. Доктор философии (2004). Автор англоязычной книги по истории источников средневекового права и ряда статей о богословии о. Николая Афанасьева. Издатель сборника работ о. Николая Афанасьева «Церковь Божия во Христе» (М.: ПСТГУ, 2015).

Балакшина Юлия Валентиновна (Санкт-Петербург). Доктор филологических наук, магистр богословия, преподаватель СФИ.

Буров Александр Анатольевич (Санкт-Петербург). Окончил юридический факультет СПбГУ (1992) и Свято-Филаретовский институт (2002). Работал юристом, журналистом (зам. главного редактора газеты «Кифа», 2002–2008), в настоящее время старший научный сотрудник Санкт-Петербургского Государственного музея истории религии. Представитель «Вестника» в Санкт-Петербурге.

Бычков Сергей Сергеевич (Москва). Писатель, публицист, историк церкви, доктор исторических наук, издатель собрания сочинений Георгия Федотова.

Протоиерей Владимир Зелинский (Брешия, Италия). 1942 г.р. Православный священнослужитель, настоятель церкви во имя иконы Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радость в г. Брешии, писатель, богослов. Член редколлегии и постоянный автор «Вестника». Окончил филологический факультет МГУ.

Гасак Дмитрий Сергеевич (Москва). Первый проректор СФИ, председатель Преображенского братства.

Гашкова Дана (Прага). Научный сотрудник Славянского института Академии наук Чехии.

Протоиерей Живко Панев (Париж). Православный священнослужитель, доцент парижского Свято-Сергиевского богословского института, главный редактор французского православного сайта Orthodoxie.com.

Священник Игнатий Крекшин (Германия). Род. в 1956 г. в Москве. Окончил МГУ (кафедра истории и теории искусства истфака) и Высшую философскую школу в Мюнхене. Священник католической епархии Роттенбург-Штутгарт (Германия). Автор многочис-

ленных публикаций по истории искусства, богословию, философии. Переводчик с немецкого и французского.

Кондратова Мария (Париж). Научный работник, писатель, сценарист. В настоящее время работает в Институте Кюри (Париж), занимается молекулярной биологией рака.

Кырлежев Александр Иванович (Москва). Историк церкви, публицист, научный сотрудник Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия, научный консультант Синодальной богословской комиссии РПЦ.

Лавренова Мария Владимировна (Тверь). Бакалавр теологии, выпускница СФИ, член Свято-Мариинского братства.

Леонидов Виктор Владимирович (Москва). Автор и исполнитель песен, специалист по истории и культуре русского зарубежья, кандидат исторических наук, главный библиограф Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.

Ликвинцева Наталья Владимировна (Москва). Окончила философский факультет МГУ, филологический факультет Университета г. Тура (Франция). Кандидат философских наук. Ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.

Лопухин Григорий (Париж). Актер, режиссер, исследователь театра. Внук Н.А. Струве.

Нива Жорж (Женева). Французский историк литературы, славист, профессор Женевского университета, автор книг и статей об Александре Солженицыне, русской литературе, России и Европе.

Нивьер Антуан (Париж). Историк церкви и русской религиозной мысли, доктор филологических наук, профессор Университета Нанси II, заведующий кафедрой русского языка и литературы.

Раевская-Хьюз Ольга (США). Профессор русской литературы Университета Беркли (США).

Седакова Ольга Александровна (Москва). Русский поэт, прозаик, филолог, богослов, переводчик, лауреат многочисленных литературных премий. Кандидат филологических наук, почетный доктор богословия Европейского гуманитарного университета, академик Амвросианской академии. Работает старшим научным сотрудником Института истории и теории мировой культуры МГУ.

Финк Мишель (Страсбург). Французский поэт, переводчица на французский поэзии Р.М. Рильке, Г. Тракля, П. Целана, ученица Ива Бонфуа. Профессор Страсбургского университета в области компаративистики.

СОДЕРЖАНИЕ



От редакции	3
-------------	---

ПАМЯТИ НИКИТЫ АЛЕКСЕЕВИЧА СТРУВЕ

Слова памяти

Слово после отпевания Никиты Алексеевича Струве	
— <i>Наталья Солженицына</i>	9
Памяти Никиты Струве	— <i>Ольга Раевская-Хьюз</i> 11
Памяти Никиты Алексеевича Струве	— <i>Пьер Морель</i>
(перевод Татьяны Викторовой)	13
Из воспоминаний о Никите Струве	— <i>Жорж Нива</i>
(перевод Татьяны Викторовой)	19
Н.А. Струве — издатель С.А. Клычкова (из воспоминаний о Н.А. Струве)	— <i>Мишель Никё</i> 27
Памяти Никиты Алексеевича Струве	— <i>Ольга Седакова</i> 34
«Мне очень больно...»	— <i>Светлана Носова</i> 40
Воспоминания о Никите Алексеевиче Струве	
— <i>Михаил Соллогуб</i>	42
Жизнь в верности	— <i>прот. Михаил Аксенов-Меерсон,</i>
	<i>прот. Владимир Зелинский</i> 45
Памяти Никиты Струве	— <i>свят. Франсуа Брюн</i>
(перевод Натальи Ликвинцевой)	52
«Вестник» — это Никита Алексеевич Струве	
— <i>свят. Георгий Кочетков</i>	54
«С большим трудом я сел за стол...»	— <i>свят. Иоанн Привалов</i> 63
Беседа о Н.А. Струве в рамках радиопередачи «Град Петров» (15 июня 2016, Санкт-Петербург)	
(с <i>Мафиной Михайловой</i> беседуют <i>Дмитрий Гасак,</i> <i>Татьяна Викторова и Юлия Балакишина</i>)	67

Об отношении к смерти

- Смерть и смысл (глава из книги «Мировоззрение
Солженицына») — *Оливье Клеман*
(перевод Натальи Ликвинцевой) 73

Вечера памяти Н.А. Струве

- «Сохрани мою речь...»:
вечер памяти Никиты Струве в Москве — *Виктор Леонидов* 91
- «Он сам был вестником Русского христианского движения»:
вечер памяти Никиты Струве в Санкт-Петербурге — *Мария Лавренова* 94
- Жизнь. Книги. Время: вечер памяти Никиты Струве
в Париже — *Мария Кондратова* 98

Из архивов Н.А. Струве

- Письмо Никиты Алексеевича Струве к Александру
Исаевичу Солженицыну (1992) 101

БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ

- Церковь и мир: один путь — *митрополит Антоний Сурожский*
(перевод и публикация Елены Майданович) 116
- О богословии детства — *прот. Владимир Зелинский* 122
- Церковь и право: критика Московского собора
1917–18 годов в богословии отца Николая Афанасьева — *Виктор Александров* 135

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

- Беседа с архиепископом Иоанном (Ренето) — *прот. Живко Панев*
(перевод монаха Михаила Эвельсона) 148

ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

- «Сталин с нами?» — *Жорж Нива*
(перевод Натальи Ликвинцевой) 158

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

- Молчание Светланы Алексиевич и одиночество человека
— *Ольга Седакова* 187
- Выход за пределы нормы: философские глоссы
к «Поэзии Осипа Мандельштама» Пауля Целана
— *свящ. Игнатий Крекшин* 199
- Памяти Ива Бонфуа (1923–2016)*
- Приношение Иву Бонфуа — *Филипп Жакоте*
(перевод и послесловие Ольги Седаковой) 220
- Стихи (из разных книг) — *Ив Бонфуа*
(перевод Марка Гринберга) 229
- Выгнутые доски — *Ив Бонфуа*
(перевод Татьяны Ромашиной) 231
- Ив Бонфуа, или Вера в силу поэзии — *Мишель Финк*
(перевод Татьяны Викторовой) 234

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

- К 70-летию со дня кончины митрополита Евлогия*
- Из переписки митрополита Евлогия (Георгиевского)
в эмиграции
— (публикация и примечания Антуана Нивьера) 239
- К 120-летию со дня рождения*
архимандрита Софрония (Сахарова)
- Из переписки архимандрита Софрония (Сахарова)
с писателем Николаем Боковым
(публикация Сергея Бычкова) 277
- Биографический лексикон русской межвоенной
эмиграции в Чехословакии — *Дана Гашкова* 285

АНКЕТА ВЕСТНИКА

- Ответы Сергея Чапнина (Москва) и прот. Владимира
Зелинского (Брешия); Виталия Амурского, Антуана
Аржаковского (Париж), Ирины Языковой (Москва) 289

В МИРЕ КНИГ

- Пасхальный свет на улице Дарю: Дневники Петра
Евграфовича Ковалевского 1937–1948 годов
— *Александр Кырлежев* 301
- Сквозь тернии. «Чертополох» Максима Кантора — апология
христианского гуманизма в европейском искусстве
— *Мария Кондратова* 305
- Александр Корноухов. История жизни мозаик капеллы
Redemptoris Mater — *Наталья Ликвинцева* 311
- Marina Tsvetaieva. Poésie lyrique* — *Виктор Леонидов* 314
- Новое исследование о Мережковском — *Анна Мещерякова* 317

ХРОНИКА

- Съезд РСХД в Луази — *Виктор Александров* 325
- «Гамлет в мини-версии»: о театре-тексте на перекрестке
мнений — *Григорий Лопухин, Илья Асланов, Танкред Ривьер*
(перевод Анастасии Илич-Бенке, Натальи Ликвинцевой) 328
- «Европейцам нужна общая история».
Коллоквиум в Колледже Бернардинцев в Париже
— *Антуан Аржаковский*
(перевод Анастасии Илич-Бенке) 343
- Вечер памяти отца Сергея Гаккеля в Санкт-Петербурге
— *Александр Буров* 347
- «Рождение перевода. Рождение диалога».
Вечер в YMCA-Press с Ж.-Л. Бакесом и Е. Белавиной
— *Мария Кондратова* 351
- Два освящения — *Светлана и Александр Буровы* 354

IN MEMORIAM

- Памяти Марии Владимировны Лосской-Семон (1934–2016)
— *Елизавета Семон де Руси* (перевод Вероники Лосской) 358
- Об архимандрите Викторе (Мамонтове) — *Ольга Седакова* 361
- Коротко об авторах 364

SOMMAIRE



Éditorial	3
-----------	---

IN MEMORIAM NIKITA STRUVE

Allocution prononcées aux funérailles de Nikita Struve	
— <i>Natalia Soljenitsyne</i>	9
In memoriam Nikita Struve	— <i>Olga Raevsky Hughes</i> 11
In memoriam Nikita Struve	— <i>Pierre Morel</i>
(traduit par <i>Tatiana Victoroff</i>)	13
Souvenirs de Nikita Struve	— <i>Georges Nivat</i>
(traduit par <i>Tatiana Victoroff</i>)	19
N. Struve, éditeur de S.A. Klytchkov	— <i>Michel Niqueux</i> 27
In memoriam Nikita Struve	— <i>Olga Sedakova</i> 34
«J'ai très mal...»	— <i>Svetlana Nosova</i> 40
Souvenirs de Nikita Struve	— <i>Michel Sollogoub</i> 42
Une vie dans la fidélité	— <i>archiprêtres Michel Aksenov-Meerson</i>
et <i>Vladimir Zelinsky</i>	45
In memoriam Nikita Struve	— <i>père François Brune</i>
(traduit par <i>Natalia Likvintseva</i>)	52
Le Messenger, c'est Nikita Struve	— <i>prêtre George Kotchetkov</i> 54
«Je me suis assis à ma table avec beaucoup de peine...»	— <i>prêtre Jean Privalov</i> 63
Entretien sur Nikita Struve à la radio «Grad Petrov»	
(15 juin 2016, Saint-Petersbourg), <i>Dmitri Gasak,</i>	
<i>Tatiana Victoroff et Youlia Balakchina,</i>	
propos recueillis par <i>Marina Mikhaïlova</i>	67

Le thème de la mort

- La mort et le sens (chapitre du livre *L'Esprit de Soljenitsyne*,
Paris, 1974) — Olivier Clément 73
(traduit par Natalia Likvintseva)

Soirées à la mémoire de N. Struve

- «Conserve ma parole...»: soirée à la mémoire de Nikita Struve,
Moscou, 15 juin 2016 — Viktor Leonidov 91
«Il était lui-même le messager du Mouvement chrétien russe»:
soirée à la mémoire de Nikita Struve, Saint-Petersbourg,
16 juin 2016 — Maria Lavrenova 94
Une vie, des livres, le temps: soirée à la mémoire
de Nikita Struve, Paris, 30 septembre 2016
— Maria Kondratova 98

Archives de N. Struve

- Lettre de Nikita Struve à Alexandre Soljénitsyne (1992) 101

THÉOLOGIE, PHILOSOPHIE

- L'Église et le monde: un seul chemin
— métropolite Antoine de Souroge
(traduction et publication d'Elena Maïdanovitch) 116
De la théologie de l'enfance — archiprêtre Vladimir Zelinsky 122
L'Église et le droit: critique du Concile de Moscou (1917-18)
dans la théologie du père Nicolas Afanassieff
— Viktor Aleksandrov 135

LA VIE DE L'ÉGLISE

- Entretien avec l'archevêque Jean Renneveau
— *propos recueillis par le père Jivko Panev*
(traduit par Mikhaïl Evelson) 148

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

- «Staline est avec nous?» — Georges Nivat
(traduit par Natalia Likvintseva) 158

LITTÉRATURE ET ARTS

- Le silence de Svetlana Aleksievitch et la solitude de l'homme
— *Olga Sedakova* 187
- Dépassement des limites de la norme: «Poésie d'Ossip
Mandelstam» de Paul Celan, gloses philosophiques
— *prêtre Ignace Krekchine* 199
- In memoriam Yves Bonnefoy (1923–2016)*
- Offrande à Yves Bonnefoy — *Philippe Jaccottet*
(traduction et postface d'Olga Sedakova) 220
- Poèmes extraits de différents recueils — *Yves Bonnefoy*
(traduits par Mark Grinberg) 229
- Planches courbes — *Yves Bonnefoy*
(traduit par Tatiana Romachkina) 231
- Yves Bonnefoy ou la foi dans la force de la poésie — *Michèle Finck*
(traduit par Tatiana Victoroff) 234

HISTOIRE DE L'ÉMIGRATION RUSSE

70^e anniversaire de la mort du métropolite Euloge

- Lettres du métropolite Euloge dans l'émigration
— (publication et commentaires d'Antoine Nivière) 239
- 120^e anniversaire de la naissance
de l'archimandrite Sophroni (Sakharov)*
- Correspondance de l'archimandrite Sophroni (Sakharov) avec
l'écrivain Nikolas Bokov (publication de Sergueï Bytchkov) 277
- Répertoire biographique de l'émigration russe entre les deux
guerres en Tchécoslovaquie — *Dana Gachkova* 285

ENQUÊTE DU MESSAGER

- Réponses de Sergueï Tchapnine (Moscou) et de l'archiprêtre
Vladimir Zelinsky (Brescia); de Vitaly Amoursky,
Antoine Arjakovsky (Paris), Irina Yazykova (Moscou)* 289

LE MONDE DES LIVRES

- Lumière pascale rue Daru: Journaux de Piotr Evgrafovitch
Kovalevsky (1937-1948) — *Aleksandr Kyrlejev* 301

À travers les épines: <i>Chardons</i> de Maxime Kantor, apologie de l'humanisme chrétien dans l'art européen	— <i>Maria Kondratova</i>	305
Alexandre Kornoukhov: histoire de la vie des mosaïques de la chapelle <i>Redemptoris Mater</i>	— <i>Natalia Likvintseva</i>	311
Marina Tsvetaïeva, poésie lyrique	— <i>Viktor Leonidov</i>	314
Nouvelle étude sur Merejkovski	— <i>Anna Mechtcheriakova</i>	317

CHRONIQUES

Congrès de l'ACER-MJO à Loisy	— <i>Viktor Aleksandrov</i>	325
«Hamlet Poche: vers un théâtre du texte».		
Au carrefour des opinions	— <i>Grégoire Lopoukhine, Elie Aslanoff, Tancrede Rivière</i> (traduit par Anastasia Ilitch-Benke et Natalia Likvintseva)	328
«Les Européens ont besoin d'une histoire partagée», colloque au Collège des Bernardins à Paris	— <i>Antoine Arjakovsky</i> (traduit par Anastasia Ilitch-Benke)	343
Soirée à la mémoire du père Serge Hackel à Saint-Petersbourg	— <i>Aleksandr Bourov</i>	347
«Naissance de la traduction, naissance du dialogue»: soirée aux Éditeurs Réunis avec J.-L. Backès et E. Belavina	— <i>Marie Kondratova</i>	351
Deux consécérations	— <i>Svetlana et Aleksandr Bourov</i>	354

IN MEMORIAM

In memoriam Marie Lossky-Sémon (1934–2016)	— <i>Elisabeth de Roussy-Sémon</i> (traduit par Véronique Lossky)	358
L'archimandrite Viktor (Mamontov)	— <i>Olga Sedakova</i>	361
Notices sur les auteurs		364

Представители «Вестника»

США и КАНАДА

Natalia Ermolaev
Fr. Georges Florovsky Orthodox Christian Theological Society
Princeton University
Princeton, NY 08540
e-mail: nataliae@princeton.edu

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Olga Pattison
5 Rectory Crescent, Middle Barton,
OXON, OX 77 BD, UK
e-mail: olga.pattison@talk21.com

НИДЕРЛАНДЫ

диакон Дмитрий Довгер
Drususstraat 34, 2025BS Haarlem
The Netherlands
Tel. +31 6 23549014
e-mail: ddovger@gmail.com

ИТАЛИЯ

Dott. Vladimir Keidan,
Via Grimaldi Casta, 41, 00122 Roma, Italia
e-mail: v.keidan@mail.ru

ФИНЛЯНДИЯ

Елизаветинское сестричество
Elisabetian sisaristo
PL 120 Turku 20701 Finland – Suomi
tel. +358 40 734 7549
e-mail : elsisari@gmail.com

РОССИЯ

Москва

Смирнова Алина Владимировна
109240, Москва,
ул. Нижняя Радищевская, д. 2
тел. +7 (495) 915 10 47
vestnikrhd@mail.ru

Санкт-Петербург

Буровы Александр и Светлана
197375, Санкт-Петербург
ул. Вербная, д. 19/1, кв. 121
Тел. +7 (812) 230 77 12, +7 921 347 66 88
e-mail: aburov05@rambler.ru

Екатеринбург

Иванова Оксана Витальевна
620041, Екатеринбург
ул. Уральская, д. 57/2, кв. 171
тел. +7 965 5466075
e-mail: ox0517@gmail.com

Воронеж

Дьякон Павел Строков
394000, Воронеж,
ул. Димитрова, д. 2, кв. 45
e-mail: d.p.strokov@gmail.com

Чувашская Республика

Спиридонова Людмила Сергеевна
Центр православной книги «Радонеж»
Национальная библиотека Чувашской Республики,
Чувашская Республика, 428000.
г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15
e-mail: sekretar@publib.cbх.ru

БЕЛОРУССИЯ

Минск

Дмитрий Строщев
220030, Минск,
ул. Карла Маркса, 20-13
тел. +37 529 771 1473
e-mail: dstrotsev@tut.by

Гомель

Свято-Никольский мужской монастырь
Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви
246014, Республика Беларусь, Гомель, ул. Д. Бедного, 4
тел. деж. + 375 232 952335, тел./ факс + 375 232 719292
e-mail: gomelmonastery@mail.ru

УКРАИНА

Киев

Вадим Залевский, изд. «Дух и литера»
04070, Киев,
Ул. Волошская, д. 8/5, корп. 5, кв. 210
Тел. (044) 416 60 20
e-mail: franc@ukma.kiev.ua

Николаев

Шполянский Илья Михайлович
54001, Николаев,
Ул. Набережная, д. 5, кв. 13
e-mail: laik@ukr.net

Харьков

Филоненко Александр Семенович
61098, Харьков,
Полтавский шлях, д. 188, кв. 77
e-mail: afilonenko@yandex.ru

УЗБЕКИСТАН

Германов Валерий Александрович
700052, Ташкент-52,
ул. Коры-Ниязова, д. 102-а
e-mail: valery-germanov@rambler.ru

СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ВЕНГРИЯ

Valery Lepahin
6724 Szeged Vértói út., VI, 32
e-mail: lepahin@mail.ru

ЧЕХИЯ

Julia Jančáková
Nad Šutkou 22
18000, Praha 8
Tel. +420 777 827 073
e-mail: julia-prague@volny.cz

ПОЛЬША

Dmitry Lukashevich
mitry Lukshevich, 9
01-574 Warszawa
Polska / Poland
e-mail: dmitry.lukashevich@gmail.com

ЛАТВИЯ

Василий Минченко
121, Kr. Valdemara str., apt. 1
LV, 1013, Riga, Latvia
tel.: (371) 29147350
e-mail: vasilij@mailbox.riga.lv

ВЕСТНИК
русского христианского
движения
№ 206

Подписано в печать 30.12.2016
Формат 60х90 1/16. Печ. л. 24

Издательство «Русский путь» представляет

Ильин И.С.

Скитания русского офицера:

Дневник Иосифа Ильина. 1914–1920

Русский офицер Иосиф Сергеевич Ильин (1885–1981) прожил долгую жизнь, часть которой пришлась на один из самых катастрофических периодов российской истории. Первая мировая война, крушение самодержавия, Октябрьская революция, Гражданская война — вот исторический фон дневникового повествования. Но автор вместе со своей семьей оказывается не «на фоне», а в самой гуще тех событий...

Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся российской историей XX века.

Варшавский В.С.

Ожидание:

Проза, эссе, литературная критика

В книге впервые полно представлено художественное, литературно-критическое и историко-философское творчество Владимира Сергеевича Варшавского (1906–1978), уникального писателя и мыслителя, представителя «молодого поколения» первой волны русской эмиграции, до сих пор широко известного главным образом своей книгой «Незамеченное поколение» (Нью-Йорк, 1956), переизданной в России в новой авторской редакции (М., 2010).

Проза Варшавского (прежде всего роман «Ожидание»), его эссе, ярко, выразительно передающие драму поколения, которому он дал очень точное определение — «незамеченное поколение», по смыслу и значению выходят за рамки «эмигрантской» литературы, органично вписываются в «мейнстрим» русской литературы и вносят в отечественную и шире — европейскую культуру нечто особое и вечно актуальное — героя, способного сохранять внутреннюю свободу и человечность в жестоком мире.

Восприятие творчества Варшавского современниками представлено в приложении — это рецензии на его автобиографическую прозу, а также новые архивные материалы — корпус писем выдающихся современников с живой и полемичной реакцией на его творчество. Этот эпистолярный и неизвестные фотоматериалы, которыми проиллюстрировано издание, ныне хранятся в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Чарыков Н.В.

Беглый взгляд на высокую политику

Воспоминания Н.В. Чарыкова (1855–1931), одного из высокопоставленных русских дипломатов конца XIX — начала XX века, гофмейстера, эмигранта, опубликованные в Англии вскоре после смерти автора, впервые издаются на русском языке. Имя Н.В. Чарыкова, участника русско-турецкой войны (1877–1878) и активного члена русской дипломатической миссии в Средней Азии, товарища министра иностранных дел, прочно вошло в историю русской дипломатии в связи с его ролью в Боснийском кризисе (1908) и так называемом демарше Чарыкова (1912): будучи послом в Константинополе, он сделал попытку решения вопроса о Черноморских проливах.

Отдельную ценность представляют воспоминания автора о событиях 1918 года в Крыму, где в феврале он едва не был расстрелян матросами, а в сентябре вошел в Краевое правительство. Богатые фактами и живо написанные, воспоминания будут интересны и профессиональным историкам, политикам, политологам, и широкому кругу читателей, увлекающихся историей России. Издание снабжено иллюстрациями, подробными научными комментариями, указателем имен.

Купер М.Н.
Деньги и время

Книга о бумажных деньгах России, об отношениях в общественной жизни, явлениях в культуре, истории, языке, отражающих место денег во времена их существования. История бумажных денег — от ассигнаций, появившихся в 1769 году, до последних советских, вышедших из обращения в 1993-м, — предстает в отрывках из произведений русской литературы, фольклора, официальных документов, писем, дневников, воспоминаний. Авторский текст — комментарий к свидетельствам современников. Рассказ о деньгах — это и рассказ о людях: создателях денежной системы, государственных деятелях, финансистах, художниках. Ряд малоизвестных материалов становится доступным широкому кругу читателей. Приводится перечень прозвищ денег, составленный автором. Книга иллюстрирована изображениями бумажных денег России, имевших хождение до 1993 года (в основном из коллекции автора).

Адресована всем интересующимся историей и культурой России, а также специалистам — историкам, культурологам, языковедам.

Рок генерала Бориса Щуцкого: *Письма из эмиграции. Избранная проза*

Офицер разведки Генерального штаба, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн генерал Русской армии Борис Иосифович Щуцкой (1870–1954) после революции жил в вынужденной эмиграции в Бордо. В сборнике впервые публикуются хранящиеся в семейном архиве Е.П. Высоцкой письма Щуцкого в советскую Россию. Главным адресатом его писем была дочь томских друзей юная Вера Бобарыкова, с которой Щуцкого связывало взаимное чувство. Письма (1924–1934) интересны документальным бытописанием жизни русской эмиграции во Франции, личными признаниями автора и его размышлениями о духовных науках и мироустройстве.

Получив официальный отказ вернуться в Россию и страдая от одиночества вдали от родины, генерал Щуцкой нашел утешение в литературном творчестве. Главной темой его самобытной прозы стала Первая мировая война. Война для Б.И. Щуцкого — бесконечная драма, не имеющая оправданий высокими целями. Рассказы о женщинах, с которыми автора сводила судьба, не менее выразительны, чем военная проза. Вошедшие в сборник произведения были опубликованы малыми тиражами в русском издательстве в Таллине (1934–1937). Рассказы и письма Б.И. Щуцкого сопровождаются иллюстративным рядом, представляющим военные и бытовые фотографии из семейных архивов.

Уилмерс М.-К.

Эйтингоны:

Семейная сага двадцатого века

«Эйтингоны» — увлекательное повествование об истории семьи, после революции 1917 года разделившейся на «белых» и «красных». Главные герои семейной саги — три брата: Макс (1881–1943), Мотти (1885–1956) и Леонид (1899–1981). Эйтингоны — психиатр, ученик и последователь З. Фрейда, коммерсант-миллионер и советский разведчик. Всем им оказалось суждено стать участниками значимых событий XX века и оставить свой след в истории. Автор книги — потомок «белой» ветви, редактор британского книжного обозрения «London review of books» Мэри-Кэй Уилмерс рассматривает судьбы героев в широком культурно-политическом контексте эпохи, в числе тем и сюжетов — убийство Троцкого, похищение генерала Скоблина, история психоанализа, расследования ФБР... Действие начинается в России и разворачивается по всему миру — США, Европа, СССР. Многие загадки семейства Эйтингонов так и остаются нераскрытыми...

Книга впервые увидела свет на английском языке в 2009 году в Лондоне, затем переиздавалась. На русском языке издается впервые.

Дельви́г Ан.А.

Записки барона Анатолия Александровича Дельвига

Воспоминания барона Анатолия Александровича Дельвига выходят в год 80-летия со дня смерти автора и охватывают значительный период — с конца 1880-х по 1930-е годы. Он свидетель двух эпох, очевидец великого исторического перелома. Как и многие представители дворянской интеллигенции, он не принял революцию,

однако остался в России и продолжал работать на благо родины, считая своим личным долгом помочь ей в тяжелое время. Жанр семейной хроники в мемуарах Дельвига преодолевается практически сразу: историк по образованию и аналитик по складу мышления, автор по ходу повествования касается многих социальных и философских проблем. Издание адресовано широкому кругу читателей.

Посмотреть подробную информацию о книгах
и заказать их вы можете
на сайте издательства «РУССКИЙ ПУТЬ»:

www.gr-net.ru или русский-путь.рф.

Приобрести книги можно также
в книжном магазине «РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»:

ул. Нижняя Радищевская, д. 2

(м. «Таганская» (кольцевая)),

тел. (495) 915-11-45,

сайт: www.kmrz.ru

Отдел продаж издательства «Русский путь»:
(495) 915-10-05